

ВСЕВОЛОД
СОЛОВЬЕВ



Всеволод Сергеевич Соловьев

Последние Горбатовы (Хроника четырех поколений #5)



Всеволод Соловьев (1849–1903), сын известного русского историка С.М. Соловьева и старший брат поэта и философа Владимира Соловьева, — автор ряда замечательных исторических романов, в которых описываются события XVII–XIX веков.

В седьмой том собрания сочинений вошел заключительный роман «Хроники четырех поколений» «Последние Горбатовы». Род Горбатовых распадается, потому что первого поколения под влиянием складываю-

щейся в России обстановки постепенно вырождаются.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	0008
I. ВЕРНУЛАСЬ	0008
II. О СТАРОМ	0016
III. МОСКОВСКИЙ РЫЦАРЬ	0026
IV. СПАСЕННАЯ	0037
V. ЗАДУМАНО — СДЕЛАНО	0051
VI. НА БАСМАННОЙ	0068
VII. КОКУШКА	0080
VIII. НАСЛЕДНИКИ	0092
IX. БЫВШИЕ ДРУЗЬЯ	0104
X. ПОМЕХА	0112
XI. ВЕСЕЛЫЙ МЕФИСТОФЕЛЬ	0120
XII. ЗАЧЕМ ОН ЗДЕСЬ?	0131
XIII. АДВОКАТ	0144
XIV. ЗАДАЧА	0154
XV. ПОСЛЕ БАРБАСОВА	0166
XVI. СГОВОРИЛИСЬ	0179
XVII. ВЛАДИМИР	0188
XVIII. ДА ИЛИ НЕТ?	0198
XIX. РОЛЬ	0211
XX. РОЗИНА	0223
XXI. ОПАСНОСТЬ	0238
XXII. ГРИША	0251
XXIII. СМЕРТЬ ЗОВЕТ СМЕРТЬ	0263
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	0274

I. КОЛДУН	0274
II. ПРИЗНАНИЯ	0283
III. К НЕЙ	0303
IV. У ПЕВИЦЫ	0313
V. НОВАЯ СИЛА	0332
VI. НЕ НА СВОЕЙ ПОЧВЕ	0343
VII. БЛАГОРАЗУМНОЕ СЧАСТЬЕ	0357
VIII. ПЕЧАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ	0372
IX. ОПЯТЬ КОКУШКА	0388
X. КНЯЗЬ ПОБЕДИЛ	0408
XI. ДВЕ СЕСТРЫ	0424
XII. В ЭРМИТАЖЕ	0442
XIII. ПРОМАХ	0452
XIV. ПОСЛЕ КОНЦЕРТА	0472
XV. ПИСАТЕЛЬ	0482
XVI. ГЕРОЙ	0498
XVII. ВСЕ ГОТОВО	0510
XVIII. КОКУШКИНА СВАДЬБА	0528
XIX. ПЕРЕПОЛОХ	0540
XX. ВЫРВАЛСЯ	0553
XXI. НЕ ВЫМЫСЕЛ	0569
XXII. ЧУЖАЯ ВОЛЯ	0583
XXIII. У ГРУНИ	0599
XXIV. ЧЕГО ОН ТРЕБУЕТ	0611
XXV. КРИЗИС	0622
XXVI. НОВЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ	0634
XXVII. НА ЗАСЕДАНИИ	0646
XXVIII. ТЕНЬ ПРОШЛОГО	0661

XXIX. НА СВАДЪБЕ ГРИШИ	0676
XXX. ЧТО ОСТАЛОСЬ	0689

Вс. Соловьев
Последние Горбатовы

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ВЕРНУЛАСЬ

Ясным сентябрьским утром в маленьком густо заросшем саду, примыкавшем к старому и совсем покосившемуся, тоже весьма необширному дому, под навесом деревянной беседки сидел старик. Навес поддерживался ветхими, облупившимися, когда-то зелеными колонками и грозил обрушиться, но старик, очевидно, был непричастен страху. Он спокойно сидел в огромном кожаном кресле и всецело погрузился в книгу, лежавшую перед ним на придвинутом к креслу столике.

Это был несколько страшноватый с виду старик: маленький, приземистый, с удивительными бородавками на красном лице, с торчавшими щеткой седыми волосами. Хотя старые щеки его были гладко выбриты, но густые кусты седых волос торчали из бородавок, из ушей. Маленькие уже начинавшие плохо видеть глаза сердито выглядывали из-под нависших бровей. Массивные очки в се-

ребряной оправе держались почти у самого кончика крупного четырехугольного носа. Костюм старика состоял из потертого драпового халата, а на ногах были надеты вышитые разноцветными букетами шерстяные туфли.

Старику, очевидно, было очень много лет, но он все же казался крепким и здоровым.

Окончив страницу, он отодвинул несколько от себя книгу, снял очки, протер себе глаза клетчатым платком, затем вынул из кармана халата круглую черную табакерку и с видимым удовольствием начал набивать себе в ноздри душистый порошок. Потом он встал с кресла, плотнее запахнулся в халат, шлепая туфлями вышел из-под навеса и прошелся по садику.

Время близилось к полудню, кругом стояла тишина, и так как из-за пожелтевшей, но все еще густой листвы берез, рябин, акаций и сирени ничего кругом не было видно, то можно было подумать, что садик этот находится где-нибудь в деревенской глуши. Но это была не деревенская, а городская, московская глушь, близ берега Москвы-реки, у Зачатьевского монастыря. Садик принадлежал Кондрату Кузь-

мичу Прыгунову, а старик был сам хозяин.

Кондрат Кузьмич, обойдя садик, вошел было в дом, но в доме ему показалось, как-то неприветно. Он остановился на балкончике и захлопал в ладоши. На этот зов появилась из комнат довольно грязная пожилая женщина и нетерпеливо спросила:

— Чего еще надо?

— А то, Настасьюшка, что час такой пришел, чай слышали? Двенадцать пробило... отоцал я, закусить бы чего-нибудь, да и с завтраком поторопилась бы...

— А что же я и делаю как не завтракать готовлю? — не особенно почтительно сказала Настасьюшка. — Сама знаю, когда время, только понапрасну от плиты отрываете!

Старик, очевидно, не заметил ее сурового тона.

— Да я к тому — принеси-ка ты мне закусить и позавтракать в садик, в беседку, там хорошо нынче — бабье лето... благодать!..

— В садик так в садик! Селедку, что ли, вычистить прикажете?

— Беспременно! И полынной налей в графинчик, вся она вышла...

Настасьюшка исчезла. Кондрат Кузьмич вернулся в садик, в беседку, снова оседлал кончик своего носа серебряными очками и принялся за книгу в ожидании завтрака.

Прошло несколько минут. Он читал не отрываясь. Вот послышались шаги.

«Наконец-то», — подумал он не без удовольствия, поднял глаза, и вдруг на лице его изобразилось смущение, недоумение, почти испуг.

Перед ним стояла вовсе не Настасьюшка с завтраком, а молодая женщина, высокая, стройная, одетая просто, но изящно, как-то не по-московскому. Ее платье, все в оборочках, кружевах, опадало мягкими, легкими складками, с плеч грациозно спускалась черная накидка, на голове была черная же шляпа с большим страусовым пером и длинным вуалем. Из-под шляпки глядело молодое лицо с тонкими и в то же время энергичными чертами. Глубокие черные, как уголь, глаза даже как-то жутко горели. Лицо это поражало не только своей оригинальной, редкой красотой, но и чем-то особенным, неуловимым, всепокоряющим. Мимо этого лица никак

нельзя было пройти, его не заметив.

Кондрат Кузьмич даже рот разинул от изумления и все продолжал смотреть, очевидно, ничего не понимая.

— Кондрат Кузьмич, да неужели вы меня не узнаете? — мягким, певучим голосом сказала молодая женщина.

Старик наконец вышел из оцепенения, поднялся с кресла и развел руками.

— Груня! — воскликнул он. — Да как же узнать? Кого угодно ожидал, только не тебя!

— Что ж, и поздороваться, и поцеловать меня не хотите?

Не дожидаясь ответа, она крепко обняла старика и поцеловала его в обе щеки, прямо в торчащие на них седые кусты.

— Милый Кондрат Кузьмич, да не делайте такого ужасного лица! Ну посмотрите на меня, улыбнитесь...

— Матушка, дай же прийти в себя! — бурчал он, видимо, поддаваясь обаянию ее голоса, ее глаз, ее ласки. — Как же это ты и откуда? Ведь я так почитал, что ты теперь не ближе как в Астрахани.

— И была там, чуть не задохнулась от жа-

ры, вот и приехала я к вам. Принимаете? Не сердитесь?

— Очень тебе нужно — сержусь я или нет... очень ты об этом когда-нибудь думала! Кабы думала о нас, так не пропадала бы, почаще бы в Москву заглядывала... Шутка сказать — ведь около пяти, никак, лет ты по разным заграницам таскаешься... Ох! А в это время много... много... вот и я без моей Олимпиады Петровны...

Он мрачно насупился. На чудных глазах Груни блеснули слезы.

— Как это неожиданно для меня было! — тихо проговорила она. — Как написал мне тогда Вася, читаю я и глазам своим не верю... И как это... отчего... от какой болезни?

— Какая тут болезнь!.. Старость... от старости... да и от любопытства тоже, — мрачно выговорил Кондрат Кузьмич. — Всю жизнь ее праздное любопытство терзало. Говорил я, говорил: «Изведешься!» Вот и извелась... вот и один... уж три года... Ну да что об этом! — вдруг почти крикнул он и даже отмахнулся рукою с клетчатым платком от набегавших тяжких мыслей. — Да ты бы хоть двумя меся-

цами раньше приехала, застала бы еще в живых благодетеля своего, Бориса Сергеевича...

Груня вздрогнула всем телом, и с ее нежных матовых щек сбежала последняя краска.

— Как! Борис Сергеевич умер?

— А ты и не слыхала? Чай, ведь во всех газетах было.

— Ничего, ничего не слыхала! — растерянно повторяла она. — Когда же?

— Говорю, около двух месяцев как схоронили; ждал я от тебя вести, чтобы знать, по какому адресу письмо отправить, чтобы не пропало, а вот ты и сама... этак лучше... Дела ведь у нас с тобою... благодетель о тебе позаботился.

Но Груня не слушала.

— Борис Сергеевич умер... умер! — шептала она и вдруг закрыла лицо руками и громко, отчаянно зарыдала.

В это время Настасьюшка появилась у беседки с огромным подносом.

Она закрыла старый, весь изрезанный круглый стол скатертью и, нахмуря брови, взглянула на Груню.

— Я и вам прибор принесла, Аграфена Ва-

сильевна, — сказала она. — Завтракать-то, чай, будете?

Никто ей не ответил. Груня подавила свои рыдания, утерла заплаканные глаза и сидела, опустив руки, глядя прямо перед собою.

Она была до такой степени хороша с этими следами тоски и горя на выразительном лице, что невозможно было не залюбоваться ею. Любовалась ею и Настасьюшка, хоть и укоризненно покачивала головой.

— Так вот, Аграфена Васильевна — пташка перелетная, залетела опять в наши хоромы, — договорила она суровым тоном. — Жаль вот позднеенько, а теперь уж чего плакать? Слезами-то не поможешь... А барыня-то покойница, голубушка-то наша, еще за день до кончины о вас вспоминала... уж так вы ее огорчали, уж так огорчали...

— Молчи, не твое дело! — крикнул Кондрат Кузьмич.

Бойкая, не церемонившаяся со стариком Настасьюшка вдруг присмирела от этого окрика и, ворча себе что-то под нос, удалилась.

II. О СТАРОМ

— Закусим, Груня, чем Бог послал! — сказал Кондрат Кузьмич, укладывая в один карман своего халата табакерку, а в другой клетчатый платок и придвигаясь к столу.

— Я завтракала... благодарю вас! — проговорила Груня.

— Ну, а я не завтракал и голоден.

Он налил себе из старинного граненого графинчика полынной, поглядел рюмку на свет, быстро опрокинул ее в рот, крякнул и принялся закусывать.

Несколько минут продолжалось молчание.

— Боже мой... и Бориса Сергеевича нет! — будто самой себе прошептала наконец Груня.

Кондрат Кузьмич, успевший между тем окончить свой скромный завтрак, отодвинул от себя тарелку и взглянул на Груню из-под нависших бровей.

— Что тут удивительного? — сказал он. — Все смертны, всем одному за другим свой черед переходить в вечность... Какой нынче у нас год? Семьдесят третий; так ведь Борису

Сергеевичу лет уж под восемьдесят было... года большие... это вот я только замешкался, девятый десяток начал... Да и жизнь его, Бориса-то Сергеевича, была нерадостная, а уж в последние годы тем паче. Сам, сам, признался мне прошлой зимою. «Тяжко, говорит, жить, устал я, говорит... давно пора». Так-то!

Кондрат Кузьмич покачал головой, насутился и продолжал:

— То-то вот подумаешь, как иной раз люди судят... богат, знатен — так и счастлив; что блестит, то золото... И я ведь тоже раз попал впросак. Приехал по делу к Борису Сергеевичу в его Горбатовское, только что тогда с ним знакомство свел...

— Это тогда было? — спросила Груня, делая ударение на слове «тогда».

— Ну да, тогда когда мы тебя, одурелого, дикого зверька в Москву привезли с собою... Да ты бы, Грунюшка, того времени не вспоминала, — вдруг прибавил он совсем иным тоном, в котором прозвучало что-то нежное, совсем идущее в разлад с его мрачным и страшным лицом. — Чего вспоминать? Ведь ты тогда была малый ребенок... Забыть надо, на-

всегда... Это и я, и Борис Сергеевич, и покойница моя тебе не раз говорили. Просто бес в тебе сидит какой-то! Кабы забыла, так и жилось бы лучше, может быть, и глупостей бы не делала.

— Не забывается! — вздохнула Груня. — Разве такое детство, как мое, можно забыть?

— Ну, так вот, приезжаю я в Горбатовское, — продолжал старик, перебивая ее, — роскошь такая, какой в жизни не видывал, жизнь царская. Вижу — Борис Сергеевич человек почтенный, добродетельный... Вижу — старушка важная...

У Груни бессознательно вдруг мелькнуло по лицу что-то злое и мучительное. Но Кондрат Кузьмич не заметил этого.

— Дамы молодые и прекрасные, — говорил он. — Дети как ангелочки, шумят, веселятся, играют... Два красавца молодых — Сергей Владимирович и Николай Владимирович... Мирно все так, гладко, дружба такая по видимости и согласие. Поглядел я и думаю: вот счастливые люди, вот где, в каких палатах золотых, обитает истинное счастье! На том и порешил. А и году не прошло, как убедился в

слепоте своей: ничего-то я не разглядел! И поистине это была самая что ни на есть несчастная семья, хотя и в золотых палатах... И так все и разбрелось, словно карающая десница Божья прошла над всеми нами... За что? За чьи грехи? За какие? Не узнать нам, да и не след допытываться, не мы судьи. А теперь вот с тех пор четырнадцать лет прошло и что осталось? Что случилось со всеми ними, куда девался весь этот золотой блеск?

— Что, что случилось с ними? — спросила, встрепенувшись, Груня.

— Да как тебе сказать? С одной стороны посмотришь — как бы и ничего особенного. А между тем нет уж семьи, нет прежнего знатного рода, совсем все рушится с кончиной Бориса Сергеевича. Ведь ты помнишь Наталью Николаевну?

— Господи, как же не помнить? Она была добрая, кроткая, лучше всех их, только странная такая...

— Да, странная! В ней-то, так и я полагаю, все и дело... Мало ли что тогда говорили, стороною слышал, да нам судить этого никаким манером невозможно... А что хоть и через

нее, да она все же неповинна была — тому порукой Борис Сергеевич, он на нее как на святую молился. Супруг ее Сергей Владимирович, совсем что ни на есть пустейший человек... всему Петербургу так известен, да и Москве тоже. Видел я ее тогда, перед отъездом за границу, без жалости глядеть нельзя было. Борис Сергеевич все надеялся, что вылечит ее в чужих краях, увез. Два года они в путешествии были, а через два года вернулся он с нею, да уже не с живою — гроб ее привез. Потом он мне рассказывал: «Угасла, — говорил, — как лампада». И любил же он ее! Уехал еще бодрым, а вернулся уж совсем старым... Диво, что столько лет без нее прожил.

— Да теперь-то что же, что со всеми ними? Где они?

— Николай Владимирович, как возвратился он тогда из Азии, — этому ведь уж сколько? — восемь лет будет — живет с женою и сыном почти безвыездно в Петербурге... Теперь вот на похоронах был здесь, да и опять уехал.

— Значит, вы его видели?

— Да, видел, как же, видел не раз... Стран-

ный он мне такой показался, нелюдимый, да и все его как-то дичатся... Ну, Сергей Владимирович то здесь, то там; этот непоседа всюду разъезжает, словно мечется... Много, много горя доставил он дяде беспутной своей жизнью. И кабы знал Борис Сергеевич то, что я теперь знаю... ах!

— Что такое, что?

— А то, Грунюшка, что сколько не переплатил за него покойник, а долгов у него такая тьма-тьмущая, что сам он им счет потерял, давно потерял... Все, что теперь получил он в наследство, боюсь я, прахом пойдет... Как бы и Горбатовское, — оно ему ведь досталось, — не пришлось продать. Борис Сергеевич, слава богу, внучат обеспечил, а то бы они нищими остались...

— От такого-то богатства!.. Кондрат Кузьмич, неужели это возможно?

— Возможно, матушка, все возможно... Не первый древний русский род таким-то манером разоряется... навидался я на своем веку...

— А что Воло... Владимир Сергеевич? — вдруг робко, но в то же время сверкнув глазами, спросила Груня.

— Володичка, что ли? Он еще вчера ко мне заезжал. Грустит по дедушке. Славный, славный молодой человек вышел.

— Что он, здоров? Каков он теперь?

— Здоров, ничего, мы с ним теперь все дела ведем вдвоем по Бориса Сергеевича на наследству... все на его руках осталось. В отпуск он, на два месяца отпуск еще взял — раньше-то не разберемся, пожалуй. Ведь он как окончил с моим Васей университетский курс — Вася в Самару, в судебные следователи, а он в Петербург на службу определился... Ничего, служит, не жалуется... Да, славный он вышел, недаром любимчиком был у Бориса Сергеевича.

Кондрат Кузьмич замолчал и стал набивать себе нос табаком.

Груня о чем-то думала. По ее лицу скользило выражение тихой грусти. Но вот она едва заметно улыбнулась, будто сама себе отвечая этой улыбкой.

Кондрат Кузьмич продолжал:

— Барышня, Софья Сергеевна, замуж еще не вышла... Удивительно это... Красавица, знатная невеста... Разборчива, видно, очень.

Младшая барышня не в пример, говорят, проще. Я-то ведь их мало вижу. Николушка вот у них вышел плохонек, совсем плохонек.

— Он все болен?

— Телом-то здоров, крепыш, рослый, да головка у него не в порядке, ничего у них с ним не вышло, ученье ему не далось, остался, почитай, безграмотным; не то что совсем уж дурак либо идиот, а на то похоже. Разъезжает по Москве да чудит... Немало тоже и с ним было горя Борису Сергеевичу. Ну, да теперь-то горевать некому — отцу все равно; я думаю так, что подчас он и забывает, что у него дети есть... Да что же это я с тобою о том о сем, а о деле еще и не заикнулся! — вдруг спохватился Кондрат Кузьмич. — А ты мне и не напомнишь!

— Какое дело? — изумленно спросила Груня.

— Как какое дело? Ведь я сказал тебе, что благодетель тебя не забыл, и ты значишься в его завещании. Пятьдесят тысяч рублей серебром тебе оставил, шутка ли, какое приданое! Обо всех он подумал... И я взыскан его щедротами... есть теперь что детям на чер-

ный день оставить... Эх, кабы моя покойница про то знала, не попрекала бы, что ни до чего не домькался... Ну, что же, Груня, ведь вот ты теперь богатая невеста и кабы сама себе не напортила...

— Ах, да зачем мне это? — раздражительно крикнула Груня, и опять слезы брызнули из ее глаз. — Не надо мне, не возьму я этих денег...

— Не городи вздору, — сказал Кондрат Кузьмич, — воля покойника — закон, и ты, с благодарностью и памятуя всю жизнь благодетеля, должна принять это.

— Ведь вы же вот говорите сами, что дела их расстроены, а тут я буду брать такие деньги... Да совсем мне и не надобны они... У меня всегда много денег... Вот и теперь — вы что думаете — целых полторы тысячи у меня с собою... Борис Сергеевич и так много для меня сделал, все сделал — и я это знаю и понимаю.

Голос ее то и дело обрывался.

— Нет, Кондрат Кузьмич, голубчик... Дорогой, уж так как-нибудь устройте... Я не могу... Я не возьму этих денег.

— Говорю — не дури! — еще сердитее

крикнул старик. — Эти пятьдесят тысяч твои, и никто их не захочет.

— Ну, и я не хочу!.. — настойчиво и упрямо твердила она.

Кондрат Кузьмич встал с кресла и весь побагровел.

— Аграфена! — прорычал он, делаясь совсем зверем. — Сумасшедшая ты была, сумасшедшая и осталась!..

Но он тут же стих и взял ее за руку.

— Браниться с тобою я не хочу... Ты расстроена, рассудить не можешь, успокойся и поговорим как следует, пойдем в дом, пойдем ко мне, я тебе покажу... Он больше еще для тебя сделал. Он знал, за две недели знал, что час его близок, и обо всех, обо всех подумал... Он написал тебе и поручил мне передать тебе это писанье...

— Он мне написал! — воскликнула Груня. — Так что же вы молчите!.. Где... Где эта записка?

— За тем я тебя и зову... Пойдем...

III. МОСКОВСКИЙ РЫЦАРЬ

Часа через полтора дверь маленького кабинета Кондрата Кузьмича отворилась и из него вышла Груня. Лицо ее имело задумчивый и как бы утомленный вид, но теплый, даже почти нежный свет сиял в ее глубоких глазах.

— Не отправить ли с тобой Настасьюшку? — говорил, выходя ей вслед из кабинета, Кондрат Кузьмич. — Она тебе поможет уложиться. Ты ее с вещами на извозчике и прислать можешь.

— Ах нет, нет, — поспешно отозвалась Груня, — тут недалеко, я сама все очень легко устрою. Да и какие у меня вещи: все мои вещи еще на железной дороге, со мной всего один чемодан, я его и не раскладывала — вчера вечером поздно было, устала, сегодня заспалась, скорее оделась, напилась чаю и сейчас к вам.

— Ну хорошо! В таком разе я Настасьюшке прикажу приготовить комнату. С Богом, Грунюшка, ждать тебя буду.

Он кивнул ей мохнатой головой и снова

заперся в кабинетике.

— К нам, что ли, перебираетесь? — спросила Настасьюшка, очутившись в передней и отворяя Груне двери.

— Да, к вам!

— Так прямо бы и приехали с дороги... Эх, мудрите, все-то мудрите вы, Аграфена Васильевна!

Она закачала головою, но тут же довольно ласково прибавила:

— Милости просим! Я вам комнатку почищу, прежнюю вашу.

Груня ответила слабой улыбкой, хотела было уже спуститься со ступенек крылечка, но вдруг обернулась и взглянула на Настасьюшку. Та не выдержала, поцеловала ее в плечико и помимо своей воли прошептала:

— Эх, красавица вы наша!

По уходе Груни она тотчас же побежала за щеткой и тряпками и, когда Кондрат Кузьмич крикнул ей, чтобы она прибрала барышнину комнату, она уже поспешно, даже с ожесточением, вся покрасневшая, все вытряхивала и вычищала перед маленьким открытым окошком...

Между тем Груня быстро шла, очевидно, хорошо ей знакомой дорогой и, очевидно, со всем ее не замечая за различными, быстро мелькавшими в голове мыслями. Вот она спешит по Пречистенскому бульвару. Старые деревья уже наполовину пожелтели, и листья их осыпаются при малейшем дуновении ветра.

На бульваре довольно пустынно, только мальчишки из соседских лавок играют в бабки и подхлестывают кубари. Время от времени какой-нибудь гимназический учитель, окончивший свои часы, быстро перебегает с портфелем под мышкой... Грустнолицая, поблекшая гувернантка совершает свою обычную прогулку с детьми и повторяет им на плохом французском языке обычные замечания. Старый нищий с красным носом и трясущейся головою бредет в сторонке, искоса поглядывая на полицейского, сладко зевающего и между зевков тихо напевающего что-то унылое и несуразное... Девчонка из модного магазина, в платочке на голове, с картонкой в руках, бежит мелкой рысцою, зорко поглядывая во все стороны живыми, любопытными и

уже вызывающими глазами.

Вот на скамье, затягиваясь папироской и чертя по песку тросточкой причудливые зигзаги, сидит юноша — шалопай, московский фронт не особенно хорошего тона. Завидя издали стройную фигуру Груни, он быстро, инстинктивно, охорашивается, поправляет шляпу, вытягивает вперед манжеты с огромными запонками, надевает *rinse-nez* [1] и следит за Груней не отрываясь...

Она в нескольких шагах от него. Он даже глазам своим не верит при виде такой красоты и, едва пропустив ее, устремляется за нею. Он уже два раза перебежал, заглядывая ей под шляпку, но она его не замечает. Он, очевидно, еще не дошел до высшей степени нахальства, а потому, грустно вздохнув, возвращается на бульвар...

Груня прошла Арбатскую площадь, повернула на Арбат и поднялась по широкой, но не особенно опрятной лестнице гостиницы «Гуниб», где остановилась просто по капризу, во воспоминанию тех далеких дней, когда почти каждое утро проходила мимо этого дома и читала эту вывеску. Когда она ехала сюда, нака-

нуне вечером, она даже и не знала — существует ли еще этот «Гуниб». Но он оказался существующим.

Она вынула из кармана ключ, вложила его в замочную скважину своего номера и не заметила, что дверь оказалась не запертой. Она вошла в большую комнату с двумя тусклыми окнами, с пошлой, уже значительно загрязненной гостиничной обстановкой и вздрогнула от неожиданности — перед нею у окна на неуклюжем, обтянутом выцветшим репсом кресле сидел мужчина.

Это был человек лет тридцати, казавшийся, однако, старше своего возраста, человек огромного роста, с длинными руками и ногами. Он был одет щеголевато и с претензией на изящество. Но эта щегольская одежда совсем как-то не шла к нему. Его коротко остриженные, видимо, изо всех сил прилизанные волосы упрямо топорщились местами. Большое, красное и блестящее от жиру лицо с толстым носом и еще более толстыми губами не особенно скрашивалось желтоватой бородкой. Золотые очки, которыми он прикрывал свои серые, с красноватыми веками глазки,

вместо того чтобы придать ему серьезный вид, делали его еще более смешным. Но несмотря на дурноту его и комичность всей этой огромной, угловатой фигуры, вероятно, впрочем, именно благодаря этой комичности, в нем было что-то говорящее в его пользу. От него можно было в первую минуту отшатнуться, но во вторую минуту уже хотелось добродушно смеяться.

При входе Груни он встал с кресла и почтительно раскланялся перед нею.

— Вот и я! — сказал он, и при этом его толстые губы смешно шлепнули одна о другую.

Она уже пришла в себя от неожиданности, и краска вспыхнула на ее щеках.

— Какая дерзость! — воскликнула она. — И как это вы могли забраться без меня в мою комнату... Кто вас впустил? Какова гостиница!.. Это уж ни на что не похоже... Извольте выйти!..

— Ни за что! — совсем сгибаясь, грустно, но все же решительно сказал он.

— Но ведь это бессовестно, неблагородно, наконец... Это бог знает что такое!.. Я позволю...

Она уже подошла было к сонетке, но вспомнила, как еще утром убедилась, что сонетка не действует.

— Ну, и что же вы этим сделаете, Аграфена Васильевна? — между тем говорил он. — Скандал — и только... Успокойтесь лучше. Я вас задержу недолго... Да умоляю же вас, успокойтесь, не сердитесь...

Он сделал такую умоляющую и жалобную мину, его лицо было так нелепо и в то же время добродушно, что ее негодование утихло и ей захотелось рассмеяться. Но она не засмеялась. Она присела на стул и строго спросила его:

— Что вам от меня надо?

— Сделать вам визит, поблагодарить вас за приятное знакомство, за милое ваше общество, которым я пользовался на пароходе от Астрахани до Нижнего и на железной дороге...

— Я вас вчера поблагодарила за ваше общество и за вашу любезность, даже несмотря на то, что вы ее в последний день совсем испортили. Вы сначала казались порядочным человеком, но вчера весь день говорили та-

кие глупости, что я серьезно просила вас не продолжать со мною знакомства.

— И я вам серьезно ответил, что сегодня же буду у вас с визитом. Мне легко было узнать, что вы остановились в «Гунибе». Вот фантазия! Но тем лучше: здесь меня давно и хорошо знают. Я сказал, что вы моя двоюродная сестра, и меня впустили в вашу комнату...

Груня снова вспыхнула. В глазах у нее блеснул злой огонек.

— Какая низость! — воскликнула она. — Monsieur Барбасов, прошу вас уйти, оставьте меня в покое.

Он совсем присмирел; улыбка, растягивавшая его толстые губы, исчезла, и он заговорил тихим, грустным голосом:

— Аграфена Васильевна, не обижайтесь, я теперь сам вижу, что поступил скверно... но как же иначе я мог бы вас увидеть? А я не могу вас не видеть — вот в чем дело... да, не могу... не могу! Вы навсегда меня взяли, понимаете: взяли. Я уже теперь не принадлежу себе... я ваш... ваш... вы можете из меня делать, что хотите...

— Я не хочу слушать ваших пошлостей.

Что такое «Я ваш, ваш, вы меня взяли!..» Я вас и не думала брать, потому что вы мне совсем, совсем не нужны, и я могу только презирать тех людей, которые не умеют уважать меня, которые думают пользоваться моей беззащитностью. Но я уж не так беззащитна, как вы думаете, я не боюсь вас, да и никого не боюсь... Уйдете вы наконец?

— Аграфена Васильевна, — голос его дрогнул, — простите меня, не прогоняйте так... Я вам говорю, что вы можете делать из меня все что угодно... Может быть, я еще вам и пригожусь на что-нибудь... Позвольте мне продолжать знакомство с вами! Позвольте мне постараться чем-нибудь, хоть самой малостью, быть вам полезным... Аграфена Васильевна!..

Ничего нельзя было себе представить смешнее его в эту минуту. И вместе с этим в его тоне звучала искренность. Так, по крайней мере, показалось Груне.

Она взглянула на него и весело рассмеялась.

— Барбасов! — сказала она. — Я прощаю вас, но помните, что это в последний раз я вас

прощаю!

Он весь так и просиял. Он кинулся к ней с протянутой рукою, и она дала ему свою руку.

— А теперь уходите, мне нужно уложиться, я сейчас переезжаю отсюда.

— Как переезжаете?! Куда? — снова озадаченный воскликнул он.

Она засмеялась.

— Этого я не скажу вам... Конечно, вы меня разыщете; но увидим, так ли вам легко будет ворваться ко мне туда, где я буду, как здесь, в этом вашем грязном, противном «Гунибе». Там у меня такой сторож... Покажитесь только...

Ей представилась страшная физиономия Кондрата Кузьмича, и глаза ее засветились еще веселее.

— Где же я увижусь с вами? Дайте же, в самом деле, ваш адрес, позвольте мне заглянуть к вам!

— Ни за что, ни за что! Так разве это прощенье?

Ее веселость прошла. Эти внезапные, быстрые в ней перемены особенно ему нравились и особенно его подзадоривали, волновали.

— Если суждено нам быть знакомыми, так мы и будем, — сказала она. — Но помните, что еще хоть один малейший неприличный поступок с вашей стороны — и тогда действительно кончено... А теперь, уверяю вас, я спешу, оставьте меня...

Он понял, что на этот раз она говорит совсем серьезно, а потому простился с нею и вышел.

Уходя, он думал:

«Экая прелесть!.. Задала ты мне задачу, задала загадку, но я ее разгадаю... Есть ли кто-нибудь? Должно быть, есть, но весь вопрос в том, насколько этот „кто-нибудь“ серьезен... Неужели придется отказаться? Уж чересчур было бы обидно: ведь такую прелесть раз-другой встретил в жизни — да и будет, с огнем ищи — не отыщешь».

IV. СПАСЕННАЯ

Груня в маленькой бедной комнатке старого домика Кондрата Кузьмича Прыгунова. Окошечко с выгоревшими и по временам переливающимися всеми цветами радуги стеклами выходит в садик. На подоконнике — неизбежные горшки с геранью и жасмином. Вылинявшая запыленная штора с какой-то намалеванной на ней беседкой, заштопанные кисейные занавески, серенькие с розовыми разводами обои, засаленные и вытертые местами. Зеркальце на стене в столетней раме из карельской березы; в углу икона с воткнутой за нею вербою, ветхий столик, весь закапанный чернилами, железная кровать, два стула, два кресла, из старой шерстяной обтяжки которых местами выглядывает мочалка, старинный комод... На крашеном полу неизвестно кем и когда вышитый коврик, давно уже испачканный и изъеденный молью...

Вот какова эта комнатка, да еще и прибранная стараниями Настасьюшки. Но Груня почувствовала себя в ней хорошо и уютно, и

вечером, часов в десять, простясь с Кондратом Кузьмичом, быстро раздевшись и очутясь в узенькой кровати, она вздохнула полной грудью, как человек давно уставший, много скитавшийся и наконец почувствовавший себя в своем углу, под родным кровом.

Более родного крова, как этот старый домик, у нее не было. Ведь она была несчастная сиротка, крепостная девочка, изведавшая с раннего детства тяжелые впечатления. Подаренная покойной Горбатовой светскою приятельницею, она вдруг, по барскому капризу, из привилегированного положения в доме, из роли полувоспитанницы, полубарышни превратилась в загнанную замарашку, на которой дворня стала безнаказанно вымещать прежний ее фавор. Она выносила всякие несправедливости, брань, побои. Ее судьба ничем не разнилась от судьбы многих, ей подобных, ей оставалось зачахнуть, притихнуть, отупеть, превратиться в животное.

Но она не могла этого, ее детское сердце обливалось кровью и возмущалось, ее мозг начал мучительно работать, в двенадцатилетнем ребенке шла незримая тягостная

борьба, закончившаяся почти безумием, закончившаяся отчаянной ненавистью, страстной необходимостью отомстить, «спалить» жестокую барыню... Барыня спаслась, но старый барский дом погиб в пламени...

Совершив это ужасное дело, девочка пришла в неописанный ужас и, признавшись в своем преступлении своему единственному на всем свете другу, маленькому барину Володе, она просила убить ее. Но ее не убили. Старый барин, Борис Сергеевич, и незнакомый ей приземистый старик, с лицом страшным и еще более страшными бородавками, увезли ее в Москву. Ее поместили в семье этого самого страшного старика, который оказался таким добрым, что добрее его была только его жена, Олимпиада Петровна. В доме была теперь и дочка их, Сонюшка, только что окончившая курс в институте, томная, востроносенькая барышня, почти целый день читавшая книжки, а, отрываясь от чтения, закрывавшая глаза и время от времени не то от грусти, не то от избытка чувств вздыхавшая. Было еще два подраставших мальчика-гимназиста, таких смешных и диких, но тоже с добры-

ми лицами. Была, наконец, девочка, почти Груниных лет, бледненькая и маленькая, больная девочка Катя.

Вся эта семья обласкала и пригрела Груню. Олимпиада Петровна сейчас же навезла из лавок полотна и разных материй, призвала белошвейку; одели Груню с головы до ног во все новое, нашили ей всякого платья. Востроносенькая вздохавшая барышня занялась ее ученьем. Груня для своих лет знала мало, но все же умела читать и писать. Скоро отдали ее в пансион, тут же неподалеку, на Остоженке. Она ходила туда каждое утро к девяти часам и возвращалась к Прыгуновым к обеду. Она спала вместе с Катей, в этой самой комнатке.

Но вот она как-то вернулась из пансиона с тяжелой головою. За обедом ничего не ела, а к вечеру, вся в жару, должна была лечь в постель. Когда утром позвали доктора, он сказал, что у нее скарлатина, и приказал тотчас же от нее отделить Катю. Но в тот же день Катя снова вернулась на свою кроватку, тоже вся в жару, в той же скарлатине.

Через неделю Катю выносили из комнатки

уже мертвой, а Груня выздоровела. Потом, гораздо позднее, раздумывая о своей странной жизни, она говорила себе, что всюду приносила с собою несчастье, что даже благодаря ей в приютившую ее семью Прыгунова явилась смерть: ведь это она заразила Катю скарлатиной.

Однако Прыгуновы, горько оплакивавшие свою бедную девочку, не считали Груню виновной, они продолжали ласкать ее по-прежнему, даже, пожалуй, больше прежнего.

Время шло. Проходили годы. Груня жила все в той же комнатке и ходила в тот же пансион. Востроносенькая барышня Прыгунова вышла замуж и уехала с мужем в Харьков. Мальчики выросли, делались такими неуклюжими и еще более дикими и почему-то становились все больше и больше почтительными с Груней, даже как будто ее боялись. Она могла распоряжаться ими как ей вздумается, малейшее ее слово, движение — и оба они взапуски готовы были бежать для нее хоть на край света.

Кондрат Кузьмич и Олимпиада Петровна тоже незаметно для себя стали как будто ей

подчиняться, хотя она вовсе не желала этого. Иной раз она капризничала, иной раз она спорила с ними, раздражалась, относилась к ним вовсе не с таким почтением, как бы следовало, но они этого не замечали. Кондрат Кузьмич хотя и покрикивал на нее изредка, но тотчас же и смягчался.

Груня была вовсе не зла и по-своему очень любила всех Прыгуновых, ценила все, что они для нее делали. Каждый раз, допустив себя до раздражения и потом успокоившись, она мучилась и бранила себя, считала себя гадкой, бессовестной, неблагодарной. Она кидалась перед Олимпиадой Петровной на колени, целовала ее руки; затем принималась ластиться к Кондрату Кузьмичу. Олимпиада Петровна сразу же разнеживалась, обнимала Груню, гладила ее по головке и приговаривала:

— Ах ты, огонек мой, огонек, победная ты моя головушка! Ну чего ты... ну чего!.. Знаю я, что ты меня любишь... знаю!..

Кондрат Кузьмич сдавался не сразу. Он хмурился, мычал, потрясал своей страшной головою. Но обаяние дикарки и на него дей-

ствовало: стоило ей только поглядеть хорошенько в его прятавшиеся под косматые брови глаза — и он начинал таять.

— Отвяжись! — ворчал он. — Есть у меня время с тобой возиться!.. Пойди, долби лучше уроки, а то ведь лентяйка записная... Мадам еще в последний раз, как я ей отвозил деньги, на тебя жаловалась. Ступай, долби уроки!

А сам невольно склонился над нею и с тихим вздохом целовал ее в лоб, коя ее своим щетинистым подбородком.

Мадам жаловалась действительно, а между тем Груня вовсе не была, собственно говоря, лентяйка; к тому же она обладала прекрасными способностями. Только она поступила в пансион совсем неподготовленной, так что была посажена в класс с маленькими восьмилетними девочками. Она от них не отставала, напротив, перегоняла их, но все же ей пришлось всегда быть самой старшей в классе по годам, и немудрено, что ей скучно было с этими маленькими подругами, что ничего общего не оказывалось между нею и ними. Она носила в себе свое тяжкое прошлое, забывавшееся, несмотря на новую жизнь, и

навсегда ее отравившее. Правда, с годами оно как-то тускнело — это прошлое — и уже редко теперь складывалось перед нею в определенные картины. Но временами оно наплывало на нее, как туман, давило, поднимало в ней тоску.

В такие-то дни она и становилась ленивой, не готовила своих уроков, делалась раздражительной, говорила дерзости классным дамам и учителям в пансионе, а дома — Кондрату Кузьмичу и Олимпиаде Петровне. В такие дни она придиралась ко всему, любила дразнить рыцарски преданных ей гимназистов, Колю и Васю Прыгуновых, издевалась над ними и всячески ими помыкала. А потом запиралась у себя, бросалась на кровать и, уткнувшись в подушки, рыдала-рыдала, проклинала и себя и всех, чувствовала тоску и скуку, от которых некуда уйти...

Все это были неизбежные следы прошлого. Но вместе с этим в сердце ее прыгал и кричал какой-то «бесенок», по выражению Кондрата Кузьмича, вечный, назойливый и мучительный бесенок, который еще в прежние годы, в Знаменском парке, во время никому не ведо-

мых ее прогулок с Володей, навевал на нее всякие волшебные сны и грезы. Он заставлял ее мечтать о какой-то особенной сказочной будущности...

Этот прежний бесенок не умер — он был жив, он вырастал вместе с нею, по-старому то мучил ее, то прикидывался тихим и добрым.

«Разве это жизнь? — назойливо твердил он ей. — Разве это жизнь?» И он принимался представлять всех людей, ее окружавших, в смешном виде. Он показывал ей их как в зеркале, но только при этом так освещал, что, например, глядя на изображение Кондрата Кузьмича, она уже не замечала его доброты, его христианского смирения, а видела только его грибообразную фигуру, бородавки, смешные манеры и привычки.

Олимпиада Петровна являлась совсем уже глупой, тупой старушкой. Madame — содержательница пансиона — злая ведьма, думающая только о наживе; классные дамы — сплетницы и интриганки, и так далее, все в том же роде.

Ехидный бесенок доказывал все это так ясно, так ясно, что нельзя было с ним не согла-

ситься. А между тем Груня хотела любить всех и даже любила, любила и насмехалась, и терзалась в невыносимых противоречиях.

«Нет, это не жизнь! Жизнь — совсем другое!..» — думалось Груне.

«Да, жизнь — другое!» — твердил бесенок.

Ей представлялась роскошная, залитая блеском зала, полная нарядной толпой... Эстрада... звуки музыки... И она, Груня, — центр всех взглядов... Она поет среди своих придворных дам и кавалеров, она принцесса, героиня, примадонна!.. Вот перед нею склоняется прекрасный рыцарь, и в ответ на слова ее звучит его сладкий голос, наполняющий всю ее душу восторгом, говорящий о волшебной любви, о счастье...

А зал дрожит от рукоплесканий, к ногам красавицы примадонны сыплются букеты, венки, дорогие подарки...

«Володя... Володя!.. Что с ним? Какой он теперь?» — вдруг вспоминает она своего единственного друга, и ей начинает безумно хотеться его увидеть. Но это невозможно: раз навсегда решено, что она с Горбатовым не должна иметь ничего общего. Она видела Бо-

риса Сергеевича несколько раз, по его возвращении из-за границы, в доме Кондрата Кузьмича. Он всегда был очень ласков с нею, но ни разу не упомянул о Володе...

Да если б и позвали ее туда — она не пошла бы, ей страшно и подумать об этом после всего, что было... Она убежала бы непременно, если б ей сказали, что Володя здесь, в доме. А между тем ей все же временами всею силою страстного желания хотелось его видеть... Она не могла забыть его, только мало-помалу его образ начинал принимать фантастические очертания; он часто представлялся ей именно тем склоненным перед нею прекрасным рыцарем...

А время идет. Она по-прежнему в пансионе, по-прежнему сидит в классе и отвечает уроки. И никто как будто не замечает, да и сама она в том числе, что она уже совсем взрослая, совсем развившаяся девушка. Ей девятнадцатый год.

Она вышла настоящей красавицей. Дочь русского знатного барина из знаменитого рода и крестьянки, она наглядно подтвердила на себе теорию обновления старой, вырожда-

ющейся расы посредством здоровой новой крови.

Она воплотила в себе тот идеал «русской красной девицы», которая сушила и знобила сердце молодецкое одним взглядом очей соколиных, одним движением черной брови. Это была именно красота, которая когда-то, во времена царской Руси, выростала в тихом тереме, за затворами, и появлялась на царских смотринах; та красота, перед которой юный властелин останавливался, невольно пораженный и превознесенный до седьмого неба, и протягивал ей свою царскую ширинку — знак сердечного выбора. Тогда на эту красоту избранную поднималась вся царская челядь и терем, старались извести ее всеми мерами, посредством всяких чар, зелий и порчи, зачастую и губили ее безвозвратно...

Груня не готовилась к царским смотринам, ей нечего было бояться порчи; но уж во всяком случае ей не место было, с этой созревшей красотой, на ученической скамье маленького пансиона. Она наконец поняла это.

Внезапно решась, она объявила Кондрату

Кузьмичу и Олимпиаде Петровне, что хотя ей остается еще целый год быть в пансионе, но она больше не может и ни за что не станет ходить в класс.

Олимпиада Петровна ужаснулась. Кондрат Кузьмич пришел в ярость.

— Это что такое? — закричал он. — Как тебе не совестно? Ведь ты знаешь желание твоего благодетеля Бориса Сергеевича, чтобы ты кончила курс и выдержала экзамен? Да и что же ты, матушка, станешь делать?..

— А что я стану делать, когда выдержу экзамен? Ну, что я тогда стану делать, Кондрат Кузьмич, скажите? Диплом получу... так в гувернантки идти, что ли? Я не могу этого... я не способна... лучше утопиться!..

Кондрат Кузьмич нахмурился и застучал пальцем по столу:

— Ишь ты ведь язык — утопиться!.. Зачем в гувернантки... разве тебе так уж дурно у нас? Я так полагаю: вот ты кончишь курс, диплом получишь, а мы тем временем тебе человека хорошего присмотрим...

Груня вспыхнула.

— Уж этого-то не будет! — воскликнула

она. — Никакого хорошего человека мне не надо, и я ни за что не выйду замуж...

— Что же ты намерена с собой делать, мать моя?

— Я хочу быть актрисой.

Олимпиада Петровна всплеснула руками. Кондрат Кузьмич топнуло ногой и засеменил на месте. Он даже приподнял указательный палец и стал грозить им Груне.

— И думать не моги! Да что это ты белены, что ли, объелась? Актрисой!.. Нечего сказать — благодарность Борису Сергеевичу!.. За этим он о тебе заботился... о нас я и не говорю — о нас ты немного думаешь... Да как это тебе и в голову могло прийти такое?

На Груню между тем уже находил припадок раздражения.

— Что ж такого дурного быть актрисой?

— Об этом я даже с тобой и говорить не хочу! — объявил Кондрат Кузьмич, выходя из комнаты.

Но затем он снова вернулся и мрачно прибавил:

— Выбрось ты это из головы, Аграфена, слышишь, выбрось!

Олимпиада Петровна стала было всячески уговаривать Груню, но ее плаксивый тон, ее взгляд на артистическую карьеру как на полнейший позор только еще больше раздражали девушку. Однако она воздержалась от возражений, ушла к себе в комнату и заперлась там надолго.

Она решила судьбу свою.

V. ЗАДУМАНО — СДЕЛАНО

Это было весной. Занятия в пансионе скоро кончались. Груня сделала маленькую уступку — продолжала ходить в пансион, хотя уже совсем почти не готовила уроков. Она кое-как выдержала переходный экзамен в старший класс, а затем, к концу лета, как-то утром ушла из дому и больше не возвращалась.

Переполох был страшный. Груня оставила записку, в которой очень трогательно благодарила Прыгуновых за все их о ней попечение, уверяла их, что ей очень грустно расстаться с ними, но что она не может поступить иначе, что она должна попробовать свои силы на том поприще, к которому чув-

ствуует призвание.

Борис Сергеевич Горбатов был в это время в деревне. Кондрат Кузьмич хотел было пуститься на поиски, но Груня исчезла без всяких следов.

— Да где же?.. Как же? Куда?.. Что такое?!

Прыгуновы совсем потеряли голову и, конечно, не могли найти разгадку, пока не пришло первое письмо от Груни из Казани, где она дебютировала. В этом письме она объясняла многое: она в несколько месяцев мало-помалу устроила дело посредством ловкого и, конечно, влюбленного в нее, хотя без всякой надежды на взаимность, молодого человека, которого встречала в доме одной из своих подруг. Она завела сношения с антрепренером, успела с ним лично познакомиться. Антрепренер поразился ее красотой и бойкостью, заставил ее прочесть несколько сцен и предложил ей условия, показавшиеся ей блестящими. Все было решено. У нее в руках оказался задаток. Она хитростью выманила у Олимпиады Петровны необходимые ей бумаги и уехала в Казань. Вот как все случилось.

Конечно, ее можно было заставить вер-

нуться силой, так как она еще не достигла совершеннолетия. Но Горбатов, к крайнему изумлению Кондрата Кузьмича, отказался вмешиваться в это дело.

— Я получил письмо от Груни и ответил ей, — сказал он на все доводы старого дельца. — Надеюсь, что она не пропадет, и во всяком случае она пропадет скорее, если мы станем удерживать ее силой, — это уж такой характер...

— Да, бедовый характер, конечно, — воскликнул Прыгунов, — только как вам угодно, а пропала теперь наша Аграфена, совсем пропала!

— Не каркайте, почтеннейший! — ответил ему старик Горбатов со своей тихой и грустной улыбкой.

Каркать действительно было рано, и Борис Сергеевич доказал, что хорошо понял Груню, не пожелав ей противоречить и стеснять ее.

Дело было так. Когда Груня во что бы ни стало решила достигнуть своей цели и, ввиду встреченного ею в семье Прыгунова противодействия, нашла необходимым поступить тайно, она вся была наполнена только одним:

добиться своего, все устроить половчее, уехать. Она ни над чем не задумывалась, не обсуждала свои поступки и только действовала.

Цель достигнута, все устроено — она в Казани.

Тут с нею произошло то же, что и тогда, после ее детского преступления в Знаменском. Она очнулась, взглянула на свои поступки сознательно и почувствовала себя не совсем правой, но не перед Прыгуновыми, нет, — как она их ни любила, но все же в своей юной самонадеянности и гордости считала, что судить ее и осуждать не их ума дело. Она почла себя неправой перед Борисом Сергеевичем. Хотя она и немного его знала, то есть виделась с ним редко, но он играл в ее жизни первую роль. Он казался ей всегда и продолжал казаться каким-то особенным существом. Она благоговела перед ним и в то же время, хотя это, по-видимому, и не согласовалось с ее природой, даже несколько его боялась.

После своего первого дебюта в Казани она собралась с духом и написала ему горячее, ис-

креннее письмо, излила всю свою душу, все свои мечты, планы. Она уверяла его в необходимости для нее отдаться артистическому призванию, без которого она жить не может, просила простить ее, трогательно выражала свою благодарность.

Борис Сергеевич прочел и перечел это письмо, подумал и написал ей в ответ, что хотя она поступила очень легкомысленно и дурно относительно Прыгуновых, но что если действительно у нее есть призвание, как она пишет, то он готов извинить ей. Он выразил, что призвание это прекрасно и благородно, но что при ее молодости и неопытности она подвергается огромным опасностям. Он просил ее никогда не забывать этого...

Заканчивалось это письмо так: «Я твердо, однако, надеюсь на твою честность, благородство и чистоту. Помни также, что я всегда готов помочь тебе, и во всякую трудную минуту спеши ко мне обратиться — это будет лучшим доказательством того, что ты ценишь то сильное добро, которое я тебе сделал».

Груня несколько часов проплакала над письмом Бориса Сергеевича, и хотя в ней ни-

когда не замечалось сентиментальности, но все же она не могла оторваться от этого листка бумаги и много раз целовала строчки, написанные старческой, уже дрожащей рукою.

Борис Сергеевич чувствовал, что именно так ей написать надо, — и не обманулся. Это письмо было талисманом, охранявшим Груню в ее скитальческой жизни.

Конечно, опасностей было немало, немало испытаний, а разочарований и того еще больше. Конечно, мечты разлетались мало-помалу, и эта новая «волшебная» жизнь оказалась совсем плохую. Груня попала в самое ужасное общество, какое только можно себе представить, в общество провинциальных актеров и провинциальных театралов. Она дебютировала как драматическая актриса и с первого же появления своего на сцене стала любимицей большинства публики. У нее, бесспорно, были проблески настоящего дарования, хотя игра ее отличалась неровностью и на каждом шагу чувствовалось отсутствие школы.

Если считать ее промахи, их в каждой роли набиралось достаточно; но ее молодость, ее всепобеждающая красота действовали оду-

ряюще. Конечно, она сразу очутилась центром всяких исканий со стороны молодых и немолодых театралов. Конечно, она встрети-лась с завистью подруг, со злобой, клеветой, сплетнями. Она видела грязные и мелкие закулисные интриги, цинизм и разврат, глупость и невежество, но вместе с этим встрети-ла и доброе к себе отношение.

Она на первых же порах сблизилась с по-жилой актрисой, женщиной очень хорошей и доброй и даже не имевшей никакого скан-дального прошлого, честно и добросовестно зарабатывавшей себе кусок хлеба на теат-ральных подмостках. Эта женщина, с которой Груня и поселилась вместе, была ей в боль-шую помощь, но в еще большую помощь ока-зался «талисман» Бориса Сергеевича в соеди-нении с ее собственным нравом, с ее самолю-бием и гордостью. К тому же в ней, наперекор рассудку, жила неизменно детская мечта об едином друге, об едином идеале — Володе. Все это, вместе взятое, спасло ее от грязи, от паде-ния, от непоправимых ошибок.

Борис Сергеевич, Володя и даже добродуш-ная семья Прыгуновых — все эти знакомые

образы заставляли ее свысока смотреть на новых людей, с которыми теперь ей приходилось сталкиваться. Эти двусмысленные интриганки-актрисы, эти нахальные ухаживающие за ней молодые и немолодые люди казались ей ничтожными и жалкими, порой смешными, порой гадкими. Они не могли увлечь ее. Она их не понимала, как и они ее, и ей с ними, по большей части, было просто скучно. В ней не было робости и мало-помалу развивалась осмотрительность. Она поневоле должна была у себя принимать. Она умела быть любезной и милой; в иные минуты, когда молодая, самолюбивая голова кружилась от аплодисментов, даже веселой; но никогда никому не позволяла она ничего лишнего — ни слова, ни движения — и очень искусно останавливала каждого вовремя.

Если бы ей пришлось жить на одном и том же месте долгое время, то ее молодая честность и неприступность сделали бы ей, конечно, непримиримых врагов, и эти, пожалуй, враги так или иначе подставили бы ей ногу. Но Груня в Казани не засиделась. Она вдруг пришла к убеждению, что это «совсем

не то». Несмотря на аплодисменты, она сама разочаровалась в своем драматическом таланте и, окончив зимний сезон, уехала в Тифлис, чтобы давать там концерты.

У Груни был сильный, чистый и мягкий контральто, но совсем необработанный. Она с большой душой, с огнем и силой играла на рояли. Но и здесь сказывалось полное отсутствие хорошей школы. Однако она все же дала несколько концертов, и опять ее красота и молодость, ее скромный и в то же время спокойный вид, наконец, какое-то магнетическое обаяние, исходившее от нее, упрочили за нею успех.

Она появилась на водах в Пятигорске и Кисловодске, произвела фурор, а когда направилась в Кутаиси, то повлекла за собою целую толпу «водяных» обожателей.

Она была довольна этим своим летом, но довольна главным образом потому, что провела его в чудной стране, красота которой так согласовалась с ее поэтическими вкусами. С собой же она была опять недовольна. Она мечтала теперь об опере, но сама сознавала, что это только мечты, что ей нужно много учиться-

ся. Она почти уже было решила ехать в Москву и с помощью Бориса Сергеевича поступить в консерваторию.

Между тем подвернулся новый антрепренер и успел уговорить ее сделать большое путешествие по городам южной России. И вот во второй год своего странствования она промелькнула в Киеве, в Харькове, в Одессе.

Но она истомилась, измучилась; фантазии ее уже совсем почти разлетелись. Она еще не потеряла веру в себя, но чувствовала, что находится на ложной дороге. Она развилась и как будто несколько постарела душевно за это время, в ней исчезли последние неровности. Эти два года ее не испортили. Но все же дыхание житейской пошлости, атмосфера людей, с которыми жила она, наложили на нее свой неизбежный след, как будто запылили ее. Она решила, что теперь настала именно такая «трудная минута», о которой ей писал Борис Сергеевич, и поехала в Москву за его помощью.

Дорогой в ее горячий, все быстро решавшей и упрямо стоявшей на своих решениях голове созрел новый план. Да, она должна

быть певицей и для этого должна учиться; но не в Москве, не в консерватории, а у «источника», на родине всякой музыки и пения, в Италии.

«За границу, за границу! В Италию!» — таков был теперь немолчный крик ее души, и с этим душевным криком она очутилась в домике Прыгуновых.

Ей пришлось провести не особенно приятный день — старики встретили ее сурово, с глубоким убеждением в том, что она — существо пропащее. К тому же они никак не могли забыть нанесенной им ею обиды — ее бегства из их дома.

Однако Груня все же с ними справилась, пустив в ход самые что ни на есть свои кошачьи ужимки. Старики растаяли. Олимпиада Петровна повела ее к себе и заставила перед образами поклясться, что она «в этом омуте вела себя хорошо и никогда не позволяла с собою мужчинам ничего такого...». Когда Груня поклялась в этом торжественно и всячески успокоила старушку, мир был заключен. Но ненадолго. На следующий же день приехал к Прыгуновым Борис Сергеевич, Груня долго с

ним беседовала, и кончилась эта беседа тем, что верный себе благодетель согласился на ее поездку в Италию и сказал, что даст ей все нужные средства для исполнения ее планов. Она приняла его помощь, без которой не могла обойтись, но с твердым решением так работать, чтобы скоро иметь возможность снова самой зарабатывать деньги.

Когда Прыгуновы узнали, что она опять «бежит», да еще и за границу, они стали ее всячески упрощать не губить себя, она не сдалась, и старики расстались с нею, огорченные и сердитые — «лучше бы и совсем не приезжала...»

Пять лет прошло с тех пор — лучшие годы молодости Груни. Она действительно сильно работала, и скоро имя певицы Фиорини (так для сцены она назвала себя) сделалось известным в Италии. В последние два года она с большим успехом пела в Вене, в Берлине, в Лондоне.

Она уже готова была подписать очень выгодный контракт с американцем-антрепренером, когда внезапная и какая-то странная болезнь горла почти лишила ее голоса.

Груня чуть с ума не сошла от отчаяния, советовалась со всеми известными специалистами по горловым болезням: они ничего не понимали, но в один голос решили, что это «нервное, что болезнь может пройти так же внезапно, как и явилась». «Когда же?» — на это они не могли дать ответа. Груня была как в тумане, но в то же время решила не падать духом.

Из Вены она очутилась в Одессе, где случайно узнала, что ее прежний друг, старая актриса, сильно и безнадежно больна в Астрахани. Недолго думая, послушная одному из своих горячих порывов, она помчалась в Астрахань. Оказалось, что актриса уже давно умерла. Потом все случилось как-то само собою: Груня вдруг появилась на сцене в роли Катерины в «Грозе». Восторгам астраханской публики конца не было; но Груня скоро почувствовала, что ведь это — сон, бред какой-то, что надо очнуться, прийти в себя. Если голос действительно пропал, если надо не петь, а играть, то не здесь же.

Ей становилось все тоскливее, все тяжелее. Ее неудержимо, страстно, как пять лет тому

назад, потянуло в Москву, захотелось скорее увидеть те немногие милые лица, которые у нее были в жизни.

Она в три дня собралась и очутилась на волжском пароходе. Когда пароход тронулся, Груня, устраивавшаяся в своей каюте, вздохнула полной грудью, будто большая тяжесть спала у нее с плеч; ей показалось, что она вырвалась из неволи, из тюрьмы, что теперь покончены уже все счеты с опротивевшей, пошлой, измучившей ее жизнью. Ей было приятно при мысли, что она уже не будет видеть этих глупых, нахальных, приторных лиц, окружавших ее в это последнее время, окружавших еще за несколько часов перед тем.

Ей даже казалось, что она навсегда, наконец, избавлена от этих поклонников якобы ее таланта, из которых каждый глядел на нее как на более или менее доступную добычу. И никогда еще с такой ясностью не представлялась ей унижительность положения молодой красивой актрисы, которую, как бы она ни держала себя, никто не признает за честную, достойную уважения женщину.

Кондрат Кузьмич и покойная Олимпиада

Петровна были почти правы... Ей стало очень грустно, но мысль о том, что теперь кончено, что через несколько дней она будет в Москве, ее развеселила. Она вышла на палубу и села под навесом, глядя на воду, следя за зыбью.

— Аграфена Васильевна! — раздалось над ее ухом.

Она с изумлением обернулась и увидела перед собою улыбающуюся, франтоватую и неуклюжую фигуру Барбасова.

«Как-таки не кончено! — с ожесточением подумала она. — И здесь опять то же!..»

Барбасов принадлежал к числу самых горячих ее поклонников за последнее время в Астрахани. Правда, он надоедал ей меньше других, но все же его присутствие, напоминавшее именно то, от чего она бежала, было теперь противно.

Барбасов, молодой московский адвокат, уже получивший известность двумя-тремя крупными делами, очутился в Астрахани именно по случаю одного из подобных дел. Окончив его блистательно, то есть набив себе туго карман, он теперь возвращался в Москву.

— Аграфена Васильевна, вот уж не ожидал такого счастья!.. Мы едем вместе! — восторженно произнес он, щуря глаза и шлепая губами.

Она не удержалась.

— Для меня это совсем не счастье, — сказала она. — Я именно бегу от всех вас, господа! От ваших любезностей, комплиментов... Я, право, очень устала, и мне необходимо быть одной... одной.

Он сделал серьезное лицо, насколько это было в его власти, и присел рядом с нею.

— Не гоните меня, — тихо проговорил он, — увидите, что не так черен черт, как его малюют...

И он мало-помалу, заведя интересный разговор, овладел ее вниманием. Он кончил тем, что превратился в очень милого, деликатного и приятного спутника, и Груня даже не замечала, какие по временам он бросал на нее жадные, страстные взгляды. Он исчезал, едва видел в ней малейший признак неудовольствия.

Таким образом, Груня нередко оставалась одна, и тогда она начинала раздумывать о

Москве. Ей пуще всего надо было увидеть Бориса Сергеевича, она рассчитывала и теперь на его поддержку... И вот его нет — он умер! Вся радость возвращения была отравлена.

Но он написал ей перед смертью, позаботился об ее будущности. Новый талисман имела она от него. И в этих предсмертных строчках старика снова сказывалось его прозорливое сердце.

Он просил ее ни под каким предлогом не тратить оставляемых ей пятидесяти тысяч. «Процентов с этих денег достаточно, чтобы всегда поддерживать тебя, — писал он слабым, дрожащим почерком. — Верю, что ты исполнишь этот завет мой».

Конечно, она его исполнит!.. Но нет его, прекрасного и доброго, не привелось его увидеть...

Она только теперь сознавала ясно, кем он был для нее. Она обвиняла себя за свое долгое отсутствие из России, за эти глупые два месяца в Астрахани и долго-долго не могла заснуть, лежа на узенькой кровати, среди знакомой, бедной и милой ей обстановки.

VI. НА БАСМАННОЙ

Борис Сергеевич не ошибся, избрав свою дальнюю родственницу, Клавдию Николаевну Неромскую, для роли воспитательницы своих внучат и руководительницы всего московского дома. Она, как говорил про нее старый Степан, пришлась «ко двору» и в течение четырнадцати лет исполняла свои многосложные обязанности, если не всегда особенно удачно, по независящим от нее обстоятельствам, то, во всяком случае, добросовестно.

Клавдия Ивановна, бездетная вдова, до переезда к Горбатовым чувствовала себя крайне уставшей, хотя, собственно говоря, сама не могла дать себе хорошенько отчета в причинах этой усталости. Ей просто недоставало цели жизни, теперь же цель нашлась. Она была большая идеалистка и даже мечтательница, иногда не особенно ясно представляла себе действительность, видела ее то в чересчур розовом, то в чересчур мрачном свете, согласно состоянию своих нервов.

Ее легко было обмануть и уж особенно в

денежном отношении, так что хозяйственная часть у нее всегда немного хромала. Но большие средства Бориса Сергеевича, которыми держался дом, делали эти промахи незаметными.

У Клавдии Николаевны было очень чувствительное сердце. Она любила всех и каждого, всех, кого знала и кого не знала. Ей доставляло большое наслаждение кому-нибудь услужить, помочь, вывести человека из беды. Она именно любила всех, потому что у нее не было ни одной действительно сильной привязанности.

Посвятив себя воспитанию детей Сергея Владимировича, она этим прежде всего доставила самой себе огромное наслаждение, почувствовав, что дети эти действительно без нее не могут обойтись. Она, еще не узнав их и не разглядев совсем, исполнила свое сердце жалостью к ним и симпатией. Говоря о них со своими многочисленными знакомыми, приятелями и приятельницами, она всегда вздыхала, делала грустное лицо и называла их не иначе, как «эти бедные дети». Так они и остались у нее «этими бедными детьми» во все че-

тырнадцать лет.

Разглядев их, она убедилась, что ей предстоит трудная задача, в особенности по отношению к старшей, Соне. Девочка была избалована до последней степени покойною бабушкой, своевольна, заносчива. В тринадцать лет она уже считала себя за какое-то маленькое божество, перед которым все должны были преклоняться. Клавдия Николаевна решила, что перевоспитает Сою. Но это ей не удалось, как потому, что вообще переделать в корень испорченную тринадцатилетнюю девочку нет возможности, так и потому, что ей мешала жалость к «этому бедному ребенку».

Однако все же она сделала все, что могла, и, вероятно, Соня в других руках вышла бы несравненно хуже.

Ладить с Машей было уже легче, она была меньше испорчена, да и натура у нее оказалась совсем другой. Но как бы то ни было, благодаря стараниям Клавдии Николаевны, обе девочки получили, с общепринятой точки зрения, прекрасное воспитание и образование.

Держать дом на подобающей ноге — на это

Клавдия Николаевна была мастерица. Она всегда выбирала для девочек очень представительных гувернанток — француженок и англичанок, не особенно строгих, но и не чересчур податливых. Она завела постоянные сношения с лучшими семьями из старого московского дворянства, где у девочек были сверстницы. Одним словом, их детство и отрочество прошли счастливо и весело.

Не забывая учебных занятий, Клавдия Николаевна заботилась, именно вследствие того, что это были «такие бедные дети», об их удовольствиях. Она устроила веселые танцклассы в огромной зале старинного дома, придумывала различные увеселения. Зимой в саду были всегда каток, горки. Летом вся семья обыкновенно уезжала за границу. В Горбатовское почему-то никогда не ездили, и даже сам Борис Сергеевич в течение этих последних четырнадцати лет своей жизни был там всего два раза, да и то на самое короткое время. С Горбатовским теперь соединялось в семье слишком много тягостных воспоминаний.

Когда девочки подросли, к ним были при-

глашены лучшие учителя. Конечно, образование их было не серьезно, но они знали все, что знать требовалось в их обществе. Они имели элементарные понятия о многих науках, прекрасно говорили на трех языках. При этом Маша очень мило рисовала и сделала пастелью довольно схожий портрет дедушки, Бориса Сергеевича, за который все знакомые ее так расхвалили, что она успокоилась на лаврах и вдруг совсем почти охладела к живописи.

У Сони оказался небольшой музыкальный талант. Музыкант Дюбюк, бывший тогда в Москве в большом ходу как учитель музыки, без особенных угрызений совести объявлял ее за глаза и в глаза чуть ли не самой лучшей своей ученицей. Она также пела тоненьким чистеньким сопрано, и на ее долю выпало немало аплодисментов в московских гостиных. Сама она считала себя необыкновенной музыкантшей и певицей и была уверена, по крайней мере в минуты откровенности признавалась в этом многим, что если бы ее положение позволяло ей поступить на сцену, то, конечно, она затмила бы самых перво-

классных артисток.

Она не пропускала ни одного представления итальянской оперы, и Клавдия Николаевна, понемногу старевшая и все более страдавшая своими нервами, иногда выказывала настоящее самоотвержение, сопровождая ее и возвращаясь домой с мучительной мигренью. Соня тоже иной раз уже позевывала в театре, прикрываясь веером, и с нетерпением ожидала антракта, когда к ним в ложу входили допускаящиеся по выбору Клавдии Николаевны безукоризненные молодые люди. Но не быть в опере аккуратно на каждом представлении своего абонементу и в бенефисы она не могла, желая сохранить репутацию «серьезной артистки».

Никто не слышал от Сони искреннего восхищения каким-нибудь певцом или певицей, она всегда находила в них недостатки и презрительно пожимала плечами.

Москвичей сводила с ума в те годы madame Арто в роли Маргариты и Розины, но Соня была недовольна и ею. Она у себя дома повторяла ее арии и находила, что исполняет их несравненно лучше «этого уroda», кото-

рым неизвестно почему восхищаются. Один только тенор Станио снискал было ее милостивое к себе расположение, он даже был ей как-то представлен и даже один раз пел у них в доме. Но избалованный, не особенно благовоспитанный итальянец не сумел достаточно преклониться перед знатной барышней-дилетанткой — барышень он избегал, предпочитая им московских барынь. Он отнесся к Соне, как ей показалось, довольно равнодушно. С этого дня она выбросила из своего альбома его портреты и затем стала находить, что его голос слабеет и портится с каждым новым представлением...

Соня и Маша совсем выросли. Их учебные занятия прекратились. Англичанка и француженка сменились «demoiselle de compagnie» [2], пожилой девицей, баронессой Кнорре из обедневшего, но безукоризненно приличного семейства. Эта баронесса, со своим уже увядшим, но довольно приятным лицом, с прекрасными манерами, образованная, начитанная, представлялась Клавдии Николаевне именно такой особой, какая нужна была в данных обстоятельствах. Она была способна

заменить ее в тех случаях, когда мигрень, доведенная до последней степени, заставляла даже «этих бедных детей» превращаться в «этих несносных детей».

Итак, Соня и Маша, шапронируемые то Клавдией Николаевной, то баронессой Кнорре, блистали в лучшем московском обществе. Обе они считались красивыми девушками. Соня вышла совсем похожей на свою бабушку Катерину Михайловну: небольшого роста, стройная и грациозная, белокурая, с нежным румянцем, с томными глазками и щебетаньем птички. Сходство с бабушкой не ограничивалось одной внешностью — она унаследовала от нее и многие свойства характера, только иная эпоха и различные подробности в обстановке и воспитании несколько изменили это родовое сходство. Но у птички, во всяком случае, были острые коготки, а язычок иной раз не знал себе удержу.

Маша была в ином роде. Чуть ли не на голову выше сестры, почти брюнетка, с темно-серыми глазами, с густою каштановой косяю, несколько массивная, она, собственно, ни на кого из родни особенно не было похо-

жа, да и лицо ее часто менялось. Иной раз она казалась просто некрасивой: глаза без блеска, какое-то безучастное или неизвестно почему изумленное выражение. Но в минуты оживления и веселья она преображалась: на губах ее появлялась живая, прелестная улыбка, тотчас же ее скрашивавшая и привлекавшая к ней всякого. Это была улыбка ее прабабушки, красавицы Татьяны Владимировны.

Маша оставалась покуда для всех, знавших ее, загадкой.

Клавдия Николаевна, говоря о ней, совсем закрывала глаза, грустно пожимала плечами и шептала:

— Cette pauvre chère enfant — c'est une énigme!.. On ne sait jamais ni ses sentiments, ni ses pensées... Mais elle est bonne... oh, elle est bonne, la pauvre petite!.. [3] — прибавляла она, глубоко вздыхая.

Даже московская молодежь и та признавала Машу иероглифом. На нее иногда находили целые недели какого-то апатичного состояния: она делалась молчаливой, почти ко всем безучастной и даже иной раз отказывалась от выездов, ссылаясь на нездоровье.

Тогда Клавдия Николаевна была тревогу, посылала за доктором. Но доктор уверял, что никакой болезни нет и не предвидится.

«Может быть, скучает барышня или заби-лось сердечко. Выйдет замуж — повеселеет...»

«Выйдет замуж». Этот вопрос уже начинал не на шутку тревожить Клавдию Николаевну. Вот Соне уже минул двадцать один год. Маше скоро девятнадцать. Выдать их обеих за-муж — это было необходимо, этим добросо-вестная воспитательница должна была завер-шить доброе дело своей жизни.

Когда она поверяла приятельницам свою заботу, ей обыкновенно объясняли, что в же-нихах-то у ее воспитанниц не будет недостат-ка — такое имя, такое богатство и такие хоро-шенькие!..

— Хорошенькие... да, пожалуй... oui, cetrainement, elles sont jolies, les pauvres petites... [4] имя... конечно...

Она успокаивалась на короткое время.

О богатстве их она как-то не думала — это уж дело Бориса Сергеевича... Однако женихи, несмотря на красоту и богатство невест, все же заставляли себя ждать.

И Соня, и Маша всегда были окружены, но до сих пор никто еще не решился ясно высказаться, так как они, каждая в своем роде, держали себя чересчур холодно и недоступно.

Наконец Соня пленила сердце некоего юноши, князя, обладателя довольно расстроенного состояния и больших связей, недавно с грехом пополам окончившего университетский курс, служившего у генерал-губернатора и совершенно уверенного в своей блестящей административной карьере. Юноша был очень недурен собой, его разрывали на части в обществе. Он считался в Москве первым женихом.

Соня была к нему милостива.

И вот он сделал ей форменное предложение, в полном расчете на ее согласие. Каково же было его изумление, когда она ему отказала, отказала напрямик, и приняла при этом даже какой-то оскорбленный вид.

Князь не поверил, что это серьезно, и подослал к Клавдии Николаевне одну из своих тетушек.

Клавдия Николаевна спросила Соню.

Та разразилась насмешками над претен-

дентом.

— Как, чтобы я вышла замуж за такого ничтожного человека, за этого мальчишку?! Я еще не сошла с ума... Я удивляюсь даже, как вы об этом можете серьезно со мною говорить.

Клавдия Николаевна изумилась.

— Почему же, друг мой? Он очень приятный молодой человек, любим всеми... с будущностью... из почтенной семьи... Ты бы ничуть себя не уронила... Право, он лучший жених в Москве.

— Очень может быть! — отвечала Соня, нервно передернув плечиком и сделав презрительную минку. — В таком случае желаю ему лучшую московскую невесту. Я же за него выходить замуж не намерена, и, пожалуйста, не будем больше об этом говорить.

— Если желаешь — не будем. Но смотри, потом пожалеешь, пожалуй!

— Не беспокойтесь, не пожалею! — засмеялась Соня.

После «первого» московского жениха «вторые» уж не совались. Соня осталась неизбежным украшением всякого бала в московском

обществе, но ее не любили, и эта общая нелюбовь к ней развивалась больше и больше. Сама она, конечно, не замечала этого.

Но она, по крайней мере, отказала лучшему жениху, Маша никому не отказывала, у нее просто женихов не было. Почему так случилось — неизвестно. Эти две красивые, богатые и знатные девушки скоро отчего-то перестали совсем даже и считаться невестами в толпе московских и время от времени наезжавших из Петербурга женихов.

VII. КОКУШКА

Воспитанием Сони и Маши не ограничивались заботы Клавдии Николаевны. В течение этих четырнадцати лет ее бедные нервы несравненно больше терзал Коля.

Этот мальчик сначала рос и развивался совершенно правильно. Родные называли его даже богатырем — такой он был крупный, крепкий, сильный и румяный. Правда, он лишился матери будучи четырехмесячным ребенком. Но эта мать, юная и легкомысленная светская женщина, не занималась ни одним из своих детей, предпочитая этому постоян-

ные выезды и приемы.

Таким образом, Коля с первых дней своей жизни был воспитан ничуть не иначе, как его брат и сестры. Он рос, окруженный штатом нянек и гувернанток. Никакого несчастного случая с ним в детстве не было. Он никогда не падал и не расшибался, все болезни детского возраста вынес своевременно и удачно, был мальчик хотя довольно спокойный, но нисколько не апатичный, шалил, как все, веселился, как все, и каждый, глядя на него, непременно должен был сказать: «Какой прелестный ребенок!»

Так продолжалось лет до девяти; но потом, уже в московском доме, уже во время Клавдии Николаевны, Коля стал изменяться, изменяться не вдруг, а незаметно, мало-помалу, так что нельзя даже было с точностью определить эпоху этого изменения и уж тем более уловить ее причины.

До того он хорошо учился, но вот начал лениться или, вернее, становился непонятливым; когда ему что-нибудь объясняли, он слушал внимательно, но по его глазам видно было, что он ничего не понимает.

Память у него стала пропадать, и к десяти годам он уже совсем имел вид ребенка, остановившегося в своем развитии.

Когда Клавдия Николаевна поняла наконец эту ужасную перемену в мальчике, она пришла в ужас. Созвали докторов; те в один голос решили, что болезни у Коли ровно никакой нет и что лечить его, собственно говоря, не от чего, никакое лечение не поможет ему стать умнее и способнее.

— Да что же это? Отчего такое могло случиться? — тревожно спрашивала Клавдия Николаевна.

Доктора пожимали плечами и могли только ответить, что такое бывает нередко, что не всем же быть одинаково развитыми и умными.

Впрочем, нашелся один молодой и многообещающий доктор, который на вопрос Клавдии Николаевны спокойно ответил:

— Это вырождение.

— Какое вырождение? — испуганно встрепенулась Клавдия Николаевна, забывая даже свою мигрень, невыносимо ее в тот день терзавшую.

— Так, вырождение — и ничего больше, — повторил доктор, — закон природы, неизбежное действие времени и различных жизненных условий. Когда-нибудь все это будет подробно разработано и выяснено, теперь же мы можем только констатировать факты и делать наблюдения. Не позволите ли вы мне время от времени навещать вас не в качестве доктора — лечить мальчика нечего — а в качестве наблюдателя для научной цели?

Но Клавдия Николаевна почувствовала к молодой знаменитости за такие его ужасные слова, а главное за равнодушный, спокойный тон, каким он произносил их, почти отвращение. Она учтиво отклонила его просьбу, сказав, что хотя она и уважает науку, но в настоящем случае ей даже и до науки нет дела.

Придя в себя по отъезде доктора, она стала раздумывать и решила, что он сказал вздор.

«Как вырождение?! Это еще что за новость! Это он и про меня скажет, что я вырождаюсь! Он, верно, из нынешних, что готовы отрицать и Бога, и все прекрасное, возвышенное, благородное. Вырождение! Скажите, по-

жалуйста!.. Так что же это? Потому что у человека целый ряд знаменитых прославленных предков — он должен быть идиотом?!
Voilà une idée!.. [5]

А между тем от каких бы то ни было причин, но состояние бедного Коли ничуть не улучшалось. Даже отец его, Сергей Владимирович, изредка наезжавший в Москву, смутился, хотя вообще на своих детей он и не обращал никакого внимания.

Старик-дедушка, Борис Сергеевич, пробовал было лечить мальчика своими азиатскими лекарствами, но и эти лекарства не принесли пользы.

Тогда Колю каждое лето начали возить за границу, подвергая его всяким испытаниям, показывая всем специалистам. Даже раз привезли с собою из Берлина в Москву какого-то немца в рыжем парике, который ручался, что через шесть месяцев сделает Колю способным к прохождению всех наук.

Но прошел целый год, немцу были заплачены большие деньги, а Коля оставался все тем же.

До четырнадцати лет он рос очень быстро,

потом вдруг перестал расти и стал раздаваться в ширину. К восемнадцати годам это был приземистый, широкоплечий юноша цветущего вида, обрастающий уже бородою. Если бы не стеклянный взгляд бледно-голубых глаз и не косноязычность, развившаяся у него, хотя в детстве он говорил совсем ясно и правильно, в нем нельзя было бы заметить ничего особенного.

Коля вовсе не был идиотом, и точно определить, что он такое, не представлялось никакой возможности. Он умел читать и писать, понимал и даже объяснялся по-французски. Он имел о себе очень высокое мнение, любил и уважал себя и заботился о своей внешности, помадился, душился, ходил к парикмахеру завиваться, был всегда одет франтом.

Он не только знал все свое родство, но с особенной любовью, даже страстью изучил генеалогию своего рода и, на все остальное почти беспомытный, мог, когда угодно, с полной точностью и, не перепутав ни одного события, ни одного года, рассказать биографию любого из своих предков. Он чрезвычайно гордился своим происхождением и считал се-

бя и своих самыми знатными людьми в России.

Он любил общество, собрания, визиты и так тосковал и выходил из себя, когда его вздумали держать в отдалении, что добился своего — получил полную свободу. В московском обществе его знали под именем Кокушка, всюду принимали, и кончилось тем, что он превратился даже в одно из московских развлечений, почти в шута, забавника.

Эта его роль особенно мучила как старика Горбатова, так и Клавдию Николаевну. Но с Кокушкой ладить становилось все труднее. Его можно было убедить в чем угодно, заставить поверить всякой нелепости, легко подвигнуть на самый невероятный поступок, в нем замечалось полное отсутствие сознательной воли; но вместе со всем этим он в некоторых случаях выказывал ничем не победимое упорство. Он очень рано почувствовал стремление к свободе, и его гувернерам приходилось плохо — не было почти такой злой шалости, которую бы он не привел в исполнение, чтобы только насолить им, чтобы они как можно чаще от него отказывались.

Он добился своего — губернеры менялись чуть не ежемесячно. Наконец Кокушка начал твердить, что он никаких губернеров не хочет, что он взрослый. Сделали пробу и увидели, что он действительно без губернатора ведет себя лучше. Но нельзя же было оставить его, хоть и двадцатилетнего, без всякого надзора, его надо было оберегать от вредных знакомств, тем более что он любил иногда знакомиться неведомо с кем на улицах, на бульварах.

За ним был учрежден тайный и осторожный надзор; но на этот счет Кокушка оказывался удивительно чутким, он несколько раз подмечал, что за ним следят, и это приводило его в бешенство.

К двадцати трем годам он значительно остепенился, он уже так поднялся в собственном мнении, что начал считать для себя неприличным заговаривать на улицах и бульварах с незнакомыми — он удовлетворялся только избранным, высшим кругом. Даже и своих давнишних знакомых разделил на категории согласно с их происхождением, богатством и положением в обществе. У него

явились различные оттенки в обращении с людьми.

Вместе с этим в нем стало развиваться некоторое свойство, по-видимому, совсем противоречившее его чину и званию «дурачка», а именно тонкая наблюдательность и ехидство. Он подмечал все слабости своих ближних, отлично знал, чем и кого уколоть, и пользовался всяким удобным случаем сделать это.

Принятый всюду запросто, без церемоний, на правах дурачка, он видел закулисную сторону жизни московского общества. Ему часто делались известными такие семейные тайны и отношения, о которых не мог догадаться и самый тонкий человек.

И не перечеть, сколько Кокушка, переносясь из одного дома в другой, вывел сплетен, сколько неприятностей наделал московским дамам и кавалерам. Ему все прощалось, все сходило с рук: ведь это был Кокушка — дурачок. Он продолжал всюду влетать без доклада, с ним дурачились, над ним потешались, его дразнили.

И уж, конечно, никому и в голову не могло

прийти, что этот дурачок, хоть и бессознательно, а все же ловко и удачно ведет войну с обществом.

Это общество не находило предосудительным и жестоким потешаться над существом, обиженным природой, дразнить его всячески и даже иногда просто мучить. Но у Кокушки все неприятные ощущения проходили очень быстро, от самой злой над ним шутки и обиды через час какой-нибудь в нем ничего не оставалось. А зло, причиняемое его языком, иной раз имело очень серьезные последствия.

Кто же оставался в накладе?

В семье Кокушка уважал только деда, и когда тот за что-нибудь выговаривал, он очень смущался и тихонько твердил:

— Я... бо... больше не буду, дедушка!

Клавдию Николаевну он недолюбливал, считая ее главной виновницей всех когда-либо испытанных им стеснений. Он называл ее сосулькой, и, глядя на нее в иные минуты, когда она, бледная, почти прозрачная, мучимая мигренью, бессильно опускала руки и говорила умирающим голосом, нельзя было не со-

гласиться с меткостью этого прозвища: действительно, вот-вот сейчас растает...

Старшего брата, Владимира, всегда с ним ласкового, Кокушка неизвестно почему боялся, к Маше был презрительно равнодушен, а Соню ненавидел всеми силами души своей.

Правду сказать, она сделала все, чтобы заслужить это. Она никогда его не желала, она видела в нем только вредное и противное существо, которое срамит их дом. Раз как-то, рассерженная им, она крикнула, что его следует запереть в сумасшедший дом, надеть на него горячечную рубашку.

Кокушка вдруг притих, задрожал, побледнел и ушел в свою комнату.

«Сумасшедший дом» и «горячечная рубашка», о которых нередко распространялись в разговорах с ним его умные приятели, были его кошмаром.

Он никогда не мог забыть этой угрозы сестры и мстил ей всячески. Смутить ее, сконфузить при посторонних, посмеяться над ее музыкой, пением и другими слабостями доставляло ему, по-видимому, величайшее наслаждение.

Но все же нельзя сказать, чтобы у Кокушки совсем не было сердца, чтобы у него не было хороших порывов. С ним был, например, такой случай. В одну из последних своих поездок за границу семья Горбатовых остановилась дня на три в хорошеньком горном городке южной Германии.

Едва успели барышни и Клавдия Николаевна прийти в себя с дороги и переодеться, как к ним вбежал, совсем запыхавшись, Кокушка и объявил, что по соседству с гостиницей пожар. Все отправились туда. Горел небольшой домик. Он был уже весь объят пламенем, когда изнутри вдруг послышались отчаянные детские крики и в одном из окошек показалась голова маленькой девочки. Все оцепенели от неожиданности и ужаса; но вот какой-то человек бросается почти в самое пламя, врывается в домик и, среди грохота обрушивающейся крыши, выносит на своих руках девочку.

Этот герой оказался Кокушка, бывший всегда величайшим трусом. Он не мог не понимать очевидной опасности, которой подвергался; сердечный, инстинктивный порыв ока-

зался выше всяких соображений. Правда, потом Кокушка немилосердно хвастался своим геройством, пока сам, наконец, не забыл о нем...

VIII. НАСЛЕДНИКИ

Смерть Бориса Сергеевича не была неожиданностью в семье Горбатовых.

Старик уже с весны чувствовал себя очень дурно, и его постоянный доктор объявил Клавдии Николаевне, что он не предвидит хорошего исхода. И когда он сказал ей это, она уже и сама понимала, что он говорит правду.

— Боже мой, так что же нам делать? Ведь должна же быть какая-нибудь возможность продлить его жизнь!.. Куда нам ехать, чем поддержать его? Мы собирались на лето за границу, и он, по обыкновению, хотел ехать с нами... Куда же — в Карлсбад, Эмс, Гаштейн?.. Скажите...

— Никуда! — решительно ответил доктор. — Везти его теперь за границу — значило бы только сократить последние остающиеся ему дни и при этом понапрасну его измучить. Ему нужно спокойствие — и больше ничего.

Страданий особенных не предвидится. Мы будем поддерживать его сколько возможно, ему необходимо остаться здесь. Да и сам он мне только что сказал, что никуда не хочет, что готов бы был отказаться от путешествия; следовательно, устройте так, чтобы его не тревожить...

Устроить, конечно, было нетрудно. Узнав о положении дедушки, не только Маша, но даже и Софи, уже приготовившаяся к поездке за границу и строившая на это лето планы, не нашли никаких возражений. Сначала хотели было совсем остаться в Москве, но затем наняли просторный прекрасный дом, старую барскую усадьбу в нескольких верстах от города и, как только установилась погода, переехали туда и перевезли Бориса Сергеевича.

Это было унылое, однообразное лето, и даже Кокушка приутих. Его почти не было видно и слышно.

Борис Сергеевич проводил время, окруженный докторами и внучатами, а когда все они расходились, на их место являлся неизменный и все еще бодрый Степан. Он раньше всех понял, что его господину и другу недолго

остаётся жить на свете. Ничем не выразил он своего тяжкого горя, только пользовался каждой минутой, чтобы быть с ним или возле него, не подпускал к нему никого из прислуги и ухаживал за ним как нянька.

Борис Сергеевич, действительно, как предсказывал доктор, страдал немного. Он только почти совсем потерял аппетит, почти не спал и с каждым днем чувствовал все большую и большую слабость. Но эта слабость не действовала на его мозг — его мысли были ясны, и он как-то объяснил Степану, уже в начале июня, то есть всего за месяц перед смертью:

— Странное дело, Степушка, ведь мне становится все лучше и лучше!.. Весною что было невыносимо — этот туман в голове... Иной раз, веришь ли, по целым часам не мог собраться с мыслями, расплывается все как-то, ни на чем нельзя остановиться... хочешь думать о чем-нибудь одном, и нет вот, нет сил... Такие дни бывали, что казалось мне — уже я и не жив, да и не умер, то есть что-то такое тяжкое, противное, чего и рассказывать невозможно... А теперь вот с некоторого времени совсем не то: руку поднять тяжело иной

раз, а в голове свежо и ясно, даже так ясно, как, может, и давно не бывало...

— Ну и слава богу! — стараясь вызвать на своем лице улыбку, прошептал Степан.

— Конечно, слава богу, если бы только так до конца продолжалось.

Степан вздрогнул.

— А конец уж теперь скоро, — продолжал Борис Сергеевич, — и я рад... и ты со мною радуйся, Степушка!..

Но Степушка, несмотря на то что понимал мысль барина, все же не мог радоваться. Об одном он всегда просил Бога: не оставить его на свете без Бориса Сергеевича. Но молитва его не услышана...

Между тем больной продолжал:

— И зачем они все меня обманывают, толкуют о выздоровлении, и главное, как будто я боюсь смерти?.. Да она моя жданная, желанная гостья... может, давно уже зову ее, только не приходила.

Борис Сергеевич вдруг замолчал, закрыл глаза, и через несколько минут Степушка даже подумал, что он заснул.

Но он не спал. Ему ясно, подробно и спо-

койно представилась вся жизнь, и он внутренне назвал ее долгим, тяжелым сном. Зачем она была?.. К чему она привела его? Что сделал он с нею?.. Он терпеливо ее вынес — и только... Кому она была нужна?..

Он вообще никогда не задавал себе вопроса, что он за человек, какая ему цена, и теперь готов был решить этот вставший перед ним вопрос в том смысле, что он был человеком совсем неудачным, которому и незачем было жить на свете.

Однако он не в состоянии был сделать себе беспристрастную оценку. Он вовсе не был неудачным человеком, потому что добросовестно исполнил дело своей жизни, никому не сделал зла, а добра сделал много, хотя оно и не кричало, не превозносилось. Вся жизнь его была стремлением к справедливости и правде. Он с юности вел неустанную внутреннюю борьбу и умирал победителем, умирал человеком света и правды...

Через две недели доктора сказали, что теперь уже скоро все кончится. Клавдия Николаевна поспешила известить всех родных.

Борис Сергеевич вдруг потребовал, чтобы

его непременно перевезли в московский дом, объявил, что он желает умереть там, у себя. Желание его было исполнено. К первому июля съехались родные, то есть оба племянника Сергей и Николай, жена Николая, Марья Александровна, и сын их, Гриша, молодой офицер. Владимир приехал еще раньше.

Борис Сергеевич призвал Прыгунова, уже пятнадцать лет занимавшегося его делами, сделал все распоряжения, обо всем и обо всех позаботился и спокойно ждал смерти.

Кто знал этих съехавшихся к постели умиравшего людей пятнадцать лет тому назад, тот должен был найти в них всех огромную перемену. Сергей Владимирович производил теперь даже тягостное впечатление. Ему еще не было и пятидесяти лет, но он имел вид старика. Когда-то густые, чудесные его волосы совсем почти вылезли, а остатки их поседели; тонкий стан согнулся; широкая богатырская фигура как-то опустилась, лицо, изборожденное морщинками, потеряло прежнее добродушное и милое выражение, и уже почти никогда не играла на губах его та улыбка, которая привораживала к нему почти всех и за-

ставляла забывать его слабости. Здоровье его было совсем разбито.

Перемена, происшедшая в Николае Владимировиче, была совсем иного рода, но она, пожалуй, поражала еще больше. Это был теперь какой-то странный человек, производивший самое неожиданное и непонятное впечатление. Прежних порывов, прежних неровностей характера в нем не было и следа.

Вернувшись в Петербург из своего таинственного путешествия по Азии, длившегося несколько лет, он оказался как будто совсем перерожденным. Он поселился вместе с женою и сыном, но отказался от всякой общественной деятельности и почти избегал общества.

Как он жил, как проводил время за закрытыми дверями своего кабинета, он, этот прежний живой, страстный человек, способный, имевший влияние, жаждавший деятельности, этого никто не знал. Какова была его семейная жизнь — тоже не знал никто.

Кончили тем, что даже стали считать его помешанным, хотя при редких столкновениях с обществом он всегда рассуждал очень

спокойно и основательно. Он просто ничем не интересовался из того, чем интересовались окружающие его люди. Он не принимал участия в общей жизни.

Многочисленная прислуга петербургского горбатовского дома знала, что барин сделался очень странным, что он иногда совсем как живой мертвец, так, что даже с ним страшно встречаться, и особенно страшно, когда он взглянет — глаза словно огненные, а так холодно от них становится, что, кажется, бежал бы от такого взгляда.

Удивляли тоже прислугу и отношения между барином и барыней. Они жили на разных половинах, иной раз не видались по целым дням, а между тем никто и никогда не слышал между ними ничего, указывавшего на их недовольство друг другом. Напротив того, оставаясь вместе, они всегда беседовали ласково и относились друг к другу с большой предупредительностью, почти даже с нежностью.

С такой же предупредительностью относился Николай Владимирович и к сыну.

Во всяком случае, это была такая странная

жизнь, что если она не возбуждала всеобщего любопытства, так единственно потому, что люди ко всему привыкают, а привыкнув, не замечают того, что прежде бросалось в глаза.

Что касается до Марьи Александровны, то, по общим отзывам прислуги (а это значит весьма много), она была совсем святая.

— Да, уж нечего сказать, хорошая барыня, — говорилось о ней в людских и кухне, — такую всю жизнь искать — так не найдешь. Никто-то от нее дурного слова не слышал, а добра сколько делает!

— И ведь что удивленья достойно, — замечал старый дворецкий, пользовавшийся всеобщим уважением, — ведь при покойнице, при Катерине Михайловне, совсем она была другая... А это вот с тех самых пор ее и не узнать...

И все отлично понимали, что должно подразумевать под этими словами: «с тех самых пор».

Да, Мари никто бы не узнал теперь. Несмотря на то, что ее молодость уже прошла, она все еще была красивая женщина. Прежней излишней полноты в ней не было

заметно, не было заметно также и в лице ничего тусклого, рассеянного. Лицо ее было просто спокойно, а в светлых глазах неизменно читалось выражение доброты и тихой грусти.

Но, несмотря на это грустное выражение, никому и в голову не могло прийти жалеть ее, в ней не было ничего говорящего о несчастье, напротив, она была всегда бодрa, спокойна и энергична.

Она наполнила свою жизнь сознательной деятельностью, работала неустанно на пользу ближнего и, принимая участие в каком-нибудь благотворительном учреждении, давала ему не только свое имя и денежные средства, а давала свою действительную работу. И теперь в этот тихий, приунывший московский дом она внесла с собою присущую ей атмосферу спокойствия и бодрости.

Михаил Иванович Бородин, тоже приехавший, остановился не в доме, а в гостинице. Теперь в Москве у него уже не было близких людей. За эти годы ему пришлось похоронить их всех. Умерли старики Бородины почти одновременно; умерла, еще прежде них, Капитолина Ивановна. После смерти отца и мате-

ри Михаил Иванович перевез жену и детей в Петербург и прекратил свои поездки в Москву.

И в нем произошла своего рода большая перемена: в его волосах тоже серебрилась седина, на его красивом лбу и вокруг темных, полузакрытых глаз насчитывалось немало морщинок. Но он был крепок и бодр. Глядя на него, невольно всякий должен был сказать: вот человек, стоящий твердо, знающий себе цену и довольный жизнью.

Он стоял твердо. Его лучшая мечта осуществилась... Он в настоящее время занимал видное положение на службе, но еще большее у него было значение в финансовом мире. Михаил Иванович стал теперь силой, перед которой преклонялись многие и с которой приходилось считаться. Все его финансовые предприятия оказывались удачными. Его богатство росло с каждым годом, его уже иначе не называли, как миллионером.

Борис Сергеевич умер в сознании, простясь со всеми, благословив всех, умер как праведник, выражаясь словами осиротевшего и неутешного Степана.

Когда завещание было вскрыто, оказалось, что все свое состояние, заключавшееся в недвижимой собственности, родовых имениях, он поровну оставил двум племянникам, Сергею и Николаю.

Кроме недвижимой собственности, у Бориса Сергеевича был большой капитал, хотя далеко и не такой, как многие думали. Старик, живший всегда сравнительно скромно, тем не менее тратил в эти последние пятнадцать лет огромные деньги. Сергей Владимирович знал кое-что об этом, а еще больше знали его кредиторы. Знал тоже кое-что и Михаил Иванович Бородин, постоянно возраставшее состояние которого имело своим главным основанием и постоянной поддержкой деньги Бориса Сергеевича.

Старик оставил после себя два с половиной миллиона деньгами. Пятьсот тысяч переходили по завещанию не к прямым наследникам, а к разным лицам; в том числе полтораста тысяч рублей получила Клавдия Николаевна, пятьдесят тысяч — Груня, пятьдесят тысяч — Прыгунов, бывший в последние годы самым близким человеком Бориса Сергееви-

ча, тридцать тысяч — Степан.

Всех лиц, о которых вспомнил умиравший, насчитывалось до ста.

Два же миллиона были поровну разделены между детьми Сергея Владимировича.

Тело Бориса Сергеевича, в сопровождении всех родных и Бородина, было перевезено в Горбатовское и похоронено в родовом склепе.

Затем все вернулись в Москву для исполнения необходимых формальностей...

IX. БЫВШИЕ ДРУЗЬЯ

Сентябрь уже перешел за половину, а погода не портилась. Стояли чудесные дни, и только быстро осыпавшиеся листья напоминали о том, что пришла настоящая осень.

Кондрат Кузьмич, несмотря на старость, ни в чем не изменивший свои привычки, посещал аккуратно все церковные службы и почти ежедневно отправлялся на Басманную, где у него, по случаю смерти Бориса Сергеевича, еще было много дела. Таким образом Груня почти целые дни оставалась одна дома.

Уже шестой день как она приехала, а между тем всего один раз вышла прогуляться на

бульвар, да и то скоро вернулась. Ее никуда не тянуло, она не хотела разыскивать своих прежних знакомых и приятельниц, не зная, как ее встретят после стольких лет ее скитальческой жизни.

Она почти все время проводила в садике, в старой беседке, иногда с какой-нибудь книгой из библиотеки Кондрата Кузьмича, а чаще всего так, сложа руки, отдаваясь не то раздумью, не то просто лени. Да, лени; физическая лень ее одолела, всегда энергичную, живую и подвижную. Она будто теперь только почувствовала за все эти годы усталость — и отдыхала.

Нельзя сказать, чтобы она чувствовала себя несчастной, чтобы она особенно грустила. Конечно, ей не было весело, но было спокойно, тихо. Она жила эти дни чисто растительной жизнью, по целым часам могла оставаться неподвижной в старом кресле Кондрата Кузьмича, разглядывая каждый кустик, каждый еще не увядший цветок астр в маленькой клумбочке перед беседкой, прислушиваясь к чириканью воробьев, кудахтанью кур, доносившемуся со двора, к дальнему благове-

сту, следя за движением облаков...

Это было такое затишье, какого она до сих пор никогда не переживала, но затишье перед чем — она об этом не думала или, вернее, боялась думать...

И вот на шестой день пребывания своего в домике Прыгунова сидела она после скромного завтрака, поданного ей Настасьишкой, в беседке, сидела, отогнав от себя подступившую было мысль о том, что надо же наконец очнуться, остановиться на каком-нибудь решении, сделать какие-нибудь необходимые шаги, приняться за дело, для которого она сюда приехала.

Кондрата Кузьмича не было дома, кругом все тихо, даже не слышно кур, даже воробьи не чирикают, — и вдруг шаги, кто-то сходит с балкончика и направляется к беседке.

Груня взглянула, увидела быстро приближавшуюся мужскую фигуру. Она подумала, что это, пожалуй, приехал повидаться с отцом один из сыновей Кондрата Кузьмича, подумала о том, что очень рада, если это Вася, младший, с которым она даже время от времени переписывалась.

Перед нею молодой человек. Она смотрит, но это вовсе не Вася и не Саша. Кто же это? Сердце ее почти перестало биться... Она взгляделась — молодой человек, красивый, с большими голубыми глазами. Он весь в черном, с крепом на руке. Он остановился, его бледные щеки вспыхнули.

— Груня... ты... вы... вы меня не узнаете? — проговорил он.

Она его уже узнала, хотя он был совсем не таким, каким почему-то ей представлялся. Но она не могла не узнать его глаз. Эти глаза остались те же, знакомые, милые глаза, с которыми соединялось все лучшее, хотя и грустное, что было в ее безрадостном детстве...

Это он, он, ее единственный друг, маленький волшебник огромного Знаменского парка, ее рыцарь, герой еще почти неосознанных ею грез, сохраненных ею в себе, несмотря на окружавшую ее так долго житейскую грязь, несмотря на все циничные уроки той злой силы, которую вокруг нее называли практической жизнью, действительностью...

И, узнав его, она не вспыхнула, как он, напротив, последняя краска сбежала со щек ее.

Она хотела улыбнуться ему — и не могла. Ей, приучившейся владеть собой и не смущаться, смело появлявшейся на театральных подмостках, на эстраде перед незнакомой, разглядывавшей ее толпою, теперь стало отчего-то жутко.

— Володя! — воскликнула она, и вдруг голос ее оборвался, будто у нее захватило дыхание... — Чтобы я не узнала вас, Владимир Сергеевич! — поправилась она, робко протягивая ему руку.

— Как я рад, — говорил он, — что вас вижу...

Ему хотелось по-прежнему сказать ей «ты», но он сам с каждой новой секундой все больше и больше изумлялся этой чудной перемене, происшедшей с нею, и изумлялся еще более тому, что все же, несмотря на такую перемену, это она, Груня, «та самая» Груня...

— Наконец-то мы встретились! — невольно произнес он. — Если б я не узнал от Кондрата Кузьмича, что вы здесь, что я вас увижу...

— Так не узнали бы! — dokonчила Груня, наконец найдя в себе силы улыбнуться.

— Еще бы!.. Ведь четырнадцать лет... Мы были дети... А теперь... Я уж и стареть начинаю!..

Ее смущение прошло. Ей стало так весело, тепло, хорошо. Она глядела на Владимира бойко, прямо ему в глаза своими огненными, искрящимися глазами, — и он бессознательно трепетал под этим взглядом.

Затем прошло две-три минуты полного молчания, которого, однако, оба они не заметили. Они вглядывались друг в друга и кончилось тем, что перемена, в них происшедшая, внезапно как-то исчезла. Сквозь эту новую оболочку мужчины и женщины они уже совсем явственно разглядели свои детские образы, нашли свои детские сердца. Исчезли прожитые четырнадцать лет... Крошечный садик Кондрата Кузьмича превратился в Знаменский парк, и им почти казалось, что они снова идут рядом, в зеленой душистой чаще, что они беседуют, как и в былые дни, только тогда их беседа была о будущем, а теперь хотелось говорить о прошедшем, хотелось скорее, как можно скорее рассказать друг другу все, чтобы не было этого промежутка в их жизни

и чтобы скорее можно было продолжить эту жизнь уже не разъединенную, а почти общую, какою она была когда-то.

Прошло не более получаса, а Груня и Володя о многом переговорили. Оказалось, что он знает о Груне гораздо более, чем она предполагала. Оказалось, что и она о нем знает многое. Но их поразило то, что они сами не подозревали такого своего знания.

Груне пришла в голову тревожная, мучительная мысль: а вдруг и он считает ее погибшей? «Певица, актриса... а он хотя и Володя, тот самый Володя, но все же ведь он важный барин... Если даже Прыгуновы почли ее пропащей, так в том обществе, среди которого он живет, как же должны думать и судить, и тем более, что ведь все они почти правы. Но ведь он внук Бориса Сергеевича, а тот смотрел выше, тот понимал, что и в дурной среде можно не загрязниться...»

Однако эта мысль вдруг оборвалась, исчезла. Груня снова не отдавала себе ни в чем отчета, жила настоящей минутой, радостью этой встречи. Она говорила все, что приходило в голову, отрывисто, беспорядочно.

— Но что же это я! — опомнилась она. — Я все говорю о себе, а между тем это неинтересно... и мне так хочется знать что-нибудь о вас от вас самих, Владимир Сергеевич...

— Зачем вы так меня называете, Груня? — не удержавшись воскликнул он.

— Как — так?

— «Владимир Сергеевич». Я бы хотел остаться для вас прежним Володей.

Она качнула головой.

— Как же иначе, — проговорила она, — конечно, я не смею и не должна называть вас Володей. Да если бы и вздумала, — и она улыбнулась, — Кондрат Кузьмич просто согнал бы меня со света!

— В таком случае и я должен называть вас Аграфеной... вот ведь я даже и не знаю, как вас называют.

— И не нужно, для вас я могу быть Груней. Да и по правде сказать, как бы я вас ни называла, а про себя, внутри себя, я все же говорю: Володя...

Лицо ее вдруг осветилось, а из глаз, прямо ему в сердце, блеснули такие лучи, что у него дух захватило...

Х. ПОМЕХА

В это время у беседки появилась Настасьюшка.

— Барышня... Аграфена Васильевна... вас спрашивают! — сказала она.

— Кто? Кто меня спрашивает? — даже вздрогнув от неожиданности, воскликнула Груня.

— А я почему знаю кто? — ворчливо отозвалась не вовремя оторванная от плиты Настасьюшка. — Господин какой-то... Вам, видно, лучше знать — кто... Вот он билетик мне дал: тут, говорит, сказано...

Она протянула Груне визитную карточку.

Та взглянула и сделала нетерпеливое движение.

— Ах, да скажи ему, что я больна, что я не могу принять его... скажи, пожалуйста...

— Да, много скажешь! Видно, прыток он... вон уж стоит на крылечке и видит, что вы на ногах, да и с кавалером!

На крылечке действительно возвышалась неуклюжая, расфранченная фигура Барбасова.

— Господи, вот нахал! — прошептала Груня.

Владимир взгляделся и с изумлением воскликнул:

— Барбасов!

— А! Кто зовет меня? — радостно отозвался смелый адвокат, спрыгнул с крылечка и в несколько шагов своих длинных ног был перед беседкой.

Он остановился, даже не обратил внимания на присутствие Груни, развел руками, потом как-то откинулся в сторону и, закатившись смехом, произнес:

— Горбатов... дружище!.. «вьюнош прекрасный!..» Да нет, быть того не может... не верю глазам своим!

Он схватил руку Владимира, крепко ее стиснул, а затем обратился к Груне, сложил на груди руки крестом и стал в умиленную позу.

— Аграфена Васильевна!..

Но он не мог выдержать.

— Нет... да как же он тут? Ничего не понимаю... объясните!..

Мало-помалу кое-что объяснилось. Барба-

сов узнал, что Аграфена Васильевна, и «прекрасный вьюнош» знакомы друг с другом с детства, что Аграфена Васильевна — воспитанница только что умершего Бориса Сергеевича Горбатова. Большого ему не сказали.

Груня, в свою очередь, узнала, что хотя Барбасов и старше Владимира, но они были товарищами в известном тогда московском пансионе Тиммермана, а затем и в университете.

Барбасов тотчас же заметил не без грусти, а пуще того не без зависти, что он совсем лишний здесь, в этой старенькой беседке, почувствовал, что вот-вот сейчас Аграфена Васильевна его «отделает» и что придется ему удалиться на этот раз в качестве побежденного. Он даже мгновенно упал духом, чего вообще с ним почти никогда не случалось.

Но Барбасов, как он сам выражался, был вот уже шестой год на линии всяких успехов и удач. Удача не покинула его и в эту минуту, она явилась в лице Кондрата Кузьмича, который предстал перед беседкой в длиннополом табачного цвета пальто, мягкой шляпе с широкими полями, с клетчатым платком и таба-

керкой в руках.

Он любезно, даже не без некоторой почти-тельности поздоровался с Владимиром, а затем изумленно и подозрительно взглянул на Барбасова и пробурчал:

— С кем имею честь...

Владимир представил Барбасова.

Кондрат Кузьмич церемонно с ним раскланялся. Барбасов, лицо которого представляло теперь олицетворение любопытства, ответил ему таким же поклоном.

— Так-с! — вдруг протянул Кондрат Кузьмич, кладя шляпу на столик и усаживаясь в кресло. — Так-с!.. А позвольте вас спросить: вы не присяжный поверенный?

— Точно так, я присяжный поверенный, — отвечал Барбасов, смотря на старика точь-в-точь как тот смотрел на него и говоря ему в тон.

Он, очевидно, передразнивал его, но до такой степени серьезно, что к нему никак нельзя было придраться, и притом это выходило у него очень смешно.

Владимир и Груня невольно переглянулись, удерживая улыбку.

— Так это, значит, вы, милостивый государь, были защитником в Медведевском деле? — уже совсем строгим, почти инквизиторским тоном сказал Прыгунов.

— Да-с, я был защитником в Медведевском деле.

— О вашей защите прокричали даже в газетах, вы себе ею имя сделали, деньги, говорят, огромные, совсем как будто даже и невероятные получили. А ведь дело-то, милостивый государь, скверное! Ведь вы ваше ораторское дарование употребили на защиту величайшего негодяя-с, послужив к его оправданию перед судом, выпустив его на свободу, и тем самым дали ему возможность творить и в будущем всякие несправедливости...

— Все, что вы изволили сказать, совершенно верно! — спокойно и серьезно проговорил Барбасов.

Кондрат Кузьмич даже заерзал в кресле, лицо его побагровело.

— Так разве-с это хорошо? — крикнул он.

— Это безразлично, — не спуская с него глаз и с невозмутимым спокойствием сказал Барбасов. — Полагаю, что вам неизвестны

обязанности и назначение присяжных поверенных. Раз я беру на себя защиту, я должен употребить все усилия, все от меня зависящее, чтобы исполнить свою обязанность, то есть защитить моего клиента...

— Будучи даже убежденным в его виновности? — вставил старик.

— Даже в таком случае! Ибо если б я поступил иначе, то перешел бы из роли защитника в роль обвинителя, то есть совершил бы нелепость, даже притом еще и противозаконную, логическим следствием которой оказалось бы для меня исключение из среды присяжных поверенных.

— Господи, — крикнул Прыгунов, — да ведь это полнейшее извращение всех нравственных понятий!..

— Изволите обижать понапрасну, милостивый государь! — протянул Барбасов. — Ничуть не извращение никаких понятий, это может только с первого раза казаться...

— Защищать и оправдывать заведомого мошенника, да ведь прежде всего эта защита не обязательна, она добровольно была взята на себя вами.

— Мне нечего было бы возразить вам, если бы я брал на себя оправдание; но не следует смешивать защиту с оправданием. Защищать можно кого угодно... Даже вот в этом самом Медведевском деле, если бы я был не присяжным поверенным, а присяжным заседателем, я бы не оправдал моего клиента — вольно же было присяжным его оправдать!..

Кондрат Кузьмич махнул рукою.

— Э, да что об этом! — проговорил он уже не свирепым, а скорее грустным голосом. — И прошу извинить меня, что начал сразу такой разговор... не удержался... Это Медведевское дело мне душу перевернуло. Я-с, вот видите, тоже, так сказать, вашего поля ягода — стряпчий... только старых времен-с... Теперь на нас, стариков, все обрушилось, нет такого ругательства, каким бы в нас не бросали. И правду надо сказать, много противозаконного, темного творилось в наше время, но ей-ей, такое дело, как это — нет, это было бы невозможно!

— Будто уж?! — с величайшим ехидством прошептал Барбасов, да тут же и оборвался, сообразив, что ему не следует раздражать это-

го строгого старика.

«Ведь это и есть тот самый „аргус“, про которого она говорила!» — вспомнилось ему.

Он вдруг переменил тон и завел с Кондратом Кузьмичом совсем иную беседу и кончил-таки тем, что старик глядел на него уже без строгости и во многом ему поддакивал.

Таким образом, они просидели еще около часу в беседке, а затем молодые люди простились и с Прыгуновым, и с Груней. В крепком рукопожатии, которым обменялись Володя и Груня, они сказали друг другу, что увидятся скоро. Барбасов приглашения вернуться не получил, но он и не ждал его, хотя и знал наверное, что опять сюда вернется.

В переулочке, у домика Кондрата Кузьмича, стояли две коляски, из которых одна так и блестела новизною. Серые в яблоках кони гордо выгибали головы. Кучер, чернобородый татарин, важно и нахально поглядывал с козел. Другая коляска, запряженная парой спокойных вороных лошадей, оказалась гораздо проще. Кучером был старик, глядевший вовсе не важно и не нахально, а, напротив, как-то даже уныло. На дверцах коляски этой можно

было разглядеть потускневшие очертания герба Горбатовых.

— Дружище, — сказал Барбасов, обращаясь к Владимиру, — ты куда теперь?

— Домой, — ответил тот.

— Послушай, ведь мы бог знает сколько времени не встречались с тобою, проедемся вместе, потолкуем, мне, кстати, нужно и быть на Басманной.

Барбасов крикнул своему татарину, чтобы тот ехал домой, уселся с Владимиром в его коляску, и они поехали.

XI. ВЕСЕЛЫЙ МЕФИСТОФЕЛЬ

Нельзя сказать, чтобы Владимир был очень доволен возвращаться домой в обществе Барбасова. Ему, конечно, гораздо приятнее было бы ехать одному, чтобы немного отдохнуть и привести себя в порядок после этого свидания с Груней, оставившей в нем сильное и нежданное впечатление.

Но если бы Барбасов и не был так решителен и нахален, все же Владимир нашел бы удобным отстранить его от себя. Он против него ничего не имел, и Барбасов даже в неко-

тором роде почти интересовал его, может быть, вследствие того, что они были совсем разные люди. Дружбы между ними, конечно, не существовало никакой, да не было и настоящих товарищеских отношений, так как Барбасов был гораздо старше Владимира.

Но этот человек все же сыграл роль в жизни Владимира. Он в пансионе Тиммермана отравил своим цинизмом его детскую чистоту, он целые полтора года, так сказать, питался на его счет, зато и был всегда его защитником, охранял его в первое время от кулаков товарищей. Он так напугал его одноклассников своим заступничеством, своею известной всему пансиону силой, что многие из самых свирепых мальчишек уже не смели трогать маленького Горбатова.

Затем Барбасов окончил курс в пансионе, поступил в университет, и Владимир потерял его из виду.

Потом они встретились в университете — Владимир был на первом курсе, Барбасов — на четвертом. Но они все же сходились довольно часто. Затем, окончив курс и уже вступив на адвокатское поприще, Барбасов не

гнушался студентами и часто принимал участие в их пирушках. На этих пирушках его любили. Его комичная наружность, вечная веселость, грохотание, цинизм — все это было у места, особенно, когда в молодых головах начинало немного мутиться.

К Владимиру Барбасов относился, по-видимому, с особенной симпатией и даже как-то бережно. «Прекрасный вьюнош» — он иначе не называл его — продолжал представляться ему чем-то хрупким и нежным, хотя от маленького Володи, которого он защищал когда-то, почти не осталось теперь и следа.

В последнее время Владимир с Барбасовым совсем не встречались. Жизнь их разделила. Горбатов уехал на службу в Петербург и в Москву приезжал всегда на самый короткий срок.

Несмотря на старые товарищеские отношения с Владимиром, Барбасов не был ни разу в доме у Горбатовых, и Владимир никогда не приглашал его, точно так же, как и многих из своих товарищей. Это сделалось как-то само собою. В университете, во время пирушек, это был тесный товарищеский кружок; но

вне университета, вне пирушек являлось различие общественного положения. Каждый оставался в своем кругу.

Прятели ехали некоторое время молча. Барбасов вытянул во всю длину свои ноги, с трудом натянул перчатки на влажные руки, причем оторвал пуговицу и выругался, а затем принялся тихонько посвистывать, самодовольно поглядывая по сторонам и неизвестно чему ухмыляясь.

Владимир глядел задумчиво. Но вот глаза его блеснули, и он обратился к своему спутнику:

— Скажи мне, пожалуйста, где и как ты познакомился с Аграфеной Васильевной?

Барбасов с удовольствием пустился в объяснения: описывая успех Груни, он пришел даже в азарт и так шлепал губами, так брызгал, что Владимир то и дело от него тихонько отстранялся, даже вынул платок и несколько раз вытер себе щеку.

— Это такая прелесть... такая прелесть!.. — кипел Барбасов. — Я просто глазам своим не верил... И, понимаешь ли, она — и в провинции!.. Ее сюда скорей, в Малый театр, Федото-

ва сразу же пропадет от зависти... А музыкантша какая! И ведь это пустяки, что она говорит, что голос у нее пропал... Горло теперь совсем здорово... Ей в оперу, в итальянскую оперу опять... Ведь она знаменитость... Фиорини... Я узнал только, когда уже ехали мы вместе на пароходе...

— А ты слышал ее пение? — спросил Владимир.

— Нет, она ни за что не поет, да и вообще ведь она такая строгая...

Он усмехнулся.

— К ней не подступишься! — прибавил он, искоса взглянув на Владимира.

— То есть как это — строгая?

— А так... ни боже мой!.. Даже невероятно — такие странности! Да вот и теперь, как это она — и в таком домишке! На попечении у этой поросшей мхом развалины древнерусского судопроизводства... Разве вот ты... что ли...

— Ты, пожалуйста, Барбасов, не говори вздору... Неужели ты не можешь видеть красивую женщину без циничного к ней отношения?..

— Прежде никак не мог, теперь иногда могу; видно, годы уже не те!.. И к Аграфене Васильевне я отношусь вовсе не цинично. Я, прекрасный мой вьюнош, поклоняюсь ее красоте, ее талантам — и только... Но согласись сам, не могу же я глядеть на нее, как на весталку... Она вон изъездила всю Европу, всю Россию, с кем с кем ни сталкивалась, чего-чего ни привелось ей видеть. Да и не ребенок, ведь... ведь ей сколько? Чай, уж не со вчерашнего дня за двадцать?..

— Двадцать шесть лет, — задумчиво проговорил Владимир.

— Вот видишь! Так надо полагать, что были всякие бури. Без этого, друг мой, нельзя, без этого не прожить женщине, а тем паче артистке...

Владимир даже покраснел, но ничего не ответил. Ему стало так противно. И вдруг Груня, эта самая Груня, которую он сейчас почти видел прежней невинной девочкой-ребенком, явилась перед ним уже совсем иною. Эта мысль о годах ее тревожной артистической жизни только сейчас представилась ему в новой окраске... Сам он давно уж не был наив-

ным юношей и не мог не видеть в словах Барбасова значительной доли правдоподобия.

А тот между тем вдруг громко вздохнул и присвистнул:

— Плохо мое дело! — сказал он.

— Что такое?

— А все насчет той же Аграфены Васильевны. Ведь я тебя ненавидеть должен — пойми ты!.. Но только нет — зачем же? Каждому свое... А, право, счастливец ты, Владимир Сергеевич! Такая женщина, да ведь это что ж такое? Ведь это благодать!.. Самый что ни на есть счастливец! Много ли таких встретишь в жизни?

Владимир рассердился не на шутку.

— Послушай, Барбасов, всему есть предел; мы, кажется, давно не школьники, и такое школьничество не у места. Я знал ее ребенком, теперь увидел ее в первый раз, у нас общие воспоминания детства. Я здесь в Москве временно, наша встреча случайная, и уж, конечно, ухаживать за нею я не имею намерений, а потому пожалуйста, прекратим разговор этот.

Барбасов вдруг сделался серьезным и про-

говорил:

— Только позволь мне сказать одно: что наша встреча случайная — это верно, что у тебя нет относительно ее никаких мыслей — это тоже вероятно, и прости меня, если в моих словах что-нибудь тебе не понравилось, но чтобы, раз встретясь, вы так разошлись — извини, этого не может быть! Не такая она женщина, и не то говорили глаза ее сегодня... Молчу!.. Молчу!.. — прибавил он, видя, что сильно раздражает Владимира.

Он переменял разговор, стал передавать всякие московские сплетни, расспрашивая Владимира об его петербургской службе. Владимир отвечал не особенно охотно, но все же отвечал.

— Так, так, — говорил Барбасов, — вижу я, вижу, что тебя плохо там вымуштровали!.. Не сумел ты в настоящую колею попасть, в бюрократическую... дилетантством отзывается... А ведь это, сударь, нехорошо, с этим ты далеко не уйдешь... Эх, вот бы меня на твое место! Зашагал бы я быстро, где ползком, где шажком, а где вприскок... Но каждому свое: я своим делом, нельзя сказать, чтобы очень был недо-

волен...

Он распространился о своих успехах, о том, какие неслыханные деньги получил за последние годы. Владимир слушал его рассеянно.

Таким образом они доехали до Басманной, а затем до самого Горбатовского дома. Владимир вопросительно взглянул на Барбасова. Тот встрепенулся.

— Ах, это ваш дом! — сказал он. — Не позволишь ли мне заехать... у меня еще целый час свободный... Я, видишь ли, уже давно имею удовольствие быть представленным твоим сестрам и твоей почтенной тетушке... Как же, как же! Не одну кадриль протанцевал и с Софьей Сергеевной, и с Марьей Сергеевной. До сих пор ведь я танцую... или, вернее, вновь начал... как нас там учили у Тиммермана — уже позабыл, так, веришь ли, в прошлом году брал уроки мазурки, целых двадцать уроков... ни одного бала и раута у генерал-губернатора не пропускаю... вообще снова к юности вернулся... Что делать... иногда это бесполезно... даже очень... и в нашей профессии...

Коляска остановилась у широкого подъезда. Барбасов хотел было соскочить по всем правилам недавно изученной им мазурки, но споткнулся и даже зашиб себе ногу о каменную ступень. Однако он этим не смутился и, приняв важный и степенный вид, последовал за Владимиром.

— Так что же, любезный друг, — сказал он, — *puis-je me présenter sous tes auspices?* [6]

«Вот нахал!» — невольно подумал Владимир и спросил у швейцара: принимают ли Клавдия Николаевна и барышни. Барбасов с видимым удовольствием услышал утвердительный ответ и стал осматриваться.

— Д-да! Домик! — протянул он.

Они поднялись по лестнице, прошли несколько огромных комнат, дышавших той роскошью старины, которую не купить ни за какие деньги, и очутились в небольшой гостиной, где у окна, в кресле, вся в черном, съжившаяся, прозрачная и унылая, сидела с книгой в руке Клавдия Николаевна.

Барбасов подобрался, потом вытянулся и вдруг сообразил, что его чересчур яркий костюм совсем не у места в этом траурном доме

и непригоден для первого визита. Он готов даже был ретироваться, но оказалось поздно: Клавдия Николаевна оторвалась от книги, подняла свои темные глаза.

— *C'est toi, mon ami!* [7] — произнесла она. — *D'où viens-tu?* [8] — и, вдруг заметив фигуру Барбасова, с недоумением и изумлением на него прищурилась.

— Это мой старый товарищ, Барбасов, — сказал Владимир, — вы ведь уж с ним знакомы...

Но она решительно никакого Барбасова не помнила.

Она склонила голову в ответ на почтительный поклон гостя, слабым движением руки указала ему на стул и скорее вздохнула, чем проговорила:

— Очень рада вас видеть...

XII. ЗАЧЕМ ОН ЗДЕСЬ?

На пороге появилась стройная и грациозная фигура Софьи Сергеевны.

Да, теперь уж это была не Соня, не даже Софи, а Софья Сергеевна. Каждый, взглянув на нее, непременно должен был признать ее красивой, хотя сухая холодная красота ее миниатюрного и тонкого лица много потеряла вместе со свежестью и оживлением первой юности. Эти, по-видимому, спокойные, мирные годы прошли далеко не бесследно.

Софье Сергеевне было теперь двадцать шесть лет. В иные дни, особенно при вечернем освещении, она казалась моложе. Среди оживления бала или в гостиной, со своим тоненьким голоском, с капризными иногда, но во всяком случае до тонкости изученными движениями и манерами, она продолжала производить впечатление воздушной ingénue [9].

Но дома, на свободе, без прикрас и эффектов обдуманного туалета, в строгом траурном платье она теперь появилась такую, какою была на самом деле, то есть слишком даже ра-

но поблекшей девушкой. Ее несколько лет тому назад ослепительный цвет лица принял теперь желтоватый оттенок, щеки были бледны, на лбу и вокруг глаз уже образовались тоненькие нити морщинок, делавшиеся совсем заметными, когда она оживленно говорила или смеялась. Поэтому она, изучившая свое лицо до мельчайших подробностей и давно уже приходящая в ужас от этих морщинок, всеми силами старалась не смеяться и не оживляться, одним словом, ни при каких обстоятельствах не забывать о своем лице. Она уже робко и осторожно, под величайшим секретом от всех, стала даже прибегать к некоторым косметикам, и каким-то *lait de beauté* [10], от которых тщетно ждала помощи.

Уходящая, и так бессовестно рано, так предательски быстро, молодость — это было теперь несчастье ее жизни. Несчастье для нее настоящее, доставлявшее ей много, никому не ведомых страданий. Да, она считала себя глубоко несчастной, жестоко обиженной судьбою и людьми, не умевшими понять и оценить ее. Она искренне чувствовала, что общество страшно виновато перед нею, что

она загубила себя в низменной среде.

Прежде всего, конечно, виноваты были родные, начиная с отца, которого, — она даже и не скрывала это, — она и презирала и почти ненавидела. Виноват был и покойный дедушка, и Клавдия Николаевна, и все, все без исключения. Между тем, если бы спросить ее, в чем именно заключалась их вина, она, конечно, не могла бы ответить.

По семейным обстоятельствам она большее время своей жизни прожила в Москве, но каждое лето уезжала за границу. Две зимы она провеселилась в Петербурге, где для нее строгая отшельница, Марья Александровна Горбатова, даже изменила своим привычкам и сделала все, чтобы доставить удовольствие племяннице. Она отдалась в ее распоряжение и вывозила ее всюду.

У Софьи Сергеевны была одна заветная мечта — и мечта эта осуществилась — ее пожаловали фрейлиной к государыне. Она появлялась на всех придворных балах и собраниях. Но опять-таки это ни к чему не привело. На третью зиму она уже не поехала в Петербург, чувствуя себя почему-то и там оскорб-

ленной всеми. И она почла бы клеветником того человека, который сказал бы ей, что сама она виновата в своей неудаче. Она держала себя так гордо и в то же время, при всяком удобном и неудобном даже случае, так злословила, так чванилась, что все те, кто сначала заинтересовался было ею, скоро от нее совсем отстали.

У нее явились определенные честолюбивые планы — она наметила единственного человека, которого почла достойным и себе равным. Приняв за основание несколько любезных фраз, ей сказанных, она создала себе самые несбыточные надежды. Она сделала хуже — дала кое-что заметить и понять этому человеку. Он с изумлением отошел и даже стал, видимо, избегать ее.

Она была уверена, что никто ничего не знает, а между тем у нее уже были враги, то есть люди, возмущенные ее чванством и злым языком. Эти враги пустили сплетню и, в свою очередь жестоко посмеялись над нею. Поэтому-то она и не вернулась в Петербург на третью зиму.

Конечно, она не любила этого, так неудач-

но намеченного ею человека; конечно, он ровно ни в чем — ни словом, ни помышлением не был виноват перед нею, но она вообразила, что он дурно с нею поступил, вообразила, что сердце ее разбито, и с этого времени в ней стало развиваться окончательно недовольство жизнью. Характер ее, никогда не бывший приятным, с каждым днем делался теперь невыносимее. Она придиралась ко всему и ко всем, ее ничем нельзя было удовлетворить, и бедная Клавдия Николаевна испивала иногда горькую чашу.

Наконец Софья Сергеевна, убедясь, что прошлого не вернешь, что продолжать думать о том единственном равном ей человеке нечего, решила, что ведь не может же она остаться так, что уж если судьба не дала ей возможности как следует устроиться, то все же должна она выйти замуж. Она готова была теперь принять обыденную долю; если бы теперь тот первый единственный ее жених или кто-нибудь в этом роде ей представился, она вышла бы замуж без всяких рассуждений. Она даже вдруг стала снисходить, обращала свое благосклонное внимание то на од-

ного, то на другого.

Но все ее старания пропадали даром: никто не делал ей предложения и, мало того, с ужасом она замечала, что к ней относятся уже не так, как относились прежде, как вообще относятся к молодым девушкам, — к ней относились с большим почтением, и это почтение доводило ее до отчаянья.

А время шло, и проклятые морщинки, несмотря ни на какие «lait de beauté», обрисовывались заметнее и заметнее. У нее задавались теперь целые дни, целые недели глубокой тоски, тем более невыносимой, что не с кем было ею поделиться. Софья Сергеевна скорее бы умерла, чем призналась кому-либо в своих муках...

Теперь она вышла в гостиную бледная и скучающая, с изумлением взглянула на Барбасова, ответила на его почтительный поклон пренебрежительным кивком головы, остановилась было, но затем прошла через гостиную и скрылась.

Владимир вышел за нею и остановил ее.

— Соня, ты куда? — сказал он. — Посиди немного в гостиной, помоги тете, а то у нее се-

годня такой вид, что глядеть страшно.

— Это еще что за явление? — вместо ответа проговорила Софья Сергеевна.

— Барбасов? Да ведь ты его знаешь.

— Кажется, знаю, как приходится знать бог знает кого... Но зачем он у нас, этот пестрый и неприличный урод?

— Он мой старый товарищ.

— Мало ли какие у тебя могут быть старые товарищи, но ведь есть же всему предел, и я вовсе не желаю, чтобы наша гостиная превратилась в трактир...

— Однако... раз уж он здесь... ведь ты хозяйка...

— Нет, уволь, уволь меня — некогда!

И она пошла дальше.

Владимир вернулся в гостиную и с удовольствием увидел, что вторая сестра его, Марья Сергеевна, сидит почти рядом с Барбасовым и спокойно с ним беседует.

Теперь более чем когда-либо бросалась в глаза разница между двумя сестрами. Марье Сергеевне шел двадцать четвертый год. Но она, в семнадцать лет казавшаяся старше своего возраста, очень мало с тех пор измени-

лась, только развилась окончательно, окрепла, совершенно избавилась от своей юной неуверенности, одним словом, очень много выиграла. Ее высокая полная фигура выражала силу и бодрость, румяное лицо дышало здоровьем, ни о каких морщинках не было и помину. Она еще не задумывалась о том, что время уходит. И если бы спросить ее, что думает она о замужестве, она бы прямо ответила, что давно уже находит, что пора ей замуж и что, вероятно, в конце концов и выйдет.

В ее жизни, в первое время ее выездов, был у нее какой-то период колебаний, неясных и неразрешенных вопросов, но этот период давно прошел. Она была довольна жизнью, считала себя почти счастливой. Теперь она никому не казалась загадкой, все ее странности исчезли. Ее организм как бы выдержал какую-то борьбу, быть может, с зародышем какой-нибудь серьезной болезни. Он, может быть, победоносно выбросил из себя находившуюся в нем частицу того самого яда, который превратил ее младшего брата в «дурачка Кокушку».

Каждое новое лето, проведенное ею в путе-

шествиях, на водах, укрепляло ее больше и больше. С каждым новым годом она чувствовала себя бодрее и здоровее, и это здоровье, конечно, отражалось на всем ее мирозерцании. Она никогда не питала в себе неисполнимых планов, не мечтала о невозможном, довольствовалась окружающим. Она очень любила Москву, любила с детства установившийся строй их жизни, любила повеселиться и, если изредка на нее находило нечто подобное прежней апатии, то, в сущности, это было не что иное, как потребность необходимой и полезной перемены, и перемену эту она находила дома, у себя, в физическом отдыхе, в чтении.

С каждым годом она все чаще и чаще начинала жить умственным интересом, следила за общественным движением, всматривалась в то, что делается вне ее обычного круга. Только у нее не было руководителя, она шла одна, ощупью, и немудрено, что иногда сбивалась с дороги...

Войдя теперь в гостиную и заметя Барбасова, она не обратила внимания на его пестрый костюм; напротив, даже очень просто и ис-

кренно сказала ему, что рада его видеть, и тотчас же заговорила с ним о последнем выигранном им процессе, который интересовал ее.

Барбасов был на седьмом небе. Он уже стал было чувствовать себя, несмотря на весь свой апломб, не в своей тарелке. Он решительно не знал, как приступить к такому хрупкому, едва-едва держащемуся созданию, как Клавдия Николаевна. Строгое промелькнувшее виденье Софьи Сергеевны окончательно подрезало ему крылья. А тут вдруг очутилась эта любезная и красивая девушка, ласково на него взглянула, начала говорить с ним о предмете ему близком, и он мгновенно расцвел, глазки его под очками блестели, лицо сияло.

Он заговорил с жаром, с увлечением, хотя все же старался поменьше жестикулировать и поменьше плевать. Войдя в азарт, он всегда говорил хорошо, даже остроумно. Марья Сергеевна несколько раз весело и одобрительно улыбнулась, и кончилось тем, что некрасивое, комичное лицо ее собеседника перестало смущать ее, показалось ей оригиналь-

НЫМ И СИМПАТИЧНЫМ.

В соседней комнате послышались громкие шаги, и в гостиную, запыхавшись, весь красный, вбежал Кокушка. Бесцветные глаза его были вытаращены. Он находился в сильном возбуждении, никого не замечая, подбежал к Клавдии Николаевне и пронзительным голосом, захлебываясь, заикаясь и шепелявя, стал кричать:

— Тетя, да... да что же это такое? Я не могу этого больше терпеть... Я ее не трогаю, я к ней даже никогда не вхожу, я... за... чем же она рашпоряжается в моей комнате? Меня не было... Она пришла, штацила мои крашки... ишкал... ишкал — нигде не мог найти... Ка... как она шмееет брать мои вещи!.. Где мои крашки?..

Клавдия Николаевна с отчаянием зажала себе уши.

— Господи! Николай, да успокойся, что такое? Ведь я ничего понять не могу! Кто такой? Какие краски? Кто у тебя?

— Кто? Известно кто... все Софьюшка... фрейлина наша... принцеша...

Клавдия Николаевна безнадежно закрыла

Глаза.

Между тем Кокушка обернулся и увидел Барбасова. Мгновенно все раздражение, весь его гнев пропали; он спокойно подошел к гостю, протянул ему руку и с улыбкой проговорил:

— А ждравствуй, адвокат, ждравствуй... Как поживаешь... кого обираешь?

Кокушка со всеми мужчинами, с которыми встречался несколько раз, был на «ты». Барбасова он знал уже давно, а с тех пор как имя его стало часто повторяться в газетах, он называл его своим приятелем. Он чувствовал склонность ко всем знаменитостям.

— Кого же я обираю? — улыбаясь, сказал Барбасов.

— На... на то ты и адвокат, чтобы обирать! Вон у Гриневых-то... говорили, что такого мошенника, как ты, еще никогда не было.

Барбасов, несмотря на все свое самообладание, невольно смутился. Марья Сергеевна решительно не знала, куда ей деваться.

Но вдруг Кокушка сразу оборвался, глаза его снова вытаращились, лицо покраснело, и он кинулся к двери, заметив входившую Со-

фью Сергеевну.

— Куда ты девала мои крашки? — закричал он.

— Что такое? Объясни, пожалуйста, Софи, какие краски? — выговорила через силу Клавдия Николаевна.

Софья Сергеевна с презрением взглянула на брата и, обратясь к старушке, сказала:

— Я случайно зашла к нему — и что ж бы вы думали? Он взял из большой гостиной самый лучший кипсек и вздумал его раскрашивать! Уже девять прелестных гравюр совсем испортил... Я и унесла его краски... Ведь это невозможно!.. *Il finira par gâter tout!*.. [11]

— Где мои крашки? — взвизгнул Кокушка. — Как испортил?! Я отлично... от... от... лично раскрашивал!.. Покажи — все скажут... А ра-а-ашкрашивать картинки ты мне не можешь запретить! И отнимать крашки не смеешь!.. Я... я... ведь не запрещаю тебе раскрашивать лицо... фре-е-ейлина!..

Софья Сергеевна позеленела, хотела сказать что-то и — не могла. Наконец она собралась с силами, сообразила, что единственное спасенье — заставить Кокушку уйти.

— Твои краски в диванной, в столе, — дрожащим от злобы голосом сказала она.

Кокушка мгновенно выскочил из гостиной.

Барбасов понял, что лучше всего теперь удалиться, и стал раскланиваться.

ХIII. АДВОКАТ

Барбасов медленно прошел огромным двором, вышел в ворота, а затем остановился и несколько мгновений пристально глядел на неподвижных, строгих львов, уже более столетия стороживших вход в старинное барское жилище. По его лицу скользило что-то неуловимое, что-то очень серьезное, совсем не шедшее к постоянному характеру этой самоуверенной и комичной физиономии.

Перед ним мелькнуло и исчезло далекое-далекое воспоминание. Да, это были эти самые львы! Они когда-то поражали его, маленького ребенка, привезенного в Москву старушкой-барыней, которая после смерти его отца, бедного сельского дьякона, взяла его на воспитание и решила вывести в люди.

«Тогда — и теперь!» — подумал он еще раз,

пристально взглянув на львов, и все лицо его засветилось самодовольством. Он потрянул головою, осмотрелся и пошел по Басманной.

Свободный час, о котором он говорил Владимиру, давно уже прошел, но дело в том, что он все выдумал. Никто его не ждал на Басманной, никуда ему не нужно было спешить. Он взглянул на часы, кликнул проезжего извозчика и отправился в московский Гуринский трактир обедать. Он любил хорошо поесть, и до сих пор желудок его, хотя все же не без помощи некоторых вспомогательных средств, позволял ему это.

Войдя в огромную залу, заставленную, как стойлами, рядами диванчиков, придвинутых спинками друг к другу, он начал оглядываться, ища свободного места. Народу уже было много. Мигом подлетел к нему красавец-половой с удивительно черной бородой, в белоснежной русской рубашке, с салфеткой на плече и, приятно осклабяясь, проговорил скороговоркой:

— Алексей Иванович, сюда-с, сюда-с, пожалуйста, вот свободно местечко... я и прислуживать вам буду...

Барбасов протиснулся кое-как между диваном и столиком и не успел еще снять перчатки, как половой уже ставил перед ним графинчики с разными водками и закуску.

— Что прикажете-с к обеду?.. У нас нынче рыбка... такая! Утром только получили с Волги, живехонькая!.. Может, уху стерляжью или так стерлядочку а-ля-рюс желательно?..

Барбасов подумал немного и стал заказывать себе основательный обед. Половой слушал его с усиленным вниманием и большим почтением, склонив голову, сморщив брови и даже полузакрыв глаза.

— Вот и все! — наконец сказал Барбасов.

Половой встряхнул черными, уже редющими и в изобилии напوماженными волосами.

— Слушаю-с, будьте покойны, все в самом лучшем виде... Повару ваш вкус известен довольноно.

И он исчез.

Барбасов принялся за водку и закуску; но едва он успел налить себе рюмочку прозрачной, как слеза, очищенной, к нему подошел с протянутой рукой черноватый и франтовый

Господин.

— Алексею Ивановичу низжайшее почтение! — не без умиления произнес он, показывая белые зубы и щуря масляные глазки.

— Здравствуйте, Шельман! — отозвался Барбасов несколько покровительственным тоном.

— Что это вас давно не видать, Алексей Иванович?.. В суде то и дело о вас спрашивают...

— А что же мне там торчать по-пустому?

— Да, оно, конечно, — вздохнул Шельман, — после такого дельца, какое вы завершить изволили, можно и поотдохнуть... А вот мы, бедные, с раннего утра мечемся...

— Ну, уж и бедные! — усмехнулся Барбасов. — И уж особенно вы-то!

— Эх, да что я! Много дел, много, да не дела, а делишки. За последние полгода самое выгодное дело было в десять тысяч. Да что об этом... А вот вы, извольте полюбопытствовать...

Он наклонился к самому уху Барбасова и стал шептать ему:

— Видите, направо... это я, вам скажу,

птичка... в черной шляпе с алыми розами... Она здесь со мною... обедаем... И вы думаете, кто это? Представьте — клиентка! Эмансипированная особа и со средствами.

— Значит, вы в двойной роли — ну, и прекрасно... спешите же к ней, а то я, чего доброго, отобью ее у вас.

— Закреплено формальнейшим образом! — самодовольно ответил Шельман, но тотчас же отошел от Барбасова и вернулся к своей даме.

Барбасов выпил рюмку, закусил, а тут опять:

— Здравствуйте, Алексей Иванович!

К нему то и дело подходили разные господа всякого возраста и вида. Но на этот раз он был не словоохотлив и даже, по-видимому, тяготился такой своей популярностью в этом храме московского кулинарного искусства.

Наконец его оставили в покое, и он с удовольствием принялся за обед под шум толпы, под звуки не смолкавшего оркестриона.

Окончив обед, он почувствовал, что слишком много съел и, главное, слишком много выпил, а потому поспешил на свежий воздух.

На подъезде к нему со всех сторон кинулись извозчики, он махнул рукою, вскочил в первую попавшуюся пролетку и крикнул:

— На Сивцев Вражек!

— Знаем-с, сударь! — ответил франтоватый извозчик-лихач, дернул вожжами, и застоявшаяся молодая лошадка помчала Барбасова по изрытой мостовой мимо Александровского сада.

Барбасов, весь лоснившийся, с покрасневшим носом и несколько осоловевшими глазами, мутно глядевшими из-за золотых очков, усиленно полоскал себе рот дымом сигары, отдувался время от времени и приятно ухмылялся чему-то. В голове у него немного шумело. С детства знакомые улицы с рядами то больших, то маленьких домов как-то сливались и будто бежали назад.

Наконец пролетка остановилась у небольшого хорошенького дома-особняка. Барбасов совсем очнулся, вылез из экипажа, дернул звонок, потом вынул из портфеля пятирублевую бумажку и дал ее извозчику. Тот снял шапку, крикнул:

— Здорово оставаться, сударь! — и отъе-

хал.

Благообразный лакей в белом жилете и галстукe отпер двери. Барбасов сбросил в светлой передней пальто, прошел довольно обширную залу, уставленную новой с иголки мебелью, обитой атласом цвета boutons d'or [12], прошел малиновую бархатную гостиную и отворил дверь в свой кабинет.

На большом письменном столе, тоже совсем новом, но уже треснувшем сбоку, он увидел несколько ожидавших его писем. Он распечатал одно из них, пробежал его, до остальных не коснулся и направился в противоположную сторону комнаты, к низенькому турецкому дивану.

Вдруг он остановился и пробурчал:

— Черт знает что!

На диване в грациозной позе лежала и, очевидно, мирно спала молоденькая, хорошенькая и очень нарядная женщина. Он подошел к ней ближе и глядел на нее. Темно-синее платье из легкой шелковой материи красиво обрисовывало ее стройные формы. Немного бледное, немного уставшее, но правильно очерченное лицо эффектно рисова-

лось на темном фоне подушек дивана.

Он наклонился, прислушался — она действительно спала. Тогда он вернулся к письменному столу, свернул из только что прочитанного письма тоненькую трубочку, подошел тихонько к молодой женщине и стал щекотать ей трубочкой ноздри. Она вздрогнула, открыла совсем еще бессмысленные большие черные глаза, вскочила с дивана и громко зевнула.

— Ах, это ты, Леня! — сказала она, наконец очнувшись. — Бессовестный! Я ждала, ждала — и вот заснула... Который же час? Ведь уже семь... я с голоду умираю... Скорей, скорей едем куда-нибудь обедать!

— Фью! — присвистнул он. — Обедать?! Я, мать моя, уж отлично пообедал и теперь мне и говорить-то об еде тошно.

Она встревожилась и вспыхнула.

— Обедал?! А я-то как же? Что же это такое?.. Ведь это называется свинство!.. Ведь ты же сам назначил мне в пять часов быть у тебя и весь день мы должны были провести вместе.

— Забыл, совсем забыл, — сказал он, — из

головы вон... Ну, прости...

Но она была оскорблена не на шутку.

— А, как вы уж забывать начинаете!.. Вы уж меня голодом морить начинаете. Прощайте!!!

— Остановись и не кипятись! — флегматически сказал он. — У меня от всяких дел голова идет кругом и, главное, ведь я же попросил прощения...

— Да ведь я голодна, наконец, поймите!..

— Бери мою коляску и отправляйся обедать куда угодно, а затем возвращайся...

— Как? Одна?!

— На сей раз одна, ибо, говорю тебе, мне обеде противно и думать... Ты будешь передо мною есть, а я этого не вынесу.

Он раскрыл свой портфель.

— Вот тебе сто рублей. Довольно? Отправляйся и возвращайся после обеда...

Она приняла сторублевую бумажку, аккуратно сложила ее и спрятала в карман.

— Ну, хорошо, на этот раз прощаю! — проговорила она в то время, как он звонил, чтобы приказать подать экипаж. — Только после обеда я вернусь к себе и чтобы я вас застала

уже там! Мы отправимся в Петровский парк, я хочу нынче цыган слушать. Слышите?

— Хорошо, хорошо!.. — рассеянно проговорил Барбасов.

Экипаж оказался уже заложенным, и через минуту молодая женщина надевала шляпку.

— Ну-с, прощайте! Да ты не разоспись, смотри, через полтора часа будь у меня непременно... а я только-только пообедаю... Что ж ты думаешь, одной весело, что ли, обедать? Эх, добра я слишком, не стоишь ты.

— Не стою! — согласился он.

Она подошла к нему и подставила ему щеку. Он очевидно нехотя ее чмокнул, а затем, оставшись один в кабинете, упал на диван и принялся зевать. Но спать ему все же не хотелось, небольшой хмель совсем прошел. Он велел подать себе сельтерской воды и, прихлебывая ее, лежал, предаваясь своим мыслям...

XIV. ЗАДАЧА

«Эту Нюнютку во всяком случае и как можно скорее надо сплавить, — думал Барбасов. — Ведь всю прошлую весну, всю половину лета провозился с нею... И денег много на нее идет, да и надоела — глупа непроходимо и раз в неделю с неудачными претензиями на порядочность... Глупо, что сразу не отделался по возвращении из Астрахани. Ну, да это не трудно...»

Он вздохнул. Сплавить Нюнютку он решил, уже возвращаясь в Москву. Но тогда у него были иные планы. Он рассчитывал, что ее место недолго останется вакантным, он рассчитывал тем или иным способом победить холодность Аграфены Васильевны и во что бы то ни стало «подружиться» с нею. Аграфена Васильевна ему нравилась так, как давно никто не нравился, и он чувствовал, как с каждым днем этот «каприз сердца» овладевает им сильнее и сильнее. Выследив ее в жилище Прыгунова, он отправился к ней с твердым намерением бороться и победить. Теперь он ясно понял, что должен отступить.

В разговоре с Владимиром он был совсем искренен. Он почувствовал, что там не его место, а место этого «прекрасного выюноши», и благоразумно сразу решил внутри себя, что «против рожна не попрешь».

Он всегда умел себя сдерживать, умел владеть собою, а главное, успокоить себя. Это умение он считал своим высшим качеством и развивал его в себе тщательно, решив, что только таким образом достигнет всего, чего может достигнуть, а притом и проживет спокойно. Но все же вряд ли бы ему удалось так легко отказаться от мечтаний об Аграфене Васильевне, если б на помощь не пришло совсем нежданное обстоятельство.

«Судьба, это судьба! — почти громко выговорил он. — Дурацкое слово, но иной раз, как ни верти, а оно оказывается самым подходящим... Или вдохновение, что ли?..»

Он без определенной цели навязался на посещение Горбатовых. А вот теперь это посещение подвело его к совсем новым мыслям. Перед ним то и дело мелькало доброе, сияющее здоровьем и свежестью, красивое лицо Марьи Сергеевны.

«Над этим стоит поработать, — мысленно повторял он. — Я, Алексей Барбасов, я — с моей кожей и рожей, как выражался Никита Крылов, читая нам в университете римское право, я — и она! Она, эта знатная, богатая девица, одним словом — Горбатова, excusez du peu [13], и я — сын деревенского дьякона, отца Иоанна, помогавший батьке вспахивать нашу десятину; я — приемыш покойницы генеральши-благодетельницы!.. Несообразно, нелепо, но не невозможно! Да, не невозможно... но трудно, трудно... и хорошо... а потому надо поработать... Чем же это невозможнее хотя бы Медведевского дела? А ведь я его выиграл. Шагать так шагать. Дурак я или умница? Да... этого я не оставляю, этого я не оставляю!..»

Барбасову, как и всякому человеку, быстро забирающемуся все выше и выше, выходящему из общего уровня, начинали завидовать очень многие. Но чему завидовали? Завидовали его успехам, удаче, огромным деньгам, им получаемым, завидовали его роскошной, хотя и совсем мещанской обстановке, которая, однако, казалась завистникам верхом

элегантности и шика, завидовали его новым экипажам и лошадям, его успехам среди разных Ньююток...

А между тем у него было нечто такое, что даже никто не замечал, но чему можно было позавидовать. Эта принадлежность Барбасова было — счастье, внутреннее счастье, довольство своей жизнью. Довольство и счастье лежали главным образом даже не в его удачах, а в нем самом, в его характере. Да, его можно было назвать счастливым человеком, и сам он считал себя таким.

Когда кто-нибудь случайно спрашивал об его детстве, о родителях, он обыкновенно отвечал, что мать умерла в младенчестве, а отца совсем не было, делал грустно-комичную мину и переменял разговор. Матери своей он действительно не помнил: она умерла, когда ему было года два. Он остался единственным ребенком, единственным из двенадцати, один за другим умерших, последним, на руках у бедного, забитого деревенского дьякона, человека доброго и благочестивого, но сильно запивавшего и окончившего дни свои, когда мальчику было всего девять лет. Из нищеты,

из чисто крестьянского быта маленький замарашка попал в барские хоромы. Добрая барыня пригрела и обласкала его, обучила грамоте, затем свезла в Москву, отдала в дорогой пансион, поместила его в своем духовном завещании в пятнадцать тысяч рублей и решила так: «Из мальчика прок будет: шустрый, бойкий мальчишка, на все понятливый. Может, и простит мне Бог грехи мои за это доброе дело...»

Мальчик оправдал ожидания благодетельницы. Учился он хорошо, в пансионе жилось ему в полное удовольствие. То, что поражало, терзало и мучило других детей, иначе воспитанных дома, — того он даже не замечал. Год жизни в барских хоромах не изгладил из его памяти прежних впечатлений и привычек нисколько; пансионская пища, в сущности очень плохая, не была ему противна. Он ел все и с аппетитом. Благодетельница, приезжавшая в Москву раз в год, с каждым новым приездом оказывалась более и более довольной своим воспитанником. Только глядя на его неуклюжую фигуру и уж очень некрасивое, особенно в отроческом возрасте, лицо да

торчащие волосы, она про себя приговаривала:

«Дурнышка, совсем дурнышка! Ну, да что ж, не девица и не всем же быть красивыми... Дурнота для мужчины не несчастье...»

Пансион принес Ленюшке, как называла его благодетельница, несомненную пользу. Он, сам того не замечая, мало-помалу совсем позабыл свою прежнюю сферу, из которой был навсегда вырван. Он не сделался изящным, ибо это было совсем противно его натуре, но все же приучился, когда нужно, казаться благовоспитанным. Он говорил по-французски и по-немецки не хуже других. Товарищи его вообще любили и, по мере того как он вырастал, он превращался в так называемого славного малого, а главное, в нем развилась уверенность в себе, апломб.

Он всегда чувствовал под собою твердую почву и шел прямо и решительно. Чувствительности и нежности в нем никакой не замечалось. Он никогда не выдавал товарищей и всегда готов был постоять за них, однако при этом старался не повредить себе. Горлан и краснобай, он многих увлекал за собою, был

во главе всяких шалостей, очень часто совсем непозволительных, но, обладая, так сказать, организаторским талантом, почти всегда так устраивал, что все оставалось шито и крыто.

Развращен он был ужасно, хотя, конечно, эта развращенность сидела главным образом пока еще только в воображении. Цинизм его доходил до отвратительности. Он кончил наконец тем, что иначе не мог говорить как непристойными словами, сопровождаемыми бранью. Не раз он попадался и претерпел все пансионские наказания. Но это нисколько не исправило — напротив, он дошел до виртуозности в выдумывании всяких невероятных нелепых словесных гадостей, и кончилось тем, что его язык и лексикон вошли в моду в пансионе. Таким образом, модный московский пансион сделался истинным рассадником сквернословия.

Окончив пансионский курс и поступив в университет, Барбасов стал несколько придерживать язык свой и вообще мало-помалу выравнивался. Студенческие годы были для него сплошным весельем. Здоровье и постоянно хорошее настроение духа давали ему

возможность после пирушки и целого дня непробудного пьянства сразу очнуться, облиться холодной водой и приняться за работу. Он был на хорошем счету у профессоров, и даже один из них предложил ему остаться при университете. Но он отказался. Он спешил скорее к практической деятельности, к наживанию денег.

И вот теперь, к тридцати годам, он достиг всего, и ему еще лучше живется, чем когда-либо, у него все есть и все ему доступно. Он захотел бывать в обществе и кончил тем, что его действительно можно было видеть в лучших гостиных. Присутствие его в них могло смущать Софью Сергеевну; но таких, как она, было немного — в обществе уже приучились таить про себя свои истинные взгляды и понятия из боязни прослыть за отсталых, за ретроградов. Слово «либерализм», хоть часто и с совсем неожиданным значением, ему придаваемым, было у всех на языке.

Конечно, Барбасов все же прошел через некоторые мытарства: другой бы человек на его месте смутился и отказался. Но он был не из смущающихся, он не обращал внимания

на мелочи. Обидеть его было трудно. У него было, конечно, своего рода самолюбие и чувство собственного достоинства, но они всегда находились в его распоряжении и он умел управлять ими, смотря по обстоятельствам. Встречаясь с пренебрежительным взглядом, с почти презрительным к себе отношением, он не подавал виду, что замечает это, и спокойно говорил себе: «Ничего, это изменится».

И действительно, это изменялось. Он протирался всюду; где его не замечали сначала, там начали замечать. Он победил даже препятствия, поставленные перед ним самой природой, то есть свою неуклюжую фигуру и некрасивое лицо.

Про него говорили:

— Да, Барбасов... конечно, он урод, но, знаете, у него такое умное лицо, он человек интересный и талантливый.

Разумеется, он был по-своему и талантлив и умен, говорил хорошо, хотя и плевался, писал не хуже, хотя и злоупотреблял общими местами. В газетах, как московских, так и петербургских, время от времени он печатал статьи по разным юридическим и обществен-

ным вопросам, обращавшие на себя внимание. Конечно, если бы сделать из этих статей сборник и читать их одну за другой, то сразу бросилось бы в глаза, что автор, красноречивый и, по-видимому, доказательный, противоречит себе на каждом шагу... Он способен был сегодня горячо защищать тот самый взгляд, на который напал вчера, да и не раз это делал. Убеждений у него никаких не было. Он сознавал это и находил, что так лучше...

«На каждый предмет, — говорил он, — непременно есть несколько точек зрения. Каждая из них может быть и верна, и не верна. С каждой точки зрения можно известную вещь и защищать и обвинять...»

Не имея определенного миросозерцания, он ничего, однако, безусловно не отвергал. Веры в нем, само собою, никакой не было, но он не хвалился своим неверием. Один раз, когда зашел разговор о религии и Боге, он серьезно сказал:

«Бог! Что ж, очень может быть, очень даже может быть, что он и существует, но только меня это не касается. Это не входит в пределы

моей деятельности. А деятельность каждого человека должна быть непременно ограждена известным пределом. Только не выходя из резко очерченной рамки и можно действовать успешно, в противном случае разбросаться, расплывешься, и в результате выйдет нуль, а, пожалуй, и хуже того — минус...»

Для него это было ясно и, как он выражался, «математически верно».

Такой-то человек начинал теперь обдумывать смелый план относительно Марьи Сергеевны Горбатовой.

«Да, возможно! — решил он. — Лет двадцать, даже десять тому назад был бы еще, пожалуй, другой разговор, а теперь наш брат смельчак выбирай себе любое: что полюбишь — все возьмешь. Совсем перемешались шашки; теперь без драмы, без романа, без борьбы с гордой родней можно все обделать, только присмотреться надо хорошенько и сообразить все уступки, каких потребует благоразумие... Что ж, в крайнем случае я адвокатуру побоку, за новую деятельность припрусь — и не оплошаю. Прожить можно...»

Он очень хорошо знал, что кроме отцов-

ского наследства Марья Сергеевна, по завещанию деда, получает полмиллиона. У него у самого был уже отложен изрядный капитал и потом, со дня на день, он ожидал огромного выигрыша на бирже. Он и биржевыми делами занимался, и тут у него была все та же удача.

«Теперь только осторожно-осторожно, чтобы как-нибудь не зацепиться!.. А Ньюютку надо немедленно сплавить... глупа, компрометантна!..»

Он позвонил и спросил вошедшего лакея:

— Экипаж возвратился?

— Так точно-с, у подъезда.

— Скажи, чтобы откладывал.

«Пусть она меня ждет, пусть побесится, авось это подействует...»

Он зажег свечи, подсел к письменному столу и стал разбираться в своих бумагах.

XV. ПОСЛЕ БАРБАСОВА

По уходе Барбасова в гостиной Горбатовых на некоторое время воцарилось молчание.

Клавдия Николаевна сидела, опустив руки, склонив голову.

«Non, décidément, je suis au bout de mes forces!» [14] — думала она и возвращалась все к одним и тем же, одолевающим ее теперь, безнадежным вопросам.

Конечно, и при жизни Бориса Сергеевича было то же, те же дразги, те же мелочи, несогласия, так же трудно было ладить с Кокушкой и Софи, те же заботы обо всех... Но Борис Сергеевич был тут, его никогда не было слышно в доме, а между тем в нем заключалась для нее большая опора. Он всегда все умел уладить, все сгладить, его тихое влияние сказывалось не только на Кокушке, но даже и на Софи.

Теперь же вот они чувствуют, что уже нет никаких сдержек, они на своей воле. Она убедилась в последнее время, что со смерти старика на нее не обращают никакого внима-

ния.

Софи уже не раз ее обижала, просто насмеялась над нею.

Что же это будет, чем же все это кончится? Делала для них, что могла, а теперь уж ничего не могу... ничего!..

И она еще ниже склоняла голову и еще мертвеннее опускались ее прозрачные руки.

Софья Сергеевна еще не пришла в себя от выходки Кокушки и измеряла комнату быстрыми, нервными шагами. Лицо у нее было бледное, злое; тонкие ноздри раздувались. Она казалась теперь совсем поблекшей, даже почти некрасивой.

Владимир рассеянно разглядывал на столе альбомы и, по-видимому, мысленно был где-то далеко.

Одна Марья Сергеевна продолжала находиться в хорошем настроении духа. Ее рознь с сестрою в последние годы перешла даже в очевидное недружелюбие, поддерживавшееся тем, что они неизбежно и невольно должны были жить вместе. Таким образом, она во все не приняла к сердцу выходку Кокушки и даже сейчас о ней забыла. Она глядела в окно,

выходившее в сад, весь залитый светом солнца, пожелтевший, полуоблетевший, но очень красивый в этом осеннем освещении. Ей хотелось воздуха, движения. Жизнь и здоровье были ключом, блестели в ее серых глазах заливали ее щеки румянцем, высоко поднимали ее грудь.

— Боже мой, какой день сегодня! — сказала она. — Хоть бы прокатиться немного перед обедом... Софи, не хочешь ли?

— Ну, уж избавь! — отозвалась Софья Сергеевна.

— Я с удовольствием проеду с тобою, Маша, — сказал Владимир.

— Вот и отлично! Позвони, пожалуйста, и вели заложить маленькую коляску. Только который же теперь час? Пятый! Ma tante, ведь вы нас подождете немного с обедом?

— Однако же, это невыносимо! Мне уж и теперь есть хочется! — вдруг воскликнула Софья Сергеевна. — Я кончу тем, что сама буду заказывать себе и завтрак, и обед, и буду есть в своей комнате...

Марья Сергеевна засмеялась.

— В кои-то веки попросила немного позд-

нее обедать... А тебя вечно бог знает до какого часа ждать приходится... Ну, хорошо, мы не поедем, Володя, если Софи так есть захотелось, а поедем сейчас после обеда в парк — согласен?

— Я на все согласен, душа моя! — отвечал Владимир, продолжая перелистывать альбомы.

— Где ты был сегодня и откуда достал Барбасова? — говорила Марья Сергеевна, подходя к брату и обнимая его за шею.

Он поднял голову, взглянул на нее и даже удивился, будто в первый раз заметив, какая Маша вышла хорошая и как она на него ласково смотрит. Он улыбнулся ей.

— Я встретил Барбасова у Груни, — сказал он.

— У Груни? Какой Груни?.. Ах, да!.. Груня... знаменитая...

— Поджигательница, — договорила Софья Сергеевна.

— Нет, не поджигательница, а актриса, певица, артистка, о которой говорили во всех газетах, которая производила фурор и в Италии, и в Лондоне, и в Вене, и в Берлине! — вы-

считывала Марья Сергеевна. — Так ты был у нее? Это очень хорошо... Какая она? Расскажи. Я видела ее портрет, он у меня даже и теперь где-то. Она красавица, правда это?

— Красавица... да, — сказал Владимир.

— Где же она остановилась, в какой гостинице?

— Она живет теперь у Кондрата Кузьмича, в его домике.

— Неужели! — воскликнула Марья Сергеевна. — Это мне очень нравится. Знаешь, я непременно хочу познакомиться с нею... и ты мне поможешь в этом.

— С удовольствием!

— Только этого и недоставало! — с сердцем воскликнула Софья Сергеевна. — Самое лучшее, советую пригласить ее сюда, задать в честь ее обед...

— Так бы и следовало, конечно, — отозвалась Марья Сергеевна, — но я не хочу подвергать ее обидам, без которых не обойдется.

Софья Сергеевна остановилась перед сестрой и заговорила:

— Ты положительно с ума сходишь, Мари! Я уже давно замечаю, что ты не то чересчур

оригинальничаешь, не то просто в какую-то нигилистку превращаешься, но ведь всему же есть мера... или ты шутишь?

— Нисколько!

— Как? Ты находишь для себя возможным знакомиться с этой особой?.. Да подумай — кто она! Ведь это наша бывшая дворовая девочка, отвратительная девочка, которая сожгла наш дом... чуть не была убийцей бабушки!

— Ну, Соня, — сказал Владимир, — я повторю твои слова: всему есть мера... Как тебе не стыдно говорить это? Нельзя вспоминать про тот пожар; ведь мы знаем, как все было: измученный ребенок потерял голову... Да что же повторять? Ведь мы все знаем...

— И наконец, вся эта история показывала, — перебила его Марья Сергеевна, — что эта Груня — необыкновенная... так оно и вышло.

— Во всяком случае, теперь нет уж нашей дворовой девочки, — продолжал Владимир, — а есть известная певица и артистка, которой никому не может быть стыдно протянуть руку...

— И ты... тоже! — презрительно усмехнулась Софья Сергеевна. — Ну да что ты... это понятно, у вас, у мужчин, на это свои взгляды... Для тебя она — красивая женщина — и только... Фу, какая все это грязь, какая гадость!

— Софи, да за что же ты так? — простонала Клавдия Николаевна. — Ведь ничего дурного об этой особе не было никогда слышно. Дедушка заботился о ней, был к ней очень расположен...

— Еще бы! Целых пятьдесят тысяч ей оставил, как будто нельзя было найти лучшее назначение для этих денег...

Но она остановилась и уже спокойнее прибавила:

— Это было его желание, и оно свято... и мне все равно, только знайте, что если эта особа появится у нас в доме, в тот же день я уезжаю!

— Вероятно, она и сама не захочет быть у нас, — спокойно сказала Маша. — Вот что, Володя, мы после обеда поедem не в парк, а к Прыгуновым. Я непременно, сегодня же, хочу видеть Груню.

— Ma tante, и вы это допустите? — спроси-

ла Софья Сергеевна.

— Как же я могу не допустить?

Клавдия Николаевна, не договорив, замолчала и закрыла лицо руками.

— Да... так ты Барбасова застал у нее, — снова обратилась к брату Маша. — Он очень умный человек, этот Барбасов. Я всегда с удовольствием говорю с ним.

— Ах, боже мой, так значит, этот неприличный урод делается нашим *habitué* [15]?

Теперь сестры стояли друг перед другом. Старшая сердилась все больше, младшая делалась веселее и веселее.

— Неприличный я в нем не замечала. А уродство — он некрасив, но его лицо вовсе не противно. Он мне даже просто нравится. Если бы ты видела его в суде, когда он защищается, — это совсем другой человек!.. Он завладевает всеобщим вниманием... преображается.

— Я об этом не могу судить: в судах, слава богу, никогда не бывала, ты, кажется, знаешь это. Это только ты по разным судам да по лекциям... Я удивляюсь, как ты до сих пор не поступила на эти «высшие женские курсы»...

— Очень сожалею, что не могу поступить,

потому что плохо подготовлена, а учиться теперь — лень.

— Знаешь ли что, Маша, я бы тебе советовала за Барбасова выйти замуж!.. Впрочем, может быть, ты сама уж об этом подумываешь, и я только отгадала твою мысль?

Марья Сергеевна засмеялась.

— Ну, за Барбасова замуж я не выйду, только ничего такого обидного в твоих словах нет, и если уж говорить о женихах, то я никакой разницы не вижу между Барбасовым и другими господами, с которыми нам постоянно приходится встречаться... Впрочем, нет, разница есть. Все эти наши маменькины сынки, эти господа из общества, в большинстве случаев довольно пошловаты и неумны, а Барбасов и умен, и известен. Что он дурен, так разве, ну вот, например, князь Заруцкий или хоть Сабанеев, красивее его? В тысячу раз хуже, на них смотреть противно. *Mésalliance*? [16] Так ведь теперь это слово — звук пустой. Наши князья и графы женятся на вчерашних крестьянках или жидовках, папаши которых разбогатели, и это не считается *mesalliance*'ом. Да и наконец, ведь вот твоя же

приятельница Ольга, княжна Радомская, уж на что, кажется, старое и знатное имя, и состояние, а вышла же замуж за этого немчика, Штурма... Кто же он? Сын настройщика и тапера, *petit employé* [17] дворцового ведомства... Ведь все знают его отца; в доме у князя Николая Ивановича рояль настраивал, и добрейший князь сынка его у себя в конторе и пристроил, а вот теперь и в родстве с ним оказался через Радомских. Так ведь Ольгу же и ее мужа принимают везде, *à bras ouverts* [18], и даже ты от нее не отворачиваешься...

— *Il y a la une différence!*.. [19] Это было несчастье, безумие со стороны этой сумасшедшей Ольги... *mais on a tout arrangé* [20], - проговорила Софья Сергеевна.

Владимир засмеялся.

— Не спорь, Маша, не спорь, — сказал он. — Софи права: *il y a la une grande différence!*.. Ведь вот... вот, — он вынул из мраморной вазы, стоявшей на столе, визитную карточку, — вот он: «Эрнст Карлович фон Штурм» — видишь, видишь — «фон»! - одним словом, совершенно прилично. Через несколько лет этот господин займет видное

служебное положение и на его карточках будет: «барон фон Штурм», с присоединением крупного придворного звания. Он мало-помалу превратится в сановника, будет говорить: «Мы, русская аристократия», — и его будут слушать без всякого удивления... Все это в порядке вещей, так у нас водится со времен Петра Великого, со времен его корабельных мингероев...

— Правда, правда! — рассмеялась Маша.

— Конечно, правда! А потому с Соней не спорь!..

— Вот, вот те-те...перь попробуй отнекиваться! — раздался пронзительный голос Кокушки, и он влетел в гостиную, высоко держа в одной руке стеклянку с *lait de beauté*, а в другой какую-то коробочку.

— Ты у меня роешься, а я у тебя... И вот п... п... правду же я шкажал... мажешьша, мажешьша!..

Он подбежал к Софье Сергеевне.

— Белила... ру-румяна!.. Что? Что... те-те-перь шка-жешь?

Софья Сергеевна, как тигрица, кинулась на него, выхватила у него из рук скляночку и ко-

робочку, взвизгнула не своим голосом и упала в кресло. Даже Клавдия Николаевна поднялась с места и стояла, не зная, что ей делать, в сознании своей полной беспомощности. Но Софья Сергеевна сейчас же и пришла в себя.

— Конечно, — сказала она, — я больше не могу оставаться в этом доме, с этим отвратительным идиотом, я завтра же, слышите, завтра же уезжаю в Петербург!..

— Вот и пре-пре-крашно, вот и отлично! — с наслаждением выкрикивал Кокушка. — Только ты не надейся — принца не получишь; а от меня и в Петербурге не уйдешь... Я шам туда шкоро приеду, непременно... потому что до но-нового года должен пре-предштавитьша гошударю!..

Софья Сергеевна выбежала из комнаты. Кокушка с насмешкой поглядел ей вслед и затем, торжественно и спокойно, как будто ни в чем не бывало, направился к противоположной двери.

— Однако ведь у вас тут совсем плохо! — сказал Владимир, взглянув на сестру.

— Конечно, плохо! — ответила она. — С тех пор как дедушка заболел и слег, все пошло ху-

же и хуже. Кокушка из рук выбился. Да ведь и Софи виновата... Меня он затрагивает редко, и вообще я с ним умею справляться...

— Володя, друг мой, — простонала Клавдия Николаевна, — сам теперь видишь... дай же совет, что мне делать, скажи, помоги!..

Он задумался.

— Что делать? Очевидно, им нельзя быть вместе: если Соня хочет в Петербург — нечего ее удерживать, пусть уезжает, теперь это самое лучшее. А о Кокушке нам надо подумать...

— Ради бога, друг мой, я заметила — он тебя побаивается, может, тебе и удастся взять его в руки, а то ведь с ним сладу никакого не будет.

— Успокойтесь, ma tante, я с ним поговорю хорошенько, постараюсь — и затем увидим.

XVI. СГОВОРИЛИСЬ

Послеобеденная поездка Владимира и Маши не состоялась, так как к обеду приехали какие-то две девицы, из которых одна считалась приятельницей Маши, и остались на весь вечер. Это дало возможность Владимиру переговорить с Кокушкой.

Он сейчас же после обеда взял его под руку и увел к себе. Тот послушно за ним последовал, только как-то робко и почти испуганно взглянул на него и, запинаясь, проговорил:

— Что... тебе от меня н... нужно, Володя? Жачем ты ведешь меня?..

Кокушка имел способность сразу всегда чувствовать, если что-нибудь делалось не даром, а с какой-нибудь целью.

— Я хочу поговорить с тобою, — ответил Владимир.

Тот замолчал и, придя в кабинет брата, насупившись, уселся на диван, закурил папиросу и стал усиленно грызть ногти.

— Что ж ты, оставишь когда-нибудь эту скверную привычку? — сказал Владимир. — Сколько раз все тебя просили, сколько раз ты

обещал. Взгляни — на что похожи твои руки! А еще в дипломаты собираешься. Да разве с обгрызанными ногтями можно быть дипломатом?..

Кокушка мгновенно опустил руку и шепнул, как малый ребенок:

— Не... не буду... никогда не буду...

— То-то же, смотри... Но дело не в ногтях...

Владимир принял строгий вид. Он знал, как нужно говорить с бедным братом.

— Послушай, как тебе не стыдно заводить неприятности в доме, да еще при посторонних? Как тебе не стыдно вечно ссориться с Соной?..

Кокушка не выдержал и закипятился.

— Нет, это не я, не я... это она, вшегда она!.. Она мне вшакие неприятности... а я что, раже я теленок?.. Не хочу я ей поддаватьша, не хочу...

— Молчи! — не возвышая голоса, но совсем уже строго остановил его Владимир. — Я говорю с тобою не затем, чтобы ты кричал, и кричать тебе я не позволю. Говори тихо.

Кокушка сейчас же смолк, поднял было опять руку ко рту, но мигом ее отдернул.

— Она меня вшегда и... и... идиотом наживает... да, наживает... — уже совсем тихо прошептал он. — Разве это хо... хорошо?

— Нет, это очень глупо с ее стороны... Я с ней поговорю и думаю, что этого больше не будет.

— Поговори, поговори, Володя, не вели ей, она не шмеет...

— Непременно! Тогда прежде всего ты должен мне дать слово, понимаешь, честное слово русского дворянина... ты понимаешь это?..

Кокушка выпрямился, лицо его приняло важное, даже гордое выражение.

— По... понимаю.

— Ты мне должен дать слово, что оставишь эти глупые и злые выходки, перестанешь дразнить ее, как вот сегодня... со склянками.

Ехидная и злорадная усмешка мелькнула на лице Кокушки.

— А жачем же она мажетша... и от всех шкрывает? А от ме-меня не шкрыла! Вот-вот и не шкрыла!.. Я уж давно жаметил... А если мажетша и шкрывает... ее ошрамить и нужно!..

Но Владимир тут же смутил его самодовольное злорадство.

— А если тебя срамить при всех твоими маленькими грешками? Или у тебя их нет? Ну-ка, скажи... Я не хочу распространяться, но ты ведь отлично меня понимаешь... Ну-ка, что скажешь?

Кокушка опустил глаза, насупился и засопел.

— Так-то вот, любезный друг! Прежде чем кого-нибудь срамить и кому-нибудь делать неприятности, надо хорошенько подумать о том, приятно ли тебе будет, если с тобой то же сделают. Сколько раз тебе это повторял дедушка — вспомни... Хоть бы ты в память его стал добрее и благоразумнее!.. Ну, так что ж, даешь ты мне честное слово, да не такое, какое ты уж не раз давал и нарушал постоянно, а настоящее честное слово русского дворянина, что оставишь Соню в покое и вообще не будешь заводить дома историй и неприятностей?

— Хорошо, даю! — торжественно произнес Кокушка. — Но шлушай, Володя, уговор лучше денег, ешли она меня один раз идиотом

нажевет, тогда я мое шлово беру нажад... нажад беру — и ко-ко-нчено!

— Хорошо, давай руку и поцелуй меня.

Братья обнялись. Что-то доброе и детское скользило по лицу Кокушки, даже глаза его вдруг потеряли свое блуждающее, бессмысленное выражение. Он хотел выйти от брата, но сейчас же вернулся, по-видимому, смущенный и как бы нерешительный, помолчал несколько секунд и, наконец, проговорил заискивающим голосом:

— Во-во-лодя, а ты ишполнишь мою прошьбу?

— Что такое? Если могу, с удовольствием исполню.

— По-по-моги мне... уштрой, чтобы я к новому году был предштавлен гошударю!

— Хорошо, я постараюсь. Но только, если ты воображаешь, что можешь представиться гошударю таким, каков ты теперь, — ты очень ошибаешься. Ты так себя стал распускать, ты так себя дурно держишь... и потом эти обкусанные ногти!.. Сперва изменись, отстань от своих дурных привычек, иначе же и не мечтай, потому что это невозможно...

Кокушка сильно задумался.

— Хорошо, — произнес он. — Володя, отчего они меня так терпеть не могут?

— Кто... кто? Это вздор, веди себя как следует и увидишь, что все тебя любят.

— Нет, Володя, нет, ты не жнаешь, ты живешь в Петербурге... Дедушка вот, да, он любил меня, а эти все... и дома и вежде... хоть ешли я шовшем хорошо веду шебя, и лашков шо вшеми, и не дражню никого, вше же на меня фи-фи делают.

— Что такое «фи-фи»?

— А так, я это ви-ви-жу, я чувствую и жнаю, что это правда... Шмеются вше надо мною... Ну и я тоже хочу шмеятьша!.. Чем они лучше меня, чем? Вот тебя, Володя, я люблю...

— И я тебя люблю и буду любить еще больше, если ты сделаешься благоразумнее и сумеешь сдержать слово, а иначе, извини: человека, который не держит слово, надо презирать... Ведь ты же понимаешь это? Ведь это правда?

— Да, правда! — вздохнул Кокушка.

— Володя, жнаешь ли? — вдруг вскрикнул он. — Я хочу женитьша!

— Жениться?

— Ну да...

— На ком же?

— А это секрет... тебе я скажу — на княжне Янычевой, на княжне Hélène... Ты знаешь ее?

— Знаю. Разве она теперь в Москве?

— В Мошкве... Ведь хо-хо-рошенькая?

— Да.

— И партия для меня — княжна!.. А отец ее богат, он то-то-лько шкряга, но я его перехитрю... ме-ме-ня не проведет... дудки! Я уже предложение шделал... Как только наш траур кончится, та-так швадьба... Только ты, пожалуйста, не болтай, а пуще вшего принцешше...

— Ты опять!

Кокушка испуганно закрыл рот рукою и выскочил из комнаты. Владимир несколько минут сидел задумавшись.

Все это время здесь, в Москве, ему пришлось главным образом посвящать делам, и дел оказалось так много, что время шло незаметно. Только теперь, когда все уже было почти устроено, он стал хорошенько взгляды-

ваться во внутреннюю жизнь семьи, и вот сегодняшний день заставил его обратить серьезное внимание на сестер и брата. В особенности этот несчастный брат смущал его.

Из своего с ним разговора он увидел, что ладить с ним все же можно и что он это сумеет. Значит, нужно взять это на себя, и для самого Кокушки и для других нужно будет перевести его в Петербург. Да, это неизбежно; тяжелая задача и обязанность, но он не может от нее отказаться. Он решил это сейчас, внезапно и бесповоротно, как и всегда решал все важные вопросы.

На бредни Кокушки о княжне Янычевой он не обратил внимания. Кокушка с восемнадцатилетнего возраста имел обычай делать предложение всем барышням. В обществе потешались над этим, устраивали смешные сцены, забавлялись над бедным шутком.

Владимир отыскал старшую сестру и передал ей свой разговор с Кокушкой. Она сначала и слышать ничего не хотела, упорно повторяла, что завтра же уедет. Но затем вслушалась, сообразила и кончила тем, что со своей стороны дала Владимиру обещание никогда

не называть Кокушку идиотом.

— Если он не будет напоминать о себе, я совсем не стану его замечать даже, — объявила она.

Услышав же решение брата взять на себя заботы о Кокушке, она сказала:

— Ну и прекрасно; только ведь не выдержишь, ты увидишь, какое это сокровище! Это с твоей стороны идеализм, это все хорошие фразы, ты все еще очень юн, Володя.

— Не стар, конечно... А впрочем, увидим, заранее не хочу спорить. Скажи мне одно: одобряешь мое решение?

— Конечно, одобряю и даже благодарю тебя: мне только этого и нужно...

Совсем иначе отнеслась ко всему этому Клавдия Николаевна. Она выслушала внимательно и молча все, что ей передал Владимир, затем крепко обняла его, и он почувствовал на своем лице ее слезы.

— *Mon enfant!* [21] — говорила она умирающим голосом: — Это святое дело, и если бы ты только знал, как облегчаешь мою душу, а то уж я стала совсем приходить в отчаяние... *Vois tu, je suis tout-à-fait au bout de mes forces!*..

[22] Делала для вас все, что могла, люблю вас всех как моих родных детей... но я уж не человек, je ne suis qu'un spectre, qu'un fantôme...

[23]

И Владимир, крепко и нежно обнимая ее, видел, что она говорит правду, и ему казалось, что он действительно обнимает призрака, который вот-вот растает в руках его.

XVII. ВЛАДИМИР

В детские годы Владимир был очень нервным, впечатлительным и чутким. Как все такие дети, он развился очень рано и ему пришлось сознательно пережить драмы, которые происходили в семье.

В то время, как большинство его сверстников жили еще чисто ребяческой жизнью, он уже познакомился с многими жизненными явлениями, глубоко его поразившими и смутившими.

Все это, конечно, наложило на него отпечаток замкнутости и сосредоточенности.

Он развивался и мужал, не входя в общий поток, оставался особняком со своими мечтами, идеалами, которым не видел воплощения

в действительности. Он никогда не жаловался никому, не выказывал своего недовольства и, по-видимому, жил как все. Только искренних друзей у него по-прежнему не было.

Пансионская жизнь, постоянные сношения с товарищами, подобными Барбасову, циничные разговоры и представления при его живом воображении не могли не произвести своего действия. Он рано почувствовал влечение к женщинам. Ему пришлось в студенческие годы встретиться в обществе с молоденькой, очень красивой и совершенно развращенной дамочкой, которая обратила на него внимание. Скоро связь его с нею стала всеобщей известна. Но связь эта продолжалась недолго. Он ушел от своей первой любви даже не дождавшись, чтобы его попросили о выходе. Затем у него было несколько еще более мимолетных увлечений, но он остался неудовлетворенным, его чувство было не тронуто, он ждал настоящей любви, которая всего бы его охватила, наложила бы свою печать на всю жизнь, окрасила бы ее своим цветом. Такой любви у него еще не было.

По окончании курса, переехав в Петербург

и поступив на службу, он, конечно, как и многие в его годы, подумал, что цель жизни найдена, что ему открывается серьезная и полезная деятельность. Но он очень скоро увидел, что ошибается. Это опять были те же самые, уже знакомые ему явления жизни, та же самая несправедливость и фальшь, всегда его так мучившая.

Он тотчас же разглядел борьбу личных интересов, за которой совсем пропадали и уничтожались интересы общественные и государственные, увидел большую и сложную шахматную игру, где каждая пешка извилистыми и заранее намеченными путями пробиралась к дамке.

Он очень хорошо знал, как ему следовало бы идти, чтобы, в свою очередь, в более или менее скором времени попасть в дамки. Для него это было бы во всяком случае гораздо легче и удобнее, чем многим из его сверстников. У него не было недостатка в способностях. Затем, хотя уже и начинало сильно верить по-новому, но все же его знатное имя, богатство и оставшиеся семейные связи расчищали перед ним дорогу.

Ему надо было только нравиться именно тем людям, которым следовало нравиться. Но вот этого-то он и не мог, эта-то неизбежная обязанность и заставляла болезненно натягиваться его нервы. Служебная карьера, начавшаяся при самых блестящих предзнаменованиях, сразу остановилась. Он не производил надлежащего впечатления, начальство не было к нему расположено, сослуживцы его не понимали.

И таким образом, теперь, на двадцать шестом году жизни, его положение как в обществе, так и в месте его служения, было очень неопределенно. Он ничем не выдвигался, не бросался в глаза. Совсем не замечать его было нельзя и замечали его многие, но мнения о нем были самые разноречивые: иные считали его гордым и даже чванным, другие считали его просто глупым.

Сам же он скучал все больше и больше и тщетно искал в жизни цели, всепоглощающего интереса. Во всяком случае, он видел, что для него этот интерес не может заключаться в службе. Он не мог один, еще неопытный и совсем не чиновный, бороться с целой, давно

установившейся системой, с давно заведенной машиной.

Он не раз порывался действовать согласно своим взглядам и убеждениям, но его тотчас же останавливали и отстраняли как человека невыдержанного, неудобного и неприятного. Он был совсем не ко двору в том учреждении, мундир которого носил. Учреждение давно потеряло свой смысл, только тормозило уж и так со всех концов заторможенную государственную машину; но в то же время оно считало себя, в лице каждого из своих представителей, совершенно неизбежным для государственного преуспеяния.

Владимиру явилась было мысль переменить род службы. Но скоро он убедился, что переменит кукушку на ястреба, что всюду одно и то же, что везде ему нужно будет не работать, а уметь нравиться, не быть самим собой, а быть таким, как угодно начальству. Оставалось одно: искать такое начальство, с которым бы можно было сойтись во взглядах. Но это было трудно, в этом мог помочь только случай, а случая такого пока не представлялось.

Вот в каком положении находился Владимир, когда смерть деда заставила его взять продолжительный отпуск, переехать в Москву и серьезно заняться семейными делами.

Смерть Бориса Сергеевича окончательно выяснила все ненормальности горбатовской семьи, происходившие, главным образом, от характера и положения старшего ее члена — Сергея Владимировича. Никогда еще Владимиру не приходилось так мучительно чувствовать то, что у него есть отец и в то же время его нет. С этим отцом он жил в Петербурге в одном доме, он встречался с ним все же довольно часто, никогда между ними не было никаких неприятных объяснений, напротив, Сергей Владимирович всегда был ласков к сыну. В последние годы к этой ласковости примешивалось даже что-то вроде робости.

Но между ними не было ничего общего. Они ни разу не беседовали друг с другом откровенно и чистосердечно, да им и говорить было не о чем, так как они жили в совершенно различных мирах.

В обществе они почти не встречались. Сергей Владимирович совсем отстал от общества,

его даже в театре можно было очень редко встретить. Он проводил все свое время в клубе и у постоянно сменявших друг друга дам полусвета. Он часто уезжал за границу, в особенности в последние годы, когда различные недуги стали одолевать его.

Почти единственный разговор между отцом и сыном заключался в том, что отец спрашивал иной раз, зайдя к Владимиру:

— Володя, не нужно ли тебе денег? Ты скажи, сделай милость, пожалуйста, не церемонься.

— Мне вовсе не надо, папа, — обыкновенно отвечал Владимир, которому действительно редко могли понадобиться деньги, так как при всем готовом, имея в своем распоряжении даже экипаж и лошадей, ему не на что было тратиться. Он не наследовал от отца его страстей и привычек.

Но Сергей Владимирович не отставал:

— Ну как тебе не надо, — говорил он, — конечно, надо... Вот, возьми...

Он клал на стол тысячу-другую, как-то мельком, будто боясь чего-то, взглядывал на сына и уходил. Это случалось обыкновенно

при всяком его новом займе. Иной раз он и так заходил к сыну, если несколько дней не видал его. Ему вдруг начинало хотеться его обнять, приласкать. Но он почему-то не решался и, спросив, здоров ли он и нет ли чего нового, уходил, волоча ногу и бормоча себе под нос:

— О-хо-хо! Грехи наши тяжкие!

Он спешил вон из дому, в то болото, куда его уже окончательно и безнадежно затянуло...

Владимир любил отца, то есть жалел его. Но это было такое мучительное, тоскливое чувство, что он всегда старался даже не думать об этом. Теперь Сергей Владимирович, после смерти дяди, не остался в Москве. Он говорил, что совсем болен и должен спешить за границу, на юг. Все дела он поручил Владимиру, оставив ему полную доверенность.

Благодаря этой доверенности, Владимир уже мог несколько ознакомиться с делами отца и пришел в ужас от ежедневно почти открываемых огромных его долгов. Он написал отцу за границу, прося у него точных и подробных указаний. Давно можно было полу-

читать ответ, но Сергей Владимирович ничего не писал.

Прыгунов выставлял положение в очень мрачном виде; Владимир если еще и не окончательно убедился, то начинал подозревать истину, то есть, что от громадного горбатовского состояния у него с братом и сестрами останется очень немного. Все это не могло не волновать его и не тревожить.

Но вот внезапно его тревоги и волнения почти совсем забылись. Не давая сам себе отчета, он думал теперь только об одной Груне.

Как же это так случилось? Почему это до сих пор для него не существовала Груня? Ведь он ее никогда не забывал; ведь если бы она была так нужна ему, он мог бы, конечно, добиться встречи с нею или здесь, в Москве, или за границей. Отчего же до сих пор он не искал этой встречи, и зачем же она произошла именно теперь, и что она значит? Что из нее выйдет?

Никогда еще ни одна женщина не производила на него такого впечатления, какое произвела Груня. Он вспомнил свой разговор с Барбасовым и невольно должен был сказать

себе, что этот циник прав, что их встреча не может окончиться так, без всяких последствий...

Что же будет? Какие последствия? Он этого еще и не представлял себе, но его уже охватило чувство ревности. Он с мукой и тоской думал о прошлом Груни и ему опять казалось, что Барбасов прав, что иначе быть не может... Так зачем же он допустил это прошлое, зачем он не искал раньше с нею встречи? Может быть, если бы он встретился с нею года три-четыре тому назад, было бы совсем другое. Но, может быть, и тогда уже было поздно?

«Да что поздно, что? — раздражительно останавливал он себя. — Какое же право имею я так думать? Что я знаю? Ведь она мне ничего не сказала... Почему же в ее прошлом непременно должно быть что-нибудь такое?.. Почему непременно должно быть?»

И все это его волновало, так волновало, что он провел очень дурную ночь, а едва проснулся, его так и потянуло туда, к Зачатьевскому монастырю, в маленький домик.

Но ведь нельзя же было так сразу туда забираться с раннего утра, да и дел было много

дома. Он заставил себя работать до завтрака, разбираясь в бумагах, проверяя счета. Потом обрадовался, что нашел предлог для свидания с Прыгуновым, и поехал.

XVIII. ДА ИЛИ НЕТ?

Кондрата Кузьмича не было дома. Настасьюшка объяснила, что он вот-вот только сейчас вышел: «и пяти минуточек не будет».

— Когда же он вернется, скоро? — спрашивал Владимир. — Мне его непременно надо видеть.

— А этого я не могу сказать вам, сударь, да надо полагать так, что Кондрат Кузьмич к вам и поехали.

В таком случае, если бы уж такая была необходимость, Владимиру следовало немедленно сесть в свой экипаж и пуститься в погоню за Прыгуновым. Но он этого не сделал, а спросил дома ли Груня.

Она была дома. Она вышла к нему с лицом очень серьезным и немного бледным, будто после дурно проведенной ночи. Она улыбнулась ему и крепко сжала его руку. И почувствовав это пожатие, он одновременно почув-

ствовал, что, конечно, он теперь никуда не уйдет от этой Груни, не уйдет, если бы и хотел, а главное, что он никуда и не хочет уходить от нее.

Он жадно отдавался ее обаянию, какого еще не испытывал никогда в жизни. Его охватило горячее, новое чувство, и в то же время с каждой минутой сильнее и сильнее поднималась в нем тревога. Он жадно вглядывался в Груню, в ее глаза, следил за малейшим ее движением, будто думал найти в ее глазах, в ее движениях разрешение мучившего его вопроса.

Они вышли было в садик, но солнце спряталось за тучи, поднявшийся холодный ветер, очевидно, готовил осеннее ненастье. Он ничего этого не замечал. Но Груня сказала:

— Как холодно! У меня как будто лихорадка. Пойдемте в комнаты...

Они вернулись в домик, в маленькую бедную гостиную, еще более унылую и неприветную со времени смерти хозяйки.

— Я дурно спала эту ночь, — сказала Груня, — и, право, кажется, у меня лихорадка... Посмотрите...

Она протянула ему руку. Рука была совсем горячая. Он долго не выпускал ее, и ему почти хотелось плакать, так больно и тоскливо сжималось его сердце.

— Ну, да это пустяки! — вдруг как бы очнувшись, освобождая свою руку и отодвигаясь от него, проговорила Груня. — У меня здоровье совсем железное; другая бы на моем месте уже несколько раз умерла, а я все жива и здорова... Боже мой, как подумаешь только, каких глупостей я не делала!.. Один раз, в Харькове, зимою, давно это было, давно... после спектакля, из духоты отправились мы на тройках... Я в тоненьких ботинках... Дорогой сани набок — я упала в снег, а снег был рыхлый, мокрый. Потом справились, поехали дальше, вернулись домой только под утро, а у меня все время ноги мокрые и заледеневшие — и ведь ничего! На другой день только немножко горло поболело да к вечеру же и прошло... А потом один раз за границей...

И она стала рассказывать, мало-помалу оживляясь, о различных своих приключениях, приключениях смешных и забавных...

Она рассказывала живо, представляя все в

лицах. Слушая ее, сразу же приходилось перенестись на место действия и ясно видеть все, что она передавала. Если бы не она это рассказывала, Владимир, конечно, заинтересовался бы и от души бы смеялся. Он был и теперь заинтересован, но ему было не до смеха.

Из ее рассказов перед ним выяснилась вся ее скитальческая жизнь, пестрая, беспорядочная, не знающая стеснений, одним словом, жизнь артистки, которая не думает и не заботится о том, что прилично и что неприлично, о том, что о ней скажут...

В ее рассказах то и дело мелькали тени каких-то мужчин, каких-то баронов, графов, банкиров... Все они были смешны, забавны, противны... Она делала из них карикатурные фигурки, потешалась над ними, но все же они были неизменно тут, неизменно ее окружали, без них ничего не обходилось, в них заключалась почти вся суть этой вспоминаемой ею жизни.

Но вот среди этих карикатурных фантошей мелькнула тень какого-то знатного иностранца, и Владимир весь превратился во внимание, и сердце его сжималось все боль-

нее. Эта мелькнувшая тень не исчезла, напротив, она мало-помалу превращалась в живом рассказе Груни во что-то особенное, совсем отдельное от остального пестрого калейдоскопа. У Груни разгорелись глаза. Она говорила:

— Ну и ведь, вы понимаете, такой человек не мог ничего иметь общего с этим фон Хабершенком, с этим разбогатевшим пивоваром, который воображал, что на свои деньги он может купить все, все, что захочет.

— Чем же все кончилось? — почти бессознательно прошептал Владимир, совсем вдруг потеряв нить ее рассказа.

— Как я ни уговаривала его не делать глупостей, как я ни доказывала ему, что подобный человек не в силах его оскорбить, что он должен отнестись к нему только с пренебрежением и ничего больше, он не выдержал и вызвал его на дуэль... Я это сейчас же узнала. Что было мне делать?.. Не могла же я быть покойна — дуэль из-за меня. Да, я провела несколько ужасных часов. Впрочем, все кончилось благополучно: фон Хабершенк оказался вдобавок еще и трусом и скрылся из города

ночью, когда даже никакого поезда не было.

Владимир не мог больше выдержать.

— Какую ужасную жизнь вы вели, Груня! — мрачно проговорил он. — Неужели она могла удовлетворять вас?

Он взглянул ей прямо в глаза.

Она вспыхнула, но выдержала его взгляд, даже слабая улыбка скользнула по ее губам.

— Конечно, нет! — произнесла она. — Но ведь разве вообще всякая жизнь не ужасна, разве везде не одно и то же? И потом, куда же бы я ушла от такой жизни? Она была для меня неизбежна...

Он понурил голову.

— Было ли у вас хоть когда-нибудь счастье?

Он ждал, чутко ждал, что она ответит на это.

— Нет! — сказала она и еще раз медленно повторила: — Нет! То есть бывали минуты, конечно, два-три раза... успех, какого я не ожидала, успех вопреки задуманной против меня интриги, успех полный, с которым никто ничего не мог сделать... прорвавшиеся рукоплескания всей залы, вызовы без конца...

крики неистовые... Да, это несколько раз кружило мне голову; пожалуй, что это были минуты счастья...

— Я не про то вас спрашиваю, — перебил он ее, — я говорю о другом счастье, о счастье сердечном.

Она пристально на него взглянула, и опять зарумянились ее щеки, а глаза так и загорелись.

— Такого счастья у меня никогда не было, — едва слышно проговорила она.

Но что же значил этот ее ответ? Почему Владимир вообразил, что ответ ее что-нибудь ему откроет? Вот она говорит, что никогда не было счастья... Ну и что же — разве это ясно? Что это значит? Что скрывается под этим? Может быть, еще хуже, что никогда не было счастья... А этот таинственный иностранец, вызвавший из-за нее на дуэль? Эти часы мучений, в которых она признавалась? Для нее же хуже, если даже и счастья не было. Хуже ли, лучше ли, да разве не все равно? Дело в том, что это ужасно... неизбежно... А она так и тянет, так и манит к себе...

И Владимир не отрываясь смотрит на нее, и

ее всесильная мучительная красота туманит ему голову. Он готов проклинать себя за все эти годы, когда он о ней не думал и в то же время и не забывал ее, когда он жил день за днем, ленивый, ища какой-нибудь цели жизни, какого-нибудь удовлетворения, то уходя в несбыточные мечты, то выходя на смешной донкихотский бой с ветряными мельницами. А она металась там где-то, далеко, окруженная этими фантомами, и сама превращалась из дивного, загадочного существа в размалеванную фею театральных подмостков... Ну, а если бы он не пустил ее, если бы он вовремя удержал ее, если бы он был с нею — что бы тогда? Ну да, что бы тогда было?

Этот вопрос сначала робко, а потом с насмешливым задором встал перед ним, и он не мог на него ответить. Но все же ему казалось, что было бы лучше, бесконечно лучше уж даже потому, что не было бы этого ужаса, этого мрака и тоски, которые теперь его охватывали.

Он постарался встряхнуться и взглянуть на Груню спокойно.

Она его спрашивала, долго ли он пробудет

в Москве и нерешительно спросила о его домашних. Он ей ответил и потом прибавил:

— Сестра Маша непременно хочет знакомиться с вами, Груня.

— Марья Сергеевна, со мною? — проговорила она, удивленно на него взглядывая.

— Да, и мы даже вчера вечером чуть было сюда не приехали, только гости ей помешали.

— Марья Сергеевна хочет познакомиться со мною? — повторила Груня и вдруг засмеялась.

— Чему же вы смеетесь?

— Простите, сама не знаю чему... Какая же она, Марья Сергеевна? Я помню ее такой маленькой...

— А вот увидите — какая, надеюсь, что она вам понравится. Мне по крайней мере она начинает нравиться.

— Как начинает?

— Да ведь я, особенно в последние годы, был очень далек от сестер... Она так изменилась; я только теперь начинаю ее разглядывать и говорю вам, она мне очень нравится, такая простая, славная...

— Ну, а Софья Сергеевна? — спросила Гру-

ня.

— Они совсем не похожи друг на друга.

— И уж Софья Сергеевна со мной знакомиться не захочет?

Он несколько смутился. Но потом вдруг решительно сказал:

— Не захочет. Да и вы, Груня, не захотите тоже, пожалуй... лучше будет так... А с Машей мы к вам на этих же днях приедем.

Они помолчали несколько мгновений.

— У вас есть ваш хороший портрет? — вдруг спросил он.

— Дать вам? Хорошо... я сейчас принесу все, что у меня есть — выбирайте...

Она пошла в свою комнатку и вернулась с огромным роскошным альбомом, показала ему несколько своих фотографических портретов, снятых в разных городах Европы, изображавших ее в костюмах тех ролей, в которых она пела с особенным успехом. Потом вот она в бальном платье, с открытой, чересчур открытой шеей и руками. Она хороша безукоризненно, и даже художник-фотограф, несмотря на все свое видимое желание, не мог ее «прикрасить», он только старанием

этим уменьшил сходство. Да, она безукоризненно хороша в каждом из этих костюмов и еще лучше в бальном платье... эти руки, эти плечи...

Но Владимир с отвращением думал о том, что все эти портреты затасканы по всей Европе, что они выставлены в магазинах эстампов на глаза толпы, что они продаются и покупаются не как портреты артистки, а как портреты красивой женщины, и что каждый, покупающий их, оценивает эту красоту и уверен, что ее так же можно покупать, как и ее изображение. Он выбрал один из портретов, но не тот, не в бальном платье, и спрятал его себе в карман, а потом стал перелистывать страницы альбома.

— Это все они, все эти, о которых я говорила, — объяснила Груня.

Он грустно и устало разглядывал коллекцию мужских физиономий, молодых, пожилых и старых, испитых и жирных, облысевших, истасканных, самодовольных, пошлых, коллекцию знакомых незнакомцев, людей, встречающихся всюду — на балах, в театрах, на Невском, на Большой Морской, на париж-

ских бульварах, на модных купаньях и водах... Но это кто? Прекрасное, задумчивое и выразительное лицо, породистая изящная красота, глубокий взгляд темных глаз, простота и в одежде, и в позе.

— Кто это? — спросил он.

— А, это мой друг, граф Болонна.

— Тот, который пивовара на дуэль вызывал?

— Да. Не правда ли, какое чудесное лицо?

Ему даже показалось, что голос Груни дрогнул. Он вынул похолодевшей рукой портрет из альбома и прочел на оборотной стороне его: «ricordo...» [24]

— Это друг ваш?

Его сухие губы едва слушались, когда он произносил слова эти.

— Да, друг, я с ним до сих пор в переписке.

Он вложил портрет в альбом, посмотрел на часы и растерянно проговорил:

— Что же это я? Ведь мне нужно спешить домой, может быть, я еще застаю Кондрата Кузьмича. До свиданья, Груня!

Он поднял на нее совсем померкшие глаза, его рука, протянутая ей, была холодна. Он

весь будто застыл, так что она с изумлением на него взглянула. И вдруг она обожгла его таким взглядом, такой улыбкой, что у него затуманилась голова. Он хотел что-то сказать, но не мог и вышел.

Она подняла спущенную штору окошка и прильнула к пыльному стеклу. Она глядела, как он вышел, сказал что-то кучеру, сел в карету, дверцы захлопнулись, лошади тронулись...

А она все не шевелилась, все смотрела прямо перед собою. Так прошло несколько минут. Наконец она отошла от окошка и остановилась посреди комнаты, опустив голову и руки.

Вот ее щеки вспыхнули румянцем, счастливая улыбка мелькнула на губах ее, потом все лицо померкло, она глубоко вздохнула и задумалась о чем-то.

Она пришла в себя, только заметив Настасьюшку, которая стояла перед нею и ворчливо говорила:

— Что ж это, матушка, и нынче вы весь день со двора не выйдете?.. Засиделись со всем, промнитесь... Погода-то вон разгуля-

лась... Право, нехорошо этак ни с места, этак можно и разболеться...

ХІХ. РОЛЬ

Настасьюшка прожила в доме Прыгунова более тридцати лет. Работала она, рук не покладая, с утра до вечера. Ворчала постоянно, а в иные дни доходила до такого состояния, что к ней и подступиться было невозможно. Жизнь свою она называла «каторгой», хозяйку покойную, Олимпиаду Петровну, «мумой», что должно было означать — мумия, понятие, приобретенное ею во время прохождения сыновьями Прыгунова истории Египта. Сам Кондрат Кузьмич иначе не обозначался на языке Настасьюшки, как «коршунном», почему — неизвестно. Дом назывался «рухлядью».

Но когда давно уже, давно, лет восемнадцать тому назад, Прыгуновы, выведенные наконец из своего безграничного терпения грубостью верной служанки, отказали ей от дома и она нашла себе другое, несравненно более выгодное и спокойное место, она не выдержала и месяца, вернулась и повалилась в

ноги «муме» и «коршуну», чтобы те опять ее к себе взяли.

Когда «му́ма», дожив, впрочем, лет до семидесяти, умерла, Настасьюшка оказалась неутешной и вот до сих пор ее оплакивала. В «коршуне» она души не чаяла и хотя ругалась постоянно, но ходила за стариком, уже заметно дряхлевшим и все более и более нуждавшемся в ее уходе, как за ребенком.

Сильно любила она и детей Прыгунова, «разлетевшихся птенчиков», как называла она их в редкие минуты сердечного умиления. Но настоящей ее любимицей, с первого дня, с первой минуты, была красавица Груня. И теперь Настасьюшка была хотя и бессознательно, но глубоко счастлива тем, что Груня приютилась под кровлей «рухляди». Она с восторгом пробиралась в ее комнату, благоговейно прикасалась к ее вещам, все приводила в порядок. Придумывала, чтобы угостить ее, новые кушанья, пуская в ход все свои способности к изготовлению разных пирожков и пирогов.

Кондрат Кузьмич, любивший хорошо покусать, уже сделал справедливое замечание,

что Настасьюшка никогда так не отличалась. Он только не подавал ей никакого вида о своем удовольствии, не без основания полагая, что в таком случае она непременно взбеленится и нарочно станет все портить.

Несмотря, однако, на заботу о том, чтобы ничто в кухне не пригорело и не перестояло, Настасьюшка иногда не удерживалась и покидала на минутку плиту, побуждаемая потребностью хоть одним глазком взглянуть на Груню. Она взглядывала иногда просто в щелку и возвращалась к плите. Вместе с этим она неустанно ворчала на Груню, говорила с ней вообще мало, а когда говорила, то своим неизменным грубым тоном. Она следила за нею, глаз не спуская, и удивлялась. Груня всегда была для нее загадкой.

«Ну что ж это такое — приехала, ну хорошо; говорит, по делам приехала... где же эти дела?.. Засела дома и ни с места!..»

Появление Барбасова ее очень смутило. Он ей совсем не понравился, и она твердо решила не подпускать больше этого «мордастого» к Аграфене. «Покажись только! Так, отец мой, отделаю, что и своих не узнаешь!..»

Но Барбасов пока не показывался, а показывался другой молодчик, Владимир Сергеевич, которого уже нельзя было не «подпустить». Между тем Настасьюшка сразу почувствовала, что тут начинается что-то неладное. Началось сразу, вдруг, и с первого дня как он появился, она, то есть Груня, не в себе...

Настасьюшка следила еще ревнивее и вдруг заметила в Груне новую перемену. Теперь Груня хотя и продолжала почти совсем не выходить из дому, но с утра наряжалась, не ходила, как в первые дни, в «распашонке». Теперь она не менее часа проводила перед зеркалом, старательно и к лицу причесывая свои великолепные черные волосы, и выходила в маленькую гостиную такой красавицей и такой притом важной, — ну вот ровно царица, ровно настоящая царица!.. И будто ждет она кого-то, на часы часто смотрит, на месте ей не сидится. Кого ждет? «Его», для него наряжается!.. Зачем же в первые дни этого не делала?.. Чудная...

Таким образом прошел день, другой, третий. Груня выказывала все признаки нетерпения, но продолжала рядиться и ждать.

Наконец на четвертый день, после завтрака, часу в третьем, перед «рухлядью» остановилась карета. Настасьюшка, в это время смевавшая пыль в гостиной и что-то ворчливо говорившая Груне, тоскливо сидевшей с книжкой в руках, заметила, как Груня вдруг вздрогнула, поднялась с места и, совсем изменяясь в лице, взглянула в окно. Настасьюшка взглянула тоже. Из кареты вышел Владимир Сергеевич и не один, а в сопровождении высокой, полной девушки.

— Горбатовская барышня, Марья Сергеевна! — всполошившись, объявила Настасьюшка и поспешила отворять.

Через минуту перед Груней был Владимир с сестрой. Владимир взглянул на Груню и остановился.

Это была не она, совсем не она. Он не узнавал ее. Вместо прелестной женщины, живой, простой и естественной в каждом движении, в каждом слове, перед ним стояла одетая по последней моде, с большим вкусом, изяществом и, очевидно, обдуманной во всех мельчайших подробностях роскошной простотой, какая-то величественная светская дама. От

нее веяло холодом, недоступностью. И в то же время она была дивно хороша с этим застывшим, будто из мрамора выточенным лицом, с великолепными, как-то жутко, но холодно мерцающими глазами.

Маша Горбатова, румяная и веселая, быстро вошедшая в комнату со своей добродушной улыбкой, остановилась перед нею совсем растерянная, как бы в нерешительности. Она даже по-детски немного рот раскрыла от изумления, невольного восхищения и неловкости, взглянув на эту Груню, которую представляла себе за минуту совсем, совсем другою.

Но Груня начала первая. Она улыбнулась гостю холодной любезной улыбкой, грациозно склонила голову и проговорила:

— Марья Сергеевна, я глубоко вам благодарна за ваше доброе желание меня видеть и я, право, очень счастлива, что могу познакомиться с вами.

Они пожали друг другу руки. Затем Груня так же спокойно и любезно поздоровалась с Владимиром и плавным движением пригласила их сесть. Маша уже совсем покраснела,

покраснели даже ее уши, даже лоб. Она, никогда не смущавшаяся и не ходившая в карман за словом, теперь вдруг не знала, что сказать.

Владимир казался тоже совсем растерянным. Они оба, подъезжая к старому домику, думали о том, как бы так сделать, чтобы вывести Груню из смущения, чтобы все сразу сошло хорошо. А между тем теперь из них одна только Груня была, по-видимому, нисколько не смущена. Она делала вид, что не замечает их растерянности, что не замечает молчания Маши. Она говорила своим певучим голосом одну за другой незначачие, но подходящие к обстоятельствам фразы. Затем вдруг, как-то незаметно, как бы невольно, перешла на французский язык, будто это было ей легче. Произношение ее было безукоризненно, обороты фраз изысканны и изящны.

Мало-помалу она заставила Машу разговариваться по поводу заграничных путешествий. Затем перевела разговор на театры, на музыку. Сделала несколько серьезных замечаний, затем, наконец, дошла до Вагнера.

— Вы, конечно, поклоняетесь этой музыке будущего, Марья Сергеевна? — спросила она.

Маша отвечала:

— Как вам сказать, я еще сама не знаю; впрочем, во всяком случае, я никакого энтузиазма не испытываю... конечно...

Груня ее перебила:

— Я вот решила этот вопрос: я Вагнера не понимаю. *Que voulez vous, c'est un défaut, c'est un manque de développement... que sais-je!..* [25] Но не могу же восхищаться, потому что все восхищаются... Я пробовала изучать его и никогда не могла увлечься, никогда не решалась исполнять Вагнера публично. Может быть, я плохая артистка, недостойная этого звания, но я, по крайней мере, искренна и не подчиняюсь моде... Уверяю вас, что в числе поклонников и поклонниц Вагнера большинство притворяются, я много раз убеждалась в этом и многих даже довела до признания — не понимают, не чувствуют, но боятся показаться отсталыми в деле музыкального развития; иногда даже это ужасно смешно... Впрочем, так ведь не в одной музыке, а и во всем...

Ее глаза вспыхнули, лицо оживилось, она уже совсем было сбросила с себя холодную маску, но вдруг очнулась. Миг — и оживле-

ния как не бывало. Она снова превратилась в grande dame [26] и заговорила уже совсем иным тоном.

Маша, только что начавшая себя чувствовать более свободной, опять притихла. Владимир сидел как на иголках.

Разговор то и дело готов был оборваться. Но Груня поддерживала каждый раз.

Так прошло около часу.

Маша изумлялась красоте своей собеседницы, внимательно ее слушала, чтобы вовремя и впопад ответить, боясь, может быть, в первый раз в жизни, показаться глупой, неловкой перед этой любезной и изящной, так свободно и спокойно чувствовавшей себя женщиной. В доброй Маше поднималось даже раздражение. Но между тем она не могла ни к чему придаться.

Груня своими чудными глазами глядела на нее бодро и любезно, почти ласково; своим тоном, каждым движением, иногда прорывавшимися в разговоре, она выказывала ей не только любезность, но и известную долю почтительности. А Маше становилось все холоднее и холоднее.

Готовясь к этому свиданию, она думала, что поступает очень хорошо. Она желала поддержать, ободрить Груню, выказать ей теплое расположение. Она немного восхищалась ею, немного ее жалела, готова была даже полюбить ее. Но во всяком случае, хотя и бессознательно, считала свои будущие отношения к ней — как высшая к низшей. Теперь же она казалась себе девочкой перед этой великолепной красавицей, чем-то вроде робкой провинциалки перед важной дамой, которой ее представляют.

Она, Марья Сергеевна Горбатова, светская, привыкшая к обществу девушка — и перед Груней, их бывшей дворовой, крепостной, перед маленькой поджигательницей! Эта Груня известная артистка, но все же Маша не могла очнуться от неожиданности и наконец почувствовала себя так неловко, что, взглянув на брата, проговорила:

— Однако нам пора!

Груня проводила гостей до крыльца, еще раз благодарила Машу, сказала спокойно несколько любезных фраз. А когда Владимир изумленно в последний раз взглянул на нее,

она ответила ему едва заметной, загадочной улыбкой и тихо сказала:

— До свиданья!

Карета тронулась. В течение нескольких минут брат и сестра не говорили друг другу ни слова. Они все еще не могли прийти в себя. Наконец Маша сказала:

— Вот уж я никак не думала, что она такая!

Владимир ничего не отвечал. Она продолжала:

— Красота необыкновенная, но ведь она лед... она, должно быть, горда ужасно... и потом... потом...

Маша улыбнулась.

— Знаешь, — добавила она, — мне жаль было, что на моем месте не Софи. Эта Груня дала бы ей хороший урок, доказала бы ей, что не нужно родиться принцессой для того, чтобы сыграть роль принцессы с таким искусством, которого Софи вряд ли когда достигнет. Но ведь ты представлял мне ее совсем другою!.. Если бы я знала, что она такая, я бы к ней не поехала...

— Да она вовсе не такая! — воскликнул Владимир. — Уверяю тебя, что она не такая. Я

ее не узнал сегодня.

— Так, значит, она играла роль? Для меня играла... зачем?

И Маша уже совсем добродушно рассмеялась.

Владимир сидел нахмурясь. Он сам себя спрашивал: зачем ей понадобилась эта роль? Он видел ее теперь в новом свете, и она ему в этом новом свете не нравилась, ему тяжело было ее такую видеть. Ему так хотелось, чтобы во время этого свидания Груня и Маша сошлись, почувствовали влечение друг к другу. Он знал, что Маша на это была готова. Он был уверен, что Груня обворожит ее, а она оттолкнула.

И он не мог не сознавать, что она, хоть и тонко, хоть и ловко, так что ни к чему нельзя было придаться, но все же посмеялась над его сестрой. За что? Что могла она иметь против Маши?..

Все это его возмущало и тревожило.

Он готов был негодовать. Но ведь уж он любил Груню. Он решил вернуться к ней в тот же день вечером и разобраться, что все это значит, зачем ей понадобилась эта, с их сто-

роны, ничем не вызванная, обида...

XX. РОЗИНА

Кондрат Кузьмич вернулся к обеду уставший (он теперь часто уставал) и не в духе, что всегда с ним бывало, когда он чувствовал себя сильно проголодавшимся. Он буркнул Настасьюшке:

— Обедать! Живо!

— Раньше как подам — готово не будет! — спокойно ответила она.

Старик прошел к себе в спальню, разоблачился, закутался в халат. Затем он уселся на свое обычное место перед накрытым столом в столовой и сидел, свирепо поводя глазами, время от времени стуча по столу то ножом, то вилок и вскрикивая:

— Эй! Да скорей же!

Настасьюшка отлично слышала эти окрики «коршуна», но не обращала на них никакого внимания и ничуть не торопилась.

Наконец она внесла миску с супом, затем блюдо с пышными, шипящими пирожками. Кондрат Кузьмич облизнулся.

Вышла Груня, но уже не в утреннем, рос-

кошном, нарядном костюме, а в теплом, сделанном из турецкой шали, капоте, отороченном темно-красным шелком. Капот этот, очень красивый и очень к ней шедший, был любимой ее одеждой всю последнюю неделю, с тех пор как она немного простудилась. Ей было в нем так тепло, спокойно и уютно.

Кондрат Кузьмич взглянул на нее и проговорил:

— Ну что, здорова?

Но ответа ее он не слышал: во-первых, потому, что был глух, а во-вторых, — в настоящую минуту все внимание его сосредоточилось на миске с супом и блюде с пирожками. Он мрачно принялся есть и, только почувствовав, что червяк заморен, вздохнул свободно, пропустил вторую рюмочку очищенной, затем залпом выпил стакан квасу, и лицо его прояснилось.

— Нет, не могу больше! — проговорил он. — Каждый день в такую даль, туда да обратно, а мостовая у нас в Белокаменной что ни год — то хуже!.. На Мясницкой — это сущая каторга!.. Что делать, стар стал, совсем стар!.. А у тебя, Грунюшка, гости были? Марья

Сергеевна... прекрасная девица, добрая и разумная!.. Ты это ценить должна...

— Я очень ценю, — спокойно проговорила Груня.

— А? Что?.. Что ты сказала? — он подставил ей ухо.

— Я очень ценю, — повторила она.

— То-то же...

Настасьюшка внесла блюдо с телятиной, и он замолчал, поглощенный вопросом: в меру ли зажарена и есть ли почка, до которой он был большой охотник.

Затем до конца обеда разговор не возобновлялся.

Насытившись, Кондрат Кузьмич прошел к себе, но не с тем, чтобы заснуть — он никогда не спал после обеда, — а с тем чтобы побеседовать с самим собою. В прежние времена он обыкновенно после обеда беседовал с Олимпиадой Петровной, теперь же, после ее смерти, он оставался наедине с собою. И это именно было время воспоминаний, воспоминаний не мучительных, без горя, без отчаяния, но тихих и грустных, которые он всегда завершал мысленной молитвой, дававшей ему глу-

бокою уверенность в том, что разлука только временна и что скоро настанет радостное свидание...

Он сильно не любил, когда его тревожили в это время, и Настасьюшка даже никогда не осмеливалась подходить к двери, пока он сам ее не кликнет или не выйдет.

Кондрат Кузьмич поправил лампадку перед образом, грустно опустился в старое кресло и сидел в полусумраке, склонив седую, всклокоченную голову, думая свои обычные думы. Старинные часы постукивали на стене, в углу по временам скреблась мышь. Минуты проходили за минутами, все было тихо, с улицы иногда доносился стук проезжавшего экипажа, крик извозчика или пьяного мастерового раздавался — и стихал.

Кондрат Кузьмич ничего этого не слышал. Но вдруг — что это?..

Он поднял голову. Как ни был он погружен в себя, как ни был глух, он не мог не услышать этих близко зазвучавших аккордов.

«А! Груня поиграть на фортепьянах вздумала! Ну что же, пусть, давно пора — пусть...»

Он снова задумался.

Действительно, это играла Груня. Она прошла после обеда в зальцу, побродила в ней, побродила, нахмуря свои черные брови. Потом вдруг зажгла две свечи в старых хрустальных шандалах, подошла к старинному, с детства знакомому ей фортепьяно, открыла крышку, пододвинула стул... Тонкие пальцы ее пробежали по клавишам. Расстроенное, разбитое, давным-давно не открывавшееся фортепьяно издало несколько странные звуки. Груня даже с досадой стукнула ногой, хотела уже бросить, но не могла и перебирала клавиши, стараясь вызвать из них что-нибудь гармоническое, начиная фантазировать, сначала нерешительно, робко, но затем все смелее и смелее.

И вдруг, неожиданно для себя самой, она запела, запела без слов, сама не зная что. Ее бархатный сильный и свежий голос наполнил всю низенькую комнату, переполнил ее чрезмерно и рвался наружу, но ему не было простора.

Она пела, забывшись, уйдя далеко-далеко от окружавшей ее обстановки, не зная, где она. Она пела, как давно не приходилось ей

петь, с восторгом и страстью, с трепетом и тоскою. Она влагала в эти неведомо откуда бравшиеся звуки всю свою душу.

И не видела она, что Кондрат Кузьмич уже несколько раз входил в комнату, что он настежь отворил все двери и что Настасьюшка стоит у притолки, будто окаменевшая и время от времени утирает рукавом глаза. Не слышала она, как в передней раздался звонок, кто-то вошел и остановился за нею...

Она все пела, и все, что проносилось перед ее мысленными взорами, все, что чувствовалось и вспоминалось, отрывки прошедшего, целые картины еще не совсем осознанного, смутного настоящего, неясные грезы будущего — все сказывалось в этих звуках.

Не чувствовала она, как то и дело слезы, одна за другою, скатываются из глаз ее на щеки, как трепет вдохновения пробегает по ее жилам, как высоко поднимается грудь ее, как то усиленно бьется, то совсем замирает ее сердце.

Наконец она сказала все, что звучало в ней, и остановилась.

— Боже мой, да как же вы могли говорить,

что потеряли голос, Груня?.. Груня!.. — слышала она будто и бесконечно далеко, и бесконечно близко.

Она вздрогнула, оглянулась — перед нею Владимир! Мигом все исчезло, весь этот чудный, волшебный мир, наполнявший ее еще за минуту. Она сидела с упавшими на колени руками, прямо глядя перед собою, будто всматриваясь во что-то.

Наконец она проговорила:

— Да, пожалуй, что голос мой и вернулся...

— Наверно, он никогда и не пропадал, — перебил ее Владимир, все еще не в силах будучи прийти в себя от ее чудного пения.

— Нет, я совсем не могла петь; я ведь с лучшими докторами советовалась... Возьму несколько первых нот — и вдруг сожмет горло, и не могу, совсем не могу! Ведь меня всячески лечили — ничего не помогало; впрочем, доктора сказали, что может само пройти вдруг, что это нервное... Ну, вот и прошло!.. — добавила она, и все лицо ее засияло радостью.

— Так что ж теперь, — говорил Владимир, — бросите вы мысль о Малом театре? Я не знаю, какая вы актриса, и, конечно, готов

думать, что превосходная, но ведь прежде всего вы певица... у вас репутация и имя... оставайтесь певицей и не теряйте времени... Вы непременно должны дать концерт, успех будет огромный, наверно... и тогда, тогда увидите, что надо делать...

— Да... да, концерт, — задумчиво повторила она, — да, вы правы. А вдруг это только так сегодня, а завтра опять это сжиманье горла? Вдруг я уж и теперь, вот сейчас, не могу петь?

Она повернулась к фортепьяно, ударила по клавишам. Диссонанс раздражительно подействовал на ее тонкий слух.

— Кондрат Кузьмич! — обратилась она к входившему в зальцу Прыгунову, — ведь это ужасно, совсем нельзя играть на старой Степаниде!

И, смеясь, она объяснила Владимиру:

— Это уже давно-давно в детстве мы это фортепьяно старой Степанидой называли...

— Теперь совсем, совсем уж, Кондрат Кузьмич, играть нельзя! — крикнула она, так как старик не расслышал.

— Так что же, матушка, новый рояль достать нетрудно, я тебе не перечу, я очень рад,

рад... Ты знаешь, что я и до музыки и до пенья охотник... Давно вот только не слышал, а теперь ты меня порадовала... Хорошо ты поешь, хорошо!

Он подошел к Груне и потрепал ее по плечу.

— А если не могу я больше петь?! — вернулась она к своей мысли, и опять ее пальцы пробежали по клавишам...

*...Una voce...
poco fa... [27]*

Весь маленький домик снова наполнился звуками, чарующими и игривыми...

Кондрат Кузьмич стоял, улыбаясь и набилая нос табаком. Владимир, глаз не спуская, глядел на Груню.

Наконец она кончила.

— Что? Не можете?.. Розина, да какая еще Розина! — воскликнул он.

Она улыбнулась... Лицо ее сияло, глаза горели, и вдруг, не отдавая себя отчета, она стала разыгрывать роль Розины. Она подбежала к Кондрату Кузьмичу.

— Вы — дон Бартоло, слышите, Кондрат

Кузьмич, дон Бартоло... Садитесь тут... Так вот...

Кондрат Кузьмич все продолжал улыбаться, утирался своим клетчатым платком и послушно сел туда, куда посадила его Груня.

— Ну, а вы, Владимир Сергеевич, теперь Фигаро... Я начинаю...

Груня преобразилась, превратилась в шаловливую, наивную и хитрую девочку, совсем-совсем ушла в свою роль, сделалась настоящей Розиной.

Вот она заметила у двери Настасьюшку и, как та ни упиралась и ни ворчала, вытащила ее на середину комнаты, затормошила ее...

С четверть часа продолжалась эта импровизированная, странная репетиция. Наконец Розина засмеялась, сказала «довольно!» и снова сделалась Груней.

— Могу, могу петь! — повторяла она. — А вдруг это только на сегодня? Право, я боюсь радоваться, боюсь надеяться. Теперь я каждый день стану упражняться, недели две, три. Ведь во всяком случае, для концерта рано, сезон еще не начался. Если через три недели не вернется это ужасное сжимание горла — то-

гда рискну!..

— Хороший рояль завтра же здесь будет, — сказал Владимир.

— Зачем рояль, здесь негде и поставить, а пианино, маленькое только, хорошее достаньте, голубчик, достаньте, пожалуйста... Со Степанидой совсем нельзя...

Забывшись, радуясь, как ребенок, она вдруг взяла Владимира под руку и стала ходить с ним по зальце.

— Да, а через три недели сделаю я визит Николаю Григорьевичу Рубинштейну, он меня вспомнит, когда-то он хвалил меня... Так вы думаете, что Малый театр надо побоку? — вдруг сказала она с каким-то милым, мальчишеским жестом и заглядывая Владимиру в глаза.

— Конечно, побоку!

В это время Настасьюшка пронесла в гостиную лампу, а Кондрат Кузьмич встал, крикнул и ушел к себе.

Владимир и Груня остались вдвоем и долго еще говорили о том, что надо ей теперь делать. Было решено, что если голос не пропал, если нервная болезнь, действительно, про-

шла, она даст один, два, три концерта здесь, в Москве, а потом поедет в Петербург...

Наконец все было переговорено, радость и оживление Груни приутихли, и вместе с этим и Володя очнулся от неожиданности только что происшедшего. Он сидел теперь молча, задумавшись, с лицом серьезным, почти грустным.

Груня взглянула на него и сказала:

— Что с вами? Отчего вы вдруг стали такой?

Он пристально посмотрел ей в глаза и ответил:

— Я вернулся к вам сегодня для того, чтобы спросить вас, что такое значил этот странный прием, который вы сделали мне и сестре?

Она на мгновение смутилась. Но вот по ее лицу мелькнуло какое-то странное и почти злое выражение.

— Какой прием? О чем вы говорите? Я не понимаю... Разве я сделала какую-нибудь неловкость? Вы меня пугаете...

— Не говорите со мной таким тоном, вы очень хорошо знаете, что я хочу сказать.

— Не знаю...

— Нет, хорошо знаете.

Его голос поднялся, в нем прозвучала строгая нота, и он глядел на Груню твердо и пристально.

— Да что же я, наконец, такое сделала? Я была очень благодарна Марье Сергеевне и, насколько умею, старалась показать это.

— Это очень, очень дурно с вашей стороны, — сказал он. — Зачем вы приняли этот тон, неестественный и странный? Зачем вы были не собою? Зачем вам понадобилась эта роль?

Она ничего не ответила, глаза ее опустились.

— Груня, — говорил он, — я вовсе не хочу проповедовать вам христианские добродетели, но мне очень тяжело видеть вас не такою, какой вы мне показались, какой я вас считал...

— Вы меня совсем не знаете, Владимир Сергеевич, если вы, по доброте вашей, сочли меня хорошей, то ошиблись — вот и все.

— Это совсем, совсем не то!.. — раздражительно воскликнул он. — Ни меня, ни мою сестру, — она приехала к вам с самыми луч-

шими намерениями — вы не должны были обижать — не за что, Груня.

Слезинка скатилась из-под ее опущенных ресниц.

— Чего же вы от меня хотите? — как-то робко и нерешительно прошептала она.

— Объясните, зачем это вам нужно было, что это значит?

— Я не могу объяснить! — мучительно проговорила она.

И вдруг подняла на него такой странный, молящий, грустный и нежный взгляд, что его раздражение мгновенно упало и он почувствовал к ней безумную любовь и жалость.

— Не могу объяснить, — повторила она, — на меня такое находит, и я уже не владею собою... Да оно и лучше: между мною и Марьей Сергеевной нет и не может быть ничего общего... Что она добрая и прекрасная девушка — это я поняла, увидела с первого взгляда... Почему вы знаете, может быть, я полюбила ее сегодня!.. Да, я вот ее полюбила... я долго, долго о ней думала... она так мне и представляется... Какие у нее славные глаза!.. Мне так хотелось поцеловать ее... но нам незачем быть

знакомыми... и почему знать, может быть, сама она когда-нибудь раскаялась бы в своей доброте относительно меня... Да, так лучше, лучше!.. Да и вы, Владимир Сергеевич, оставьте меня, все это напрасно... напрасно мы встретились с вами... оставьте меня, прошу вас...

— Груня, ведь вы знаете, что я не могу вас оставить!.. — страстно прошептал он, схватил ее руку и прижал к губам своим.

Она не отняла руки. Она вся вздрогнула, из глаз ее так и капали тихие слезы.

В зальце послышались тяжелые шаги Кондрата Кузьмича.

XXI. ОПАСНОСТЬ

Кондрат Кузьмич имел теперь обычай ежедневно перед отходом ко сну отправляться в кухню. К этому времени, то есть к исходу десятого часа, Настасьюшка, справив все дела, прибрав и вычистив посуду, ожидала его, сидя перед наплавывавшей сальной свечкой за большим кухонным столом, старым-престарым, давным-давно носившим на себе следы зарубин, но всегда тщательно вымытым.

При входе Кондрата Кузьмича она снимала нагар со свечи, подставляла ему стул, а сама становилась возле него с замасленной хозяйской книжкой в руках.

Кондрат Кузьмич усаживался, медленно набивал в обе ноздри табак, долго и громко сморкался, затем надевал на кончик носа свои круглые серебряные очки и приговаривал:

— Ну!

Настасьюшка подавала ему книжку и сдачу с полученных накануне денег. Проверив счета и выслушав объяснения, почему, например, яйца дороже, чем на прошлой неде-

ле, он неизменно спрашивал:

— Ну, а что же на завтра ты будешь готовить?

И получал неизменный ответ:

— Что прикажете.

— Ах, мать моя, что прикажу, что прикажу; а ты сама разве придумать не можешь?

Настасьюшка начинала придумывать. Кондрат Кузьмич в большинстве случаев соглашался с ее мнением и одобрял ее меню.

Обед заказан, деньги выданы, но он не уходил. Начинался, так сказать, второй период вечернего заседания. Настасьюшка приступала к докладу различных новостей, происшествий дня и слухов, носившихся в квартале. Она работала весь день в кухне, к ней редко кто заглядывал из посторонних, но запас ее сведений, и притом самых свежих, никогда не истощался. Она получала их по утрам, отправляясь закупать провизию и неизбежно заходя в свой клуб, то есть овощную лавку, или «авошенную», как она выражалась.

Кондрат Кузьмич, дожив теперь восьмой десяток и очутившись в одиночестве, значительно изменился. Прежде, бывало, ему дела

никакого не было до всех этих кухонных сплетен, и он частенько накидывался на покойницу Олимпиаду Петровну за ее многословие и праздное любопытство; теперь же, сам того не замечая, он впал в тот же грех и хотя, по-видимому, и не вызывал докладов Настасьюшки, и сам ее никогда ни о чем не спрашивал, но слушал ее внимательно.

Эти доклады незаметно превратились для него просто в ежедневную потребность. Потребность эта у них была обоюдная. Она привыкла докладывать «муме», «мумы» не стало — она докладывала «коршуну». Она говорила по своему обыкновению очень скоро, часто переходя в таинственный тон и понижала голос, забывая про глухоту Кондрата Кузьмича.

Он ничего не слышал и то и дело останавливал ее вопросительным и суровым: «А?», в котором, однако, слышалось большое любопытство и нетерпение.

В течение получаса, а иногда и больше из соседней комнаты только и можно было слышать:

— Шу... шу... шу...

— А?

И опять:

— Шу... шу... шу...

— А?

На этот раз, решив вопрос о завтрашнем обеде, Настасьюшка тоже приступила к беседе; но она забыла, по-видимому, все новости квартала, ее мысли были заняты другим.

— Никак барышня наша на боковую уже отправилась? Что-то не слышать ее, — спросила она «коршуна».

Он расслышал и ответил:

— Простилась, ушла, заперлась...

— Ну что же вы скажете, батюшка Кондрат Кузьмич, — воскликнула Настасьюшка, наклоняясь к самому его уху, — каково Грунюшка поет?.. Ведь соловей, чистый соловей... В жизни ничего такого не слыхала. Ажно до слез...

— Да, поет, хорошо поет! — протянул Кондрат Кузьмич.

— И откуда только голос такой берется? Помните, бывало, пела она, хорошо пела, а все же не так... куда!.. А ведь это ну ровно как и не человек; а уж громко-то, громко, ажно

стекла звенели... А комедь как стала представлять — уморушка! На себя совсем непохожа, чисто как в киятре...

— А?

— Чисто, говорю, как в киятре! — прокричала Настасьюшка.

— Так ведь она же и есть актриса! — отозвался Кондрат Кузьмич не без некоторой мрачности.

— Актриса... Грунюшка? — протянула Настасьюшка и покачала головой. — Да я не к тому. А вот что, батюшка Кондрат Кузьмич, что это барин Горбатовский, Владимир Сергеевич, зачастил так?

— А?

— Что это барин, говорю, Горбатовский зачастил так?

Кондрат Кузьмич насупился и молчал.

— Ведь уже заметно становится, — продолжала Настасьюшка, — и нехорошо... долго ли до греха... и у нас в доме.

— А?

— Долго ли, говорю, до греха, и у нас в доме!

— Молчи, дура, не твое это дело! — бурк-

нул Кондрат Кузьмич, забрал со стола свой клетчатый платок и табакерку и, совсем сердитый, вышел из кухни.

— То-то — не твое дело! — проговорила Настасьюшка и долго стояла в раздумье, качая головой.

А Кондрат Кузьмич прошел к себе в спальню, опустился было на колени перед образом, хотел совершить вечернюю молитву, но вдруг поднялся с колен и сел в кресло. Он не мог молиться; если бы кто его увидел, то просто бы испугался — такое у него было свирепое и страшное лицо. Казалось, что седые кусты на бородавках поднялись и неестественно топорщились.

Настасьюшка сказала ему именно то, о чем он сам тревожно думал весь вечер. Он очень был расположен к Владимиру Горбатову и считал его прекрасным и благоразумным молодым человеком. Видеть его у себя в доме он принимал за честь и очень ценил его редкие посещения. Со времени смерти Бориса Сергеевича, занимаясь вместе с Владимиром семейными делами, он почувствовал еще большую симпатию к молодому человеку, на-

ходя в нем большое сходство с покойным, которого чрезвычайно почитал.

Он ничего не имел против того, чтобы Владимир встретился у него в доме с Груней, и даже почти обрадовался, когда тот выразил желание ее увидеть. Он, конечно, сразу заметил, что Владимир приезжает теперь для Груни, что его предлоги шиты белыми нитками. Но до сегодняшнего дня все же он этому не придавал большого значения. Сегодня же ведь вот Владимир два раза приехал с Басманной. Но и это бы ничего.

Дело в том, что Кондрат Кузьмич сегодня прочел многое и в лице Владимира, и в лице Груни, а главное — он увидел из залы своими старыми глазами Владимира, целующего руку Груни. И когда он вошел, они оба были, видимо, смущены, а у Груни даже глаза были заплаканы...

Кондрат Кузьмич не подал им виду, даже оставил их и ушел к себе, но он был сильно встревожен, смущен и негодовал.

Да, Настасьюшка сказала именно так, как и он говорил себе:

«Нехорошо, и у меня в доме! Груня — ак-

триса, певица, примадонна известна в Европе, красавица... И покойник Борис Сергеевич... туда же — одобрял!.. Нет, мы с тобою, Олимпиада Петровна, видно, правы были! Загубила себя девка, совсем загубила... В эти-то годы бог ведь знает, что с нею творилось, может, и впрямь пропащая, дива никакого нет... Но в доме моем ничего такого не могу позволить. А как тут не позволишь?» — сердито прервал он себя.

Он понимал, что не может же отказать Владимиру от дома или хотя бы даже просить его приезжать пореже. Не может он тоже прямо заговорить об этом с Груней. Он знал ее характер. Может, и в мыслях у них ничего еще нет, так она нарочно какую-нибудь глупость сделает. А главное было то, что он любил эту загубившую себя Груню, любил несравненно больше, чем сам думал, и ему было бесконечно жаль ее.

«А что, если и впрямь они крепко слюбятся? — вдруг мелькнуло у него в мыслях. — Груня ведь, она такая красавица, ведь такой красавицы я во всю мою жизнь не видывал! Вскружит она совсем голову Владимиру, возь-

мет он да на ней и женится... Разве такого не бывает?»

«Нет, — решил он, — это не может быть, да и не должно быть. Опять-таки и этого я допустить не смею...»

Он решился следить хорошенько и, если что еще заметит, осторожно, с подготовкой, как он мысленно выражался, любовно поговорить с Груней. Но от этого решения ему не стало легче. Он едва нашел в себе силы настолько подкрепить дух свой, чтобы иметь возможность помолиться без соблазна. В его горячую молитву то и дело врывались совсем неподходящие мысли.

На следующий день, вернувшись от обедни, Кондрат Кузьмич нашел у себя в доме рабочих, принесших пианино. Владимир был тут же.

Старую Степаниду перетащили с великим трудом на чердак, так как места ей в маленьких, загроможденных мебелью комнатах не оказалось. В бедной зальце, под древней гравюрой, изображавшей, хотя и довольно неудобопонятно, что-то вроде «Превращения жены Лота в соляной столп», теперь красо-

вался прелестный инструмент. Настройщик с глубокомысленным видом немецкого философа приводил его в порядок.

Владимир и Груня о чем-то оживленно беседовали в гостиной.

Кондрат Кузьмич, все еще пахнувший церковным ладаном, с просфорой в руке, любезно поздоровался с гостем, спросил нет ли чего нового, не получено ли от папеньки давно ожидаемое письмо из-за границы. Он услышал в ответ, что нет еще, как-то помялся на месте, потом благоговейно положил просфору на стол, вынул табакерку, набил себе нос, нахмурился, взглянул на молодых людей тревожным взглядом и ушел к себе.

— Что это Кондрат Кузьмич такой странный сегодня? — спросил Владимир.

— Да! — нерешительно отозвалась Груня.

И им почему-то стало даже как бы неловко.

Но вот настройщик окончил свое дело. Груня подошла к пианино, пробежала пальцами по клавишам, прислушалась.

— Чудесно! — сказала она. — Это самой последней конструкции... я уже знаю такое пиано-

нино.

Владимир придвинул ей стул. Мягкие, будто бархатные звуки огласили зальцу, затем зазвенели и рассыпались колокольчиками, то поднимаясь, обгоняя друг друга, то замирая и доходя до едва слышного шепота.

— Что-нибудь старое... знакомое, милое! — произнес Владимир, останавливаясь за стулом Груни, невольно склоняясь над нею, чувствуя неопределенный легкий запах ее волос и замирая от охватившего его вдруг порыва безумной страсти.

*Для тебя в тиши прохладной
Льетса мой напев...*

вырвались из груди Груни звуки старой шубертовской серенады.

Отчего она именно ее запела?

Ей вспомнилась озаренная летним солнцем огромная терраса Знаменского дома...

Груня, только что прибитая в девичьей замарашка, вся в слезах, с бессильной злобой и мукой в сердце, притаилась в кустах сирени у этой террасы.

И вдруг она услышала: звучный, за душу

хватаящий голос пел:

*Для тебя в тиши прохладной
Льется мой напев...*

Это пела молодая красавица барыня, мачеха Володи.

Груня слушала в каком-то опьянении восторга, а когда чудные звуки замерли, она, как безумная, кинулась в самую глубь парка, бежала долго, наконец остановилась в чаще — и сама запела, повторяя только что слышанное ею. Она не пропустила ни одной ноты... она все запомнила, ее детский чистый голос выводил те же самые сладкие звуки, и мучительное блаженство наполняло ее сердце...

Это была первая ее песня. Поэтому она невольно и теперь ее запела в ответ на просьбу Владимира.

*Приходи, мой друг отрадный,
Под навес дерев...*

Груня вложила в эту серенаду столько огня, сколько нежности, столько гордой всепобеждающей силы любви... В этих влюбленных звуках была такая власть, что Владимир потерял совсем сознание действительности.

Он жадно впитывал их в себя, эти звуки... и все ближе и ближе склонялся к Груне...

Кондрат Кузьмич не усидел в своей комнате.

«Ну, что же ты тут поделаешь!» — буркнул он сам себе.

Он прошел в гостиную.

Вдруг Груня прервала свое пение и быстро обернулась. Ее щека чуть не коснулась щеки Владимира.

— Вы думаете, так можно петь? — сказала она и блеснула на него таким раздраженным, почти злым взглядом, что он сразу пришел в себя и смутился, как ребенок.

Кондрат Кузьмич стоял у двери, вытираясь клетчатый платком, и глядел мрачнее ночи.

— Так, значит, голос не пропадает... пианино недурно и сегодня все благополучно, — торопливо и смущенно проговорил Владимир.

Он еще торопливее простился с Груней и хозяином и почти выбежал из домика.

Он был раздражен, недоволен собою, почти бессмысленно повторял себе:

«К чему же все это, к чему?»

И в то же время перед ним неотступно бле-

стели глаза Груни. Он чувствовал запах ее волос, в ушах у него звенели влюбленные звуки серенады. И над всеми его вопросами, недоумениями и терзаниями стояло, заслоняя их всех, невыразимое счастливое ощущение молодой, в первый раз с полной силой вспыхнувшей в нем страсти.

XXII. ГРИША

Вернувшись домой, Владимир в передней услышал от швейцара, что «Григорий Николаевич из Петербурга изволили приехать».

— Где же он? Где?

— А вот сейчас только прошли вниз, в ваши комнаты.

Владимир обрадовался неожиданному приезду двоюродного брата. Их нельзя было никак назвать друзьями; они были совсем различные люди, расстались в детстве, воспитывались под совсем иными впечатлениями. Потом встретились в Петербурге, жили в общем огромном горбатовском доме, но тесной связи между ними все же не образовалось. Они встречались в различных кругах.

Несмотря, однако, на это, Владимир сохра-

нил к двоюродному брату большое расположение, гораздо большее, чем это могло показаться со стороны. Когда они бывали вместе, то спорили редко, но в обращении Владимира с молодым офицером иногда даже замечалось как будто нечто пренебрежительное, как будто он глядел на него свысока и был им недоволен.

Там оно и было в действительности; но это все же ничуть не мешало его искренней привязанности к брату, и если бы Григорию Горбатову в серьезную и трудную минуту понадобилась дружеская помощь, то, конечно, прежде всего он нашел бы ее во Владимире. Если бы с ним случилось какое-нибудь несчастье, Владимир отнесся бы к этому несчастью со всею искренностью и теплотою своего сердца.

Обращение Гриши с Владимиром было гораздо, по-видимому, задушевнее и дружественнее, а между тем он любил его несравненно меньше. По крайней мере, когда Владимир, несколько лет тому назад, уже в Петербурге, был сильно болен, почти умирал, Гриша оставался равнодушным и так как бо-

лезнь была — тиф, то даже не входил к двоюродному брату, боясь заразиться.

Теперь Владимир отыскал приезжего, они обнялись и звонко поцеловались.

Гриша был высокий, стройный молодой человек с густыми, коротко остриженными блестящими черными волосами. Большие темные глаза его были очень красивы, так же как и все лицо, смуглое, с правильными чертами, с несколько большим ртом, верхняя губа которого прикрывалась мягкими, лихо закрученными усами. Блестящий военный мундир еще более выделял эту молодую, выхоленную красоту.

В своей товарищеской компании, в гостиных и на балах Гриша был очень мил, весел и оживлен, производил на всех блестящее впечатление. Он часто добродушно улыбался, глаза его несколько щурились, манеры у него были мягкие, доходившие иногда даже до женственности. За ним в Петербурге сначала установилось название «прелестного мальчика», теперь его считали «милым и симпатичным молодым человеком».

Он отдал значительную дань юности, то

есть по выходе из пажеского корпуса изрядно кутил, но особенных шалостей и проделок за ним не числилось. В полку он был на отличном счету, товарищи его вообще любили, хотя в последнее время некоторые и поговаривали:

— Горбатов... да, конечно, он славный малый... но «мягко стелет...» и далеко не так прост, как кажется...

— Гриша, как же это ты так вдруг?.. Вот уж не ожидал тебя видеть... Надолго ли и зачем?

— Да я только вчера утром решил эту поездку. Во-первых, с поручением от родителей к тебе. Есть некоторые вопросы по дедушкиному наследству. Вот погоди, разберусь — тогда изложу все по порядку. Ну, а затем так, просто прокатиться, то есть не совсем просто, а видишь ли, кое-что нужно было обдумать, а там, в этой канители нет никакой возможности... Я всегда так люблю — знаешь, дорогой в вагоне я никогда ни с кем не разговариваю, лежу с закрытыми глазами — и думаю... это самое лучшее... Дня три-четыре пробуду здесь — и обратно... От Михаила Ивановича тоже поручение есть. У него что-то на новой

фабрике здешней случилось, так просил меня переговорить с управляющим...

Двоюродные братья сели друг перед другом, и несколько секунд продолжалось молчание. Владимир глядел на Гришу. Он никогда не видал у него такого серьезного и сосредоточенного лица.

— О чем же тебе так думать надо? — произнес он с маленькой усмешкой. — Какие такие серьезные дела?.. А это что такое?

Он указал на погоны офицера.

— А это — можешь поздравить, — улыбаясь отвечал тот, — чин только что получил.

— Поздравляю! Да ведь ты не ожидал... и так скоро...

— В этом и дело, никак не ожидал. Трое наших вышли в отставку — вот и производство... и это для меня очень кстати. Видишь ли, Володя, я тоже подумываю об отставке...

— Это к чему? Что за фантазия! Разве ты чем не доволен?

— Всем доволен.

— Ну, так что ж?

— А то, что пора серьезно подумать о будущем. Войны у нас пока, сам знаешь, никакой

не предвидится... Да и хоть бы война! Ведь еще неизвестно, как и что, и что из этого может выйти... Разве можно рассчитывать, чтобы нас двинули? В Красном Селе всю войну просидим... а главное, какая же война?

— Так ты баклуши бить будешь совсем уж?

— Напротив, душа моя, надоело мне бить баклуши — вот что, пора приняться за дело.

— Да за какое, за какое? Я ничего не понимаю!..

— Постой, сейчас поймешь. Я решил выйти в отставку, но единственно затем, чтобы начать новую службу. Этот чин кстати, меня переведут по гражданской надворным советником, год буду числиться при министре, а затем вице-губернаторство... У меня все это очень хорошо и верно обдуманно.

Владимир пожал плечами и усмехнулся.

— Что ж это у тебя такое уж влечение к административной деятельности?

— Не то, что влечение, но это самая прямая дорога.

— Однако ведь ты совсем не подготовлен.

Гриша громко рассмеялся.

— Отчего же я хуже подготовлен, чем дру-

гие? Разве я первый? Еще как управлюсь, увидишь и сам скажешь, что это мое настоящее дело. Но главное, главное, Володя!

Он положил руку на плечо брата.

— Между нами это, я говорю тебе первому: я хочу жениться.

«Совсем как Кокушка!» — невольно подумалось Владимиру.

— Ты шутишь? — сказал он.

— Нисколько!

— На ком же?

— На Лизе...

— Как? На Лизе Бородиной?

— Ну да, что же это тебя изумляет? Что ты тут находишь странного?

Владимир задумался.

— Ничего! — наконец проговорил он. — Только, если ты не шутишь... все это так вдруг, неожиданно, я никогда не думал об этом...

— Да ты разбери! — горячо заговорил Гриша. — Мне двадцать пять лет... Положим, с женитьбой можно было бы подождать... но я нахожу, что терять времени нечего, надо начинать серьезную деятельность, настоящую

службу. И так как я уже сказал тебе, что надеюсь через год, через полтора, ну, скажем, через два, наконец, взять место вице-губернатора, то мне следует быть женатым... Это, по моим соображениям, неизбежно и во многих отношениях меня очень устроит и подвинет. Конечно, я мог бы сделать лучшую партию, но (он таинственно улыбнулся) я остановился на Лизе... она прелестная девушка...

— Да, действительно, прелестная девушка, — сказал Владимир. — Так ты ее любишь?

— Очень люблю! Конечно, не влюблен, ничего такого — это все вздор, особенно в деле женитьбы. Если б был влюблен, так, пожалуй бы, и не женился... Но я ее очень люблю; она такая славная, и именно такая, какую мне нужно будет... Затем она богата, гораздо богаче, чем ты думаешь, — прибавил он, понизив голос.

— Ну, богатство зачем тебе? Слава богу, и своего довольно.

— Не мешает, да и что такое — своего довольно? То, что у меня есть, и будет — ведь это ничто, в сравнении с богатством наших предков.

— Вот чего захотел.

— То-то и есть; значит, Лизино состояние поможет мне устроить мое собственное. Затем Михаил Иванович, хотя он и Бородин, но значит теперь гораздо больше, чем многие сиятельства и светлости... Все эти господа, то есть именно все те господа, которые мне будут нужны, у него в руках, он вот их как держит!.. Он совсем замечательный человек, Михаил Иванович. За это последнее время мы с ним близко сошлись, и я высоко, высоко ценю его.

— А он знает о твоём намерении?

— По правде сказать, он мне и подал эту мысль. *Entre nous — c'est son rêve...* [28] это его мечта... Ну, понимаешь, почему? И он все сделает, все, чтобы поставить Лизу в исключительное положение и чтобы поддержать наше, изрядно-таки, ох, как изрядно, расшатанное состояние...

— Да, все это действительно серьезно! — сказал Владимир. — Но... но я бы все же на твоём месте не женился на Лизе.

— Это почему? Да, да, понимаю, твоя там какая-то физиологическая теория близкого

родства! Это, что ли?

— Хоть бы и это.

— Но, душа моя, все это чистейший вздор... Это вот тамап только этим смущается. Так ведь ее архиереи совсем запугали.

— Да ты мне скажи одно, — перебил его Владимир, — дело это окончательно решено или еще нет?

— Нет еще... но оно будет решено скоро... Теперь главный вопрос в моей отставке и переходе в Министерство внутренних дел. Это нужно решить прежде всего. Дорогой я и это решил.

— Так что же, тебя поздравить можно?

— С этим еще погоди. Может быть, невеста откажет.

Он самодовольно улыбнулся и потом быстро, пристально взглянул на двоюродного брата.

«А ведь он мне завидует!» — подумал он.

Но Владимир ничуть не завидовал, даже больше, он внезапно забыл обо всем этом: перед ним мелькнуло лицо Груни, и огонь пробежал по его жилам.

А тут вдруг Гриша, отошедший в противо-

положный угол комнаты, где стоял его чемодан, крикнул:

— Ах, да, Маша говорит, что тут наша Грунька очутилась!

— Какая Грунька? — со злобой в голосе отозвался Владимир.

— И что ты теперь у нее пропадаешь.

Владимир подошел к нему с побледневшим и злым лицом.

— Послушай, Григорий, — прошептал он, стиснув зубы, — чтобы никакой Груньки больше не было, если ты хоть сколько-нибудь дорожишь нашими отношениями... Слышишь?

Гриша даже попятился и смотрел с изумлением. Но вот он засмеялся.

— Влюблен, совсем, совсем! Ну, прости, голубчик, никогда не буду так говорить... Она красавица, чудно поет... все такое... понимаю... Так вот и ты, наконец, растаял, скромник, монах!.. Ну, что ж, это хорошо!.. Надеюсь, ты мне сегодня же ее и покажешь, твою Травиату?

— Григорий!

Владимир готов был задушить двоюродно-

го брата, он ненавидел его в эту минуту всеми силами души. Гриша притих.

— *Tiens, mais alors c'est sérieux!* [29] — прошептал он.

Он употребил все свои кощачьи уловки, чтобы утишить гнев Владимира — и, наконец, почти этого достиг. Тот успокоился.

— Да ведь пойми же, — говорил Гриша, — я ее совсем не знаю; ведь у меня в памяти только то, давнишнее... Все же ты меня представь ей и увидишь — я буду почтителен. Ну, прости же, я сдурил. Конечно, она должно быть, замечательная женщина, а уж особенно если ты — ты! — так увлекся...

Владимир молча ходил по комнате, Гриша разбирал в чемодане.

«И ведь ничего с этим нельзя сделать, и все они так глядят и иначе глядеть не могут! — мучительно думалось Владимиру. — А может быть, они и правы... правы!..»

В нем поднимались опять тоска, ревность, почти отчаяние.

— А ваша старушка очень больна, — сказал Гриша.

— Какая старушка?

— Клавдия Николаевна! Я хотел ее видеть, сестры говорят, что ночью с нею был какой-то припадок, послали за доктором.

— Когда же?.. Что это такое? Я ничего не знаю... Я рано выехал из дому.

Владимир встревожился и поспешил наверх узнавать, в чем дело.

XXIII. СМЕРТЬ ЗОВЕТ СМЕРТЬ

В небольшой, обтянутой старинным зеленым штофом комнате, которая называлась кабинетом Клавдии Николаевны и где она обыкновенно у вычурного бюро, наполненного разной величины не секретными и секретными ящиками, сводила свои счета, Владимир столкнулся с Машей.

Маша с покрасневшим взволнованным лицом спешила куда-то. Брат остановил ее.

— Что такое с тетей, что?

— Не знаю! — поспешно, растерянно ответила Маша. — Кажется, нехорошо... Сейчас вот Штейнман приехал... он там... прописал... нужно скорей в аптеку послать...

— Мне можно туда?

— Не знаю, должно быть, можно.

Она побежала с рецептом в соседнюю комнату и изо всех сил дернула сонетку.

Владимир остановился у двери спальни Клавдии Николаевны, прислушался. Все тихо. Он осторожно повернул дверную ручку, дверь поддалась, беззвучно отворилась. Он заглянул — полумрак. Драпировки на окнах спущены, широкая кровать прикрыта огромным стеганым одеялом, и если бы на подушке не обрисовывалось обрамленное чепчиком маленькое, прозрачное лицо старушки, то можно было бы подумать, что на кровати никого нет — так худо и плоско было это бедное тело; тяжелое одеяло совсем почти не обрисовывало его форм.

В кресле, у кровати, Владимир разглядел знакомую фигуру доктора Штейнмана. Это был высокий пожилой русский немец, весь выбритый, с прилизанными седоватыми волосами, с добродушным розовым лицом, на котором, когда доктор говорил, мелькало даже совсем детское, наивное выражение.

Доктор Штейнман пользовался репутацией опытного и хорошего медика. Он имел верный взгляд, почти всегда безошибочно опре-

делял болезнь и старался давать больным своим как можно меньше лекарств. Он уже давно внутри себя питал глубокое убеждение, что аптечная кухня, кроме вреда, ничего не приносит, но держал это убеждение в глубокой тайне, и оно сказывалось только в меланхолическом выражении его лица, когда он считал себя обязанным прописывать какое-нибудь сильнодействующее лекарство.

Он обернулся при входе Владимира, осторожно поднялся с кресла, пожал ему руку и сказал:

— Ничего... сядьте!

Владимир подошел к кровати, наклонился над Клавдией Николаевной.

Она открыла глаза, пристально взглянула на него, вздохнула, с видимым трудом высвободила из-под одеяла свою дрожащую руку. Он взял эту, как лед холодную руку, прижал ее к губам своим и опять взглянул на ее лицо. Сердце его тоскливо сжалось.

Почему? Что с ней? Может быть, ничего — пройдет; ведь она больна не в первый раз. Но отчего у нее такое странное лицо, такое новое лицо, какого он никогда не видал прежде?

— Владимир, друг мой... — едва слышно произнесла она, и глаза ее закрылись.

Он стоял не шевелясь. Время от времени она тяжело дышала. Время от времени, очевидно, сильные страдания сжимали мускулы ее лица, тогда она слабо начинала биться, будто ей дышать было нечем. А затем она впадала в полную неподвижность.

Наконец Владимир отошел от кровати и шепнул доктору:

— Выйдемте на минуту.

Тот молча за ним последовал. Когда они очутились в зеленой комнате и Владимир взглянул на доктора, он сразу, по его лицу, понял окончательно то, что уже предчувствовал там, у ее кровати.

— Неужели это так серьезно? — спросил он.

— Да, — ответил Штейнман, делая детскую и в то же время печальную мину.

— Да что же это?.. Отчего это так вдруг?

— Это не вдруг, — заговорил доктор. — Я уже давно это предвидел и боялся; я еще в прошлом году говорил Софье Сергеевне... Надо удивляться, как она до сих пор могла

жить... И уж я никак не думал, что мы раньше нее похороним Бориса Сергеевича.

— Какая же это болезнь?

Штейнман опустил голову и грустно усмехнулся кончиками губ.

— Собственно, болезни никакой нет... жизни нет — вся вышла... вот как свечка догорает...

— Так, значит, никакой, никакой надежды... и скоро?

— Каждую минуту ждать можно.

Владимир уже не мог рассуждать; в нем поднялось инстинктивное возмущение против этого бессилия, против равнодушия, с которым, как ему казалось, говорил доктор.

— Да как же... ведь еще вчера она была как и всегда! Она обедала с аппетитом, вечером я говорил с нею около часу, здесь вот, в этой комнате... Как же это так вдруг?

— Так это всегда бывает, опять-таки — как свечка... горит ровно и вдруг фитиль на сторону, миг — и она потухла!.. Сердце служить не может...

Владимир совсем рассердился на доктора и едва удержался, чтобы не выразить ему этого.

— Она сама сознает свое положение? — наконец спросил он после долгого молчания.

— Покуда еще, кажется, нет; по крайней мере ни сестрицам вашим, ни мне ничего не говорила.

В это время в спальне послышался как будто шорох. Клавдия Николаевна слабо застонала.

Доктор кинулся туда и тотчас же вернулся к двери, маня Владимира.

— Вот, вас зовет! — таинственно шепнул он. Владимир поспешил к кровати.

Клавдия Николаевна глядела на него несколько секунд странным взглядом, от которого ему становилось неловко и мучительно. Наконец губы ее зашевелились.

— Володя, друг мой, — произнесла она, стараясь говорить как можно яснее и с видимым усилием ворочая языком, — конец мой... распорядись... за отцом Николаем...

— Тетя, зачем же? Вы поправитесь...

Он сам не знал, что говорит.

— Пошли поскорее... — шепнула она, закрывая глаза.

Он поспешил исполнить ее желание.

Через полчаса все собрались в ее комнате в ожидании священника.

Маша то и дело утирала слезы, у нее даже нос покраснел и губы дрожали от сдерживаемых рыданий. Она часто подходила к Клавдии Николаевне, желая узнать, не нужно ли ей чего-нибудь, чтобы поправить ей подушку, но тотчас же и отходила, как взглянет на тетку, так и чувствует, что вот; вот сейчас не удержится и зарыдает...

Софья Сергеевна была тут же. Она сидела в кресле неподвижно, не произнося ни слова, с сердитым, суровым лицом, по временам нетерпеливо подергивала плечом и закусывала губы.

Кокушка стоял у двери и сопел.

Вот Владимир вышел из спальни. Кокушка кинулся за ним и схватил его за рукав.

— Пошлушай... что же это, не-не-неужели она у-у-ми-рает?

— Ах, да, ведь ты видишь... Оставь меня...

— Та-так что же это? Опя-пять в доме покойник!.. Опять гроб! Я... я не могу, это из рук вон... Вше вдруг та-так и штали умирать!.. Нет, я уеду, я не оштанушь!..

Он подбежал к окну.

— Вот... вот... и поп!..

Он кинулся вон, пробежал к себе, быстро оделся и ушел из дому. Он пуще всего боялся смерти и всякого о ней напоминания и потом ему не терпелось: нужно было как можно скорее разнести по городу весть, что Клавдия Николаевна умирает.

Через несколько минут появился отец Николай, известный в Москве дамский любимец, необыкновенный фронт, с вытаращенными черными глазами и красивым, хотя грубоватым лицом. Он был законоучителем Владимира еще в пансионе Тиммермана.

С тех пор он превратился в старика, но не утратил своей представительности. Про него рассказывали, что когда он и ходит по церкви с кадилом, то, проходя мимо собравшихся бабынь, приговаривает:

— Pardon, mesdames! [30]

Клавдия Николаевна объявила это клеветой, хотя находила, что, в сущности, если бы даже это и было правдой, так что же тут такого? Она питала к отцу Николаю глубокое почтение.

На этот раз он был не в лиловой моарантиковой рясе, как обыкновенно, а в темной. Он печально качал головою и, проходя в спальню, имел вид скорбный и сосредоточенный: никому даже не сказал ни слова.

Все вышли из спальни и стояли молча в зеленой комнате, ожидая.

Через несколько минут дверь отворилась и показался отец Николай.

— Слаба! — произнес он и жестом пригласил всех войти.

Клавдия Николаевна уже приобщилась Святых Тайн и лежала неподвижно, с вытянутыми поверх одеяла руками. Она безучастно, по-видимому, глядела перед собою.

Маша не выдержала и громко зарыдала. Умиравшая расслышала это рыдание, с усилием повернула голову, ее губы шептали:

— Зачем?.. Прощайте, дети...

Маша припала к ее руке, заливаясь слезами. Владимир тоже склонился над нею. Софи стояла в ногах кровати, совсем бледная, все с тем же мрачным и сердитым лицом.

— Прощайте! — повторила старушка. — Делала, что могла... простите...

Она замолчала. Иссохшая грудь ее тяжело поднялась, раз, другой... затем вдруг как-то упала под тяжелым одеялом, все бедное тело содрогнулось, потом из груди вырвался хриплый стон, голова беспомощно склонилась к плечу, глаза закатились...

Доктор осторожно отстранил Машу и Владимира, наклонился над кроватью и потом вдруг отошел, жестом показывая, что все кончено.

Маша упала в кресло, закрывая лицо платком. Софи по-прежнему стояла, будто окаменев. Владимир, у которого из глаз одна за другой катились слезы, припал поцелуем к прозрачной, маленькой, застывшей руке и благоговейно закрыл глаза покойнице.

Он только в эту минуту со всею силою почувствовал, до какой степени он любил ее и как много терял с этой странной, жалкой старушкой.

Между тем в спальне уже появилось несколько горничных... Кто-то стал всхлипывать...

Владимир ничего не видел; он, шатаясь, вышел и, спускаясь вниз, к себе, повстречал

старика Степана.

Степан со смерти Бориса Сергеевича редко показывался. Он или сидел, запершись у себя в комнатке, или бродил по дальней аллее сада с книгою в руках. Он совсем сгорбился, одряхлел. Сначала, было, думал проситься в Горбатовское, к бариновой могилке, но потом вдруг решил, что нет, что ему следует остаться доживать свой век «при Володеньке». И между ним и Владимиром было решено, что они вместе отправятся в Петербург.

Владимир взглянул на старика и безнадежно махнул рукою.

— Слышал, батюшка, слышал! — ответил тот, шамкая своим почти беззубым ртом. — Иду вот поклониться покойнице... Ох, горе, горе! И всегда-то оно так бывает — одна смерть в доме зовет другую...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. КОЛДУН

Петербургский дом Горбатовых оставался неизменным. Почти полтора столетия протекли над ним. Когда-то он гордо возвышался среди пустырей, маленьких домиков. Он поражал своей величавой красотой, своими гигантскими размерами. Теперь вокруг него, тесня его со всех сторон, поднялись огромные, многоэтажные дома и совсем его задавили. Он будто присел, будто ушел в землю. Из величавого, гордого красавца превратился он в сторбленного, ветхого старца. Цвет его камня, потемневшего, будто замшевшего от времени, так не гармонировал с блестящими светлыми соседями. Его старые окна казались такими тусклыми, будто незрячими...

Но все это представлялось только с первого взгляда. Если всмотреться хорошенько, сторбленный, приниженный старец все же носил на себе отпечаток действительного величия. Его древние фронтоны оставались ху-

дожественным произведением, каждая колонка, каждая извилина линии говорили о строго выдержанном стиле. И чем больше глядеть на него, тем более неуклюжими, безвкусными и безобразными являлись придавившие его огромные и однообразные выскочки...

Не изменяясь снаружи, горбатовский дом очень мало изменился и внутри. Давно, давно, еще со времени Катерины Михайловны, его следовало совсем обновить, и она в последний год своей жизни мечтала об этом, рассчитывая на средства Бориса Сергеевича. Но она умерла, не приведя мечты свои в исполнение... Глухая драма разбросала потом семью...

На одной половине дома осталась Мари со своим Гришей, другая половина была в распоряжении Сергея Владимировича. О переделках и обновлении никто не думал.

Так шли годы. Правда, в последнее время, когда уже подросло новое поколение, Марья Александровна, главным образом вследствие приезда племянницы, Софи, несколько обновила парадные комнаты, где пришлось дать

два, три бала. Но все же весь дом оставался в своем поблекшем прекрасном уборе. Если бы Катерина Михайловна была жива теперь, она сама, вероятно, не пожелала бы ничего переменять — именно такая старинная обстановка начинала входить в моду...

Одною из самых жилых комнат в доме была теперь огромная библиотека, где проводил почти все свое время Николай Владимирович, уже многие годы, с самого своего возвращения из Азии. Он и спальню себе устроил в соседней комнате. Библиотека оставалась в том же виде, как была устроена Сергеем Горбатовым в конце прошлого века. Теперь прибавилось только два новых шкафа, наполненных книгами, по большей части старинными, крайне редкими, с большими затратами и трудом выписанными и добытыми Николаем Владимировичем. В эту библиотеку никому из посторонних не было доступа. Но если бы кто-нибудь зашел и заглянул на полки новых шкафов, то, конечно, изумился бы, увидя заглавие книг латинских, французских, английских и немецких. На заглавном листе одной он разобрал бы: «*Adamus supra mundum*»; дру-

гая называлась «La vérité sortant du puits hermétique, ou la vraie quintessence solaire et lunaire, Baume radical de tout Estre, et l'origine de toute Vie...» [31] и т. д. Затем шли сочинения Теофраста-Парацельса, Трисмегиста, Николая Фламелья, Синезия... Книги розенкрейцеров, масонов... Творения Александрийской школы...

Одним словом, это была редкая по своей полноте коллекция всех известных и неизвестных от древности и до настоящего времени мистиков, упорных и фанатических искателей и проповедников всего того, что наука первых трех четвертей девятнадцатого века, вчерашняя наука признала бабьими сказками. Вместе с этими странными книгами в нижних ящиках шкафов хранились древние рукописи, по большей части на санскритском языке, вывезенные Николаем Владимировичем из Тибета и Индии. На шкафах по соседству с бюстами знаменитостей прошлого века приютилось несколько необыкновенной формы ваз, куски каких-то камней и руд... Бронзовый Вольтер, со своей бессмертной ехидной усмешкой, глядел на маленького Будду, в

свою очередь устремившего на него неподвижный и загадочный взор...

Был довольно ранний утренний час. Зимний морозный день засматривал в широкие, потускневшие от времени окна библиотеки. Николай Владимирович сидел перед большим столом в глубоком кресле. На его коленях лежала старая книга, которую уже больше часу он читал с глубоким вниманием. Теперь он ее закрыл, положил на стол и задумался.

Что осталось от прежнего человека! Даже глаза, большие черные глаза, когда-то выражавшие весь его внутренний мир, то метавшие страстный огонь, то заволакивавшиеся безнадежной грустью, совсем изменились. Они глядели глубоко и спокойно и в то же время загадочно, и ничего уже нельзя было прочесть в их странном взгляде. Он только невольно на себе останавливал, и нервному человеку становилось от него жутко...

Когда-то густые кудри поредели и обнажили высокий лоб. Красивое лицо было бледно, очень бледно, хотя в нем не замечалось ничего болезненного. Мелкие морщинки избороз-

дили тонкую кожу. Не очень густая с проседью борода спадала на грудь.

Николай Владимирович сидел, закутавшись в мягкие складки черного бархатного халата, и на черном бархате особенно ярко выделялись опущенные на колени его тонкие и белые, почти женские руки.

Удивительно странное впечатление производил этот человек. Он казался каким-то видением далекого прошлого, будто вызванным из глубины средних веков, из какого-нибудь затерявшегося в горах замка или монастыря. А между тем чувствовалось, что он вовсе не заботится о своей внешности и сам не знает производимого им впечатления. Он сделался таким не потому, что желал этого, таким сделало его время, особенности его внутренней жизни, его привычки; таким мало-помалу сделал его каждый новый день, истекший со времени его странного и таинственного путешествия...

Николай Владимирович опять раскрыл только что покинутую им книгу, поискал в ней что-то, прочел и едва заметно улыбнулся.

«Ну да!» — почти вслух проговорил он, как

делал это теперь нередко, невольно и сам того не замечая в уединении своей огромной библиотеки, в беседе со своими книгами. «Ну да, конечно, он говорит об этом... и не смеет даже намекнуть... И ему и в голову не могло прийти, что пройдет триста лет, и его страшная тайна, открытие которой профанам грозило ему вечной гибелью, сделается общим достоянием!.. Да, мало-помалу открываются все хранимые им тайны, и придет время, когда и тайны еще более важные, глубокие и даже ему не известные, станут явными... Бабы сказки превратятся в действительность, самую простую, естественную, обыкновенную. В каком же виде явятся тогда теперешние умники?!» Он взял лежавшую тут же рядом на столе газету, прочел в ней маленькую статейку, потешавшуюся под каким-то заграничным, приехавшим в Петербург «фокусником», и совсем уже весело улыбнулся.

Впрочем, улыбка его быстро исчезла. Он нахмурил брови, потом встал, несколько раз прошелся по библиотеке, опять подошел к своему креслу, как будто огляделся, глаза его устремились вдаль, в них мелькнуло что-то

неуловимое, как будто печальное. Мелькнуло — и исчезло. Можно было подумать, что он вернулся к прошлому, о чем-то вспомнил...

Немудрено это было. Эта библиотека, все, что его окружало, могло навести его на многие воспоминания. Здесь, за этим столом, прошло столько разнообразных минут его жизни. Здесь, на этом месте он пережил всю грозу своей мучительной страсти. Здесь должен был витать над ним, в долгие, тихие часы, образ безумно любимой им, погибшей жертвой этой любви Наташи...

Сколько раз она, живая, юная, прелестная, склонялась перед ним над этим самым столом, разбираясь в книгах, увлекаясь в тихой беседе, в дружеской тихой беседе, которая была полна незримой смертельной отравы... Здесь, у этого стола, когда-то остановились друг перед другом Наташа и Мари и разошлись, не в силах будучи сдержать своего израненного сердца. Сердце Наташи разбилось. Мари вынесла. Она здесь, она жива... И вот многие годы он под одним кровом с женою... О ней ли он думает? Нет, он не вспомнил ничего, ни о чем не сказал ему взгляд, брошен-

ный на предметы, полные воспоминаний...

Его мысли были далеко, в той таинственной сфере, о которой он никому не говорил, куда он никого не допускал...

Он машинально опустил в кресло и еще глубже задумался.

Однако, мало-помалу цепляясь одна за другую, его мысли из таинственной дали вернули его обратно сюда, к этой, улетающей вслед за другими, минуте его жизни, и теперь он подумал о жене своей. Он ее видел накануне, только мельком и уже несколько дней не общался с ней почти ни одним словом.

«Но ведь вот — сказка!» — прошептал он и улыбнулся.

Он встал и остановился среди комнаты, закрыл на мгновение глаза, а когда открыл их, то все лицо его преобразилось. Оно стало еще бледнее, брови были крепко сжаты, на всех чертах застыло выражение как бы необычайного усилия воли.

Он произнес: «Мари!» — и протянул вперед руки.

Прошла минута, другая. Он ждал все с тем же неподвижным выражением усилия. Его

тонкие пальцы время от времени слабо вздрагивали.

Наконец он опустил руки.

Дверь скрипнула, чей-то тихий голос спросил:

— Можно войти?

Он ответил:

— Конечно!

Из-за портьеры показалась Марья Александровна. Он встретил ее ласковой и спокойной улыбкой.

II. ПРИЗНАНИЯ

Марья Александровна протянула мужу руку и не могла не заметить, что он как бы с некоторым колебанием и очень поспешно пожал ее и потом приложился к ней, именно приложился, своими холодными губами.

Она вообще очень часто замечала, что он всячески старается избегать прикосновений к кому-либо.

— Тебе что-нибудь надо, Мари? — спросил Николай Владимирович, придвигая ей кресло и не спуская с нее своего загадочного взгляда.

— Нет, — прошептала она.

И сама вдруг удивилась, зачем это пришла сюда в такой необычный час. Зачем вдруг оторвалась от делового письма, которым была занята, и спешила сюда, через длинный ряд комнат, отделявших ее помещение от библиотеки, спешила, будто боясь потерять секунду, будто имела передать мужу что-нибудь крайне важное.

— Нет! — повторила она, смущаясь. — У меня нет до тебя никакого дела, Николай.

Он едва заметно улыбнулся и все продолжал смотреть на нее.

— А между тем ты вдруг почувствовала необходимость прийти ко мне? — медленно проговорил он. — Ты спешила? Да?

Она даже побледнела и с беспокойством взглянула на это, всю жизнь знакомое ей и до сих пор всегда как будто новое, загадочное и непонятное лицо.

— Да, но что же это значит?

— Это значит, — отвечал он все тем же спокойным голосом, все так же медленно, — значит, что я позвал тебя... Ведь это не в первый раз — вспомни?!

Она знала, что не в первый раз. Она по-

бледнела еще больше и внутренне невольно шептала молитву.

Вот она только что забылась в это последнее время, поглощенная живыми, ежедневными заботами. В доме большие перемены: московские молодые Горбатовы переехали сюда после смерти своей воспитательницы Клавдии Николаевны; много всяких забот и хлопот... Затем Гриша. Он не на шутку задумал жениться на Бородиной. По своим религиозным воззрениям, а главное потому, что уж исподволь высмотрела ему невесту, она была против этого брака. Но у Гриши такой характер... с ним справиться трудно.

Все это ее и тревожит и наполняет ее время, ее мысли, весь ее внутренний мир. Не забывает она и своей разнообразной благотворительной деятельности, не забывает и церковь, не оставляет частых бесед с несколькими почитаемыми ею духовными лицами...

Так проходят дни, и иногда она не успеет оглянуться, а день уже прошел, начинается новый.

Но вот опять поднялся этот призрак, который она так упорно всегда от себя отгоняет,

который исчез было теперь, заслоненный иными, ясными, осязаемыми предметами... Опять!

И Марья Александровна почувствовала в себе мучительный трепет. Этот призрак — тяжелый крест ее жизни. Она честно и мужественно перенесла свое старое горе. Проснувшийся в ней спокойный разум, горячая вера, глубокая религиозность спасли ее от тоски и отчаяния. Она все забыла, все простила, со всем примирилась, мало того — даже все поняла. И когда муж ее, хоть и навсегда для нее потерянный, как она была уверена, но все же остававшийся ей самым близким и дорогим человеком, вернулся из своего долгого и непонятного путешествия, она встретила его совсем новой женщиной.

Его приезд и его молчаливое согласие поселиться снова под одним общим кровом принесли ей большую отраду. Ей было довольно того, что он жив, что он вернулся, что он с нею и что она ему не чужая. Она сразу увидела это. Между ними не было никаких объяснений, сама собою сложилась новая жизнь. Они теперь были друг для друга бра-

том и сестрою...

Марья Александровна, новая, измененная, в которой от прежнего ничего не осталось, находила, что иначе и не может быть, что так надо и что так хорошо. О прошлом не было и помину — оба они берегли друг друга...

Но после первого быстро пролетевшего времени, когда складывался и успокаивался новый образ жизни, Марья Александровна убедилась, что если она стала другая, то еще больше другим стал Николай. С каждым днем все более изумляясь и тревожась, вглядывалась она в этого нового человека. Было время, когда она с ужасом даже готова была почтись его помещанным. Он начал свою странную отшельническую жизнь, почти отказался от общества. Мало-помалу он превращался в того чудака, каким его теперь все знали.

Он много рассказывал ей о своих путешествиях и жизни в глубине Индии, в Гималаях. Рассказывал о своем знакомстве и близких отношениях с восточными учеными браминами. Она видела привезенные им фотографические портреты; с этих портретов на нее глядели темные, странные лица...

Он очень интересно рассказывал о некоторых замечательных явлениях, непостижимых «фокусах», которых насмотрелся и которым даже отчасти выучился...

По-видимому, он был откровенен. А между тем она хорошо чувствовала, что он говорит ей далеко не все, что его путешествие носит в себе что-то действительно таинственное, тщательно им скрываемое, что между ними лежит какая-то тайна.

И вот, сначала незаметно, а потом все яснее, ей в голову начинала закрадываться странная мысль:

«Да, тайна есть и эта тайна ужасна! А что, если он там, в этой стране, дикой, непонятной стране, погубил свою душу, что если он вернулся отступником от веры в истинного Бога?.. Мало того — принявшим новое, темное верование?!»

Она гнала от себя эту мысль, но укреплялась в ней больше и больше, хотя, собственно говоря, обвинять мужа она не могла ни в чем. В его спальне над его кроватью, как и в прежние годы, помещался старый фамильный образ, с которым он никогда не расставался. Не

раз, желая испытать его, она звала его с собою в церковь, и он никогда ей в этом не отказывал.

Следя за ним, она должна была убедиться, что он теперь гораздо более проводит в жизнь евангельское учение, чем делал это прежде. О его прежнем гневе и раздраженности не было теперь и помину, ничто уже не выводило его из кроткого спокойствия: никто из домашних и вообще из людей, приходивших с ним в столкновение, не слышал от него нетерпеливого, резкого слова. Он со всеми был добр и ласков. Только он все больше и больше уходил от жизни. Все житейские заботы, все денежные дела были в руках Марьи Александровны.

Он превратился в какого-то монаха, даже постника. Вот уже несколько лет как никто никогда не видел его за обедом не только в чужих домах, но и у себя. Он постоянно ел здесь, в этой библиотеке. Он отказался от всякого мяса и от вина. И когда Марья Александровна, в первый раз узнала об этом, спросила его, что это значит, он очень просто ей ответил:

— Я нахожу, что такой режим полезен для моего здоровья!

И прибавил с улыбкой:

— Не ты же, Мари, так строго теперь соблюдающая посты, будешь меня отговаривать?..

— Посты — это совсем другое! — заметила она. — Всему свое время... Но этот вечный пост...

Однако она тотчас же остановилась, она не считала себя вправе вмешиваться. Она не хотела стеснять его чем бы то ни было. Ей только становилось все тревожнее...

Наконец появился и призрак. Марья Александровна должна была убедиться, что ее муж стал особенным человеком, что в нем развились непостижимые способности. Много раз, слишком много раз он доводил ее до глубокого потрясения, глядя ей прямо в глаза этим своим странным, вывезенным из Индии взглядом, и рассказывая ей ее мысли. Она приходила к нему иногда с каким-нибудь вопросом, не успевала еще сказать и слова, а он уже отвечал ей на этот вопрос определенно и ясно.

Много раз он сообщал ей о том или другом более или менее важном происшествии, которое, по его словам, должно было непременно совершиться. И каждый раз он отгадывал.

— Да что же это такое? Что это значит? — робко спрашивала она.

— Способность, которую я в себе развиваю! — отвечал он. — Разве я один?.. Ведь ты же сама утверждаешь, что некоторые гадалки тебе верно предсказывали и говорили удивительные вещи... Ну, значит, я тоже гадалщик, — что же тут такого?!

Она замолчала, а страшный призрак стоял перед нею.

Во время отсутствия мужа из дома она нередко приходила в его библиотеку и разглядывала его книги. Она их плохо понимала, но то, что было в них для нее ясно, только еще больше ее тревожило.

Наконец она выговорила себе самой страшные слова: «колдовство», «каббала», «магия»...

«Да ведь это вздор, пустяки, это бред, сказки!.. Ведь этого нет и быть не может!.. Что же он, действительно потерял рассудок?!»

Но нет, она признавала его странным, таинственным, но не сумасшедшим. И потом, ведь она знала, что эти его способности — не фантазия.

Он продолжал время от времени все больше и больше изумлять и ужасать ее. Она совсем терялась. И не с кем было ей посоветоваться, не у кого было просить помощи. Может быть, она могла бы найти эту помощь у тех духовных лиц, беседа с которыми ей доставляла такую отраду, но она никому не говорила о своем призраке. Она все это держала в глубокой тайне и желала только одного, чтобы оно так и осталось тайною.

Николай Владимирович со своей стороны никому, кроме нее, не выказывал своих странных способностей. Для всех он был теперь только чудаком — и ничего больше. У него не было ни одного друга, ни одного близкого человека, никто не знал, как он проводит свою жизнь, чем занят, да никто теперь этим и не интересовался...

Теперь, сейчас вот, призрак опять встал со всею ужасающей таинственностью: через пространство, через целый ряд старинных

стен, неведомым способом муж позвал ее, и она послушно, забыв все, явилась на этот неслышный зов.

«Колдун, колдун, чернокнижник!» — повторялось в ее мыслях с невольной верою во все, что с детства считалось ею за сказки и бредни. Она с ужасом глядела на мужа.

— «Колдун, колдун, чернокнижник!» — проговорил Николай Владимирович, качая головой и улыбаясь.

Она слабо вскрикнула:

— Господи, да что же это такое! — и перекрестилась.

— Мари, успокойся, — сказал он, — зачем ты себя мучаешь понапрасну...

— Так успокой меня, объясни, конечно, это мученье, объясни наконец, мне становится страшно...

Он задумался и потом поднял на нее глаза; в них теперь все было спокойно, они глядели прямо, кротко и правдиво, и она как бы утихла душою под этим взглядом.

— Не колдун и не чернокнижник, — заговорил он, — потому что никакая темная и злая сила не руководит мною, потому что зла

какого-нибудь, по крайней мере вольного, я не делаю и не могу делать. Друг мой, я просто не признанный и неведомый ученый, много лет работающий в тиши для себя, для своего внутреннего удовлетворения.

— Что же эта за наука такая? — в недоумении спрашивала Марья Александровна.

— Как тебе назвать ее — наука, в которой заключаются все науки, изучение сил природы, сил тайных и удивительных, разлитых во всем мире и действующих по неизменным, непреложным законам... Тогда — ты знаешь, про какое время я говорю — мне осталось или умереть, или найти какой-нибудь новый, совсем особенный интерес в жизни... Покойный дядя мне помог, он уговорил меня ехать в глубину Азии, обещал чудеса, поразил меня, заинтересовал даже в тогдашнем моем душевном состоянии... Одним словом, я кинулся с отчаянием как бы в бездну... Мое первое путешествие, мое знакомство с новыми странами и людьми — все это было для меня как в тумане... Наконец я очутился в такой обстановке, какая мне никогда и не снилась... В горах, куда вряд ли до меня ступала нога евро-

пейца, в совсем дикой местности, в древнем, существующем тысячи лет, индийском храме. Меня ждали, у меня был таинственный покровитель и друг, странный человек, которого я до сих пор не совсем понимаю, могущественный в этих диких горах Нур-Синг...

— Знаю, знаю! — прошептала Марья Александровна. — Мне дядя не раз говорил о нем и давал слово, что, так как ты под покровительством этого человека, то останешься невредим.

— Так оно и было! Он избавил меня от многих опасностей, и если я жив, и если я здесь, то единственно благодаря ему. Покойному дяде когда-то удалось оказать большую услугу людям, близким Нур-Сингу. Здесь оказанная услуга почти всегда производит только нового врага, там — почти всегда она создает нового друга, и этот друг не успокоится до тех пор, пока не заплатит за нее сторицей. Если бы не та старинная и даже неизвестная мне услуга, потому что ни дядя, ни Нур-Синг никогда не говорили мне, в чем дело, — мне пришлось бы очень, очень плохо... После того как я оказался недостойным...

— Как недостойным!? — воскликнула Марья Александровна.

— А так, я должен был остаться там на всю жизнь, должен был исчезнуть, а между тем я здесь. По их законам я, собственно говоря, не имею права жить, и я уверен, что если бы не исключительные обстоятельства, не торжественная клятва, данная Нур-Сингом дяде и мне, что я во всяком случае буду в безопасности, — меня заставили бы исчезнуть, уничтожили бы или там, или во время обратного пути, или даже здесь...

— Николай, да ведь это ужас, — воскликнула в волнении Марья Александровна, — ведь это бред какой-то из «Тысячи и одной ночи»! Куда ты попал?! И дядя... как он мог вовлечь тебя!..

— Оставь дядю: кроме глубокой благодарности я ничем не могу помянуть его... Не ужас, не «Тысяча и одна ночь», а просто я пожил с людьми, совсем не похожими на людей нашего общества, просто я окунулся в никому здесь не ведомый мир, живущий тысячелетия своей собственной, особенной жизнью. Я общился к глубочайшей древности, рядом с

которую созревают, говоря восточным языком, плоды будущего... Одним словом, Мари, я был внимательным учеником восточных ученых... Если бы я захотел, я мог бы приобрести гораздо более познаний, но для этого мне необходимо было навсегда отказаться от себя самого — и я этого не мог... Эти странные ученые держат свои высшие познания в глубочайшей тайне, страшными клятвами связывают они человека, желающего войти в глубину их святилища, страшным испытаниям подвергают они его, и прежде всего он должен отказаться от всего земного...

— Друг мой, да, кажется, ты и отказался!

— Нет, потому что я здесь и говорю с тобой... В решительную минуту я бежал, но унося с собою многое. Кое-что мне уже было открыто, и это кое-что оказалось для меня целым новым миром. Вернувшись сюда, я стал разбираться в этом полученном мною сокровище и с тех пор работаю неустанно, иду вперед, иду сам, без посторонней помощи, по пути, мне указанному моими странными учителями...

— Чернокнижник! — он кивнул головою

по направлению к шкафам с мистическими книгами. — Это не черная магия и не бредни, то есть нет, бредней там много, много детской наивности, но много и вещей удивительных. Эти книги — это иероглифы, непонятные знаки для тех, кто не был, как я, в школе восточных ученых. Многие из этих книг лет десять тому назад я прочел и бросил как вздор, не поняв в них ничего. Теперь я уже разбираю почти все иероглифы.

— Но к чему тебе все это, я все же не понимаю?

— К чему?! Это суть моей жизни, это моя деятельность... Ты же сама знаешь, что я прихожу к интересным открытиям.

— И это дает тебе счастье?

— Счастье — нет, но это дает мне возможность жить... переносить жизнь... наполнять ее...

— Так если это не что иное, как наука, если ты открыл разные поразительные законы природы, отчего же ты не публикуешь свои открытия?

— Если бы я вздумал говорить о том, что знаю, меня почли бы за сумасшедшего, я ни-

чего не увидел бы, кроме насмешек, а насмешкам я не желаю подвергать себя хотя бы ради вас. Да, я действительно знаю много законов природы, о которых еще не снилось нашим мудрецам, не снилось даже сегодня: но уж завтра станет сниться... Верь мне, Мари, что даже мы с тобою увидим в скором времени признание таких вещей, которые теперь европейские ученые называют вздором. Все мое колдовство основано на магнетизме и электричестве, и не сегодня-завтра эти две двигающие мир силы будут предметом исследований самых глубоких и самых талантливых наших ученых... Не пройдет и четверти века, как произойдут удивительные вещи, наука откроет целую новую область явлений... С меня довольно того сознания, что я раньше всех этих ученых знаком с этой областью, живу в ней и действую... Успокойся же и не считай меня колдуном. Все это колдовство, когда оно сделается общим достоянием, не будет войною против Бога, не уничтожит Его, а, напротив, приведет к Его истинному пониманию... Это колдовство, сделавшись наукой, нанесет смертельный удар теперешнему ма-

териализму...

Николай Владимирович замолчал и глядел на жену с ласковой улыбкой. Хотя в его словах было для нее все же много непонятного, неясного, но он хорошо видел, что она ему наконец поверила. Она очутилась под его обаянием, и он сознательно, своим таинственным способом действовал на нее успокоительно.

Они промолчали несколько мгновений. Но вот он снова заговорил:

— Однако ведь я позвал тебя не для того, чтобы смутить и испугать, а потому, что мне нужно поговорить с тобой.

— О чем?

— О Грише. Ты до сих пор не хочешь окончательно решиться на его брак с Лизой Бородиной?

— Да, мне это трудно! — произнесла она.

— Ты имеешь что-нибудь против Лизы?

— Как тебе сказать, ничего особенного не имею я против нее, хотя я, по правде, считаю ее очень пустой и ветреной девочкой... Положим, она так молода, но все же дело не в ней. Ты должен понять, что мне тяжело это близкое, хотя и не признанное законом, родство

между нами.

Она не заметила, как бледное лицо Николая Владимировича вдруг приняло даже почти совсем мертвенный оттенок, как выражение глубокого страдания мелькнуло в его взгляде. Впрочем, это было мгновенно. Он снова спокойно глядел и говорил тихим, ровным голосом.

— Я не буду спорить с тобою, я только хотел тебе сказать, что борьба напрасна, бесполезна и что ты можешь только испортить дело. Этот брак нашего сына решен, так суждено, так будет; он не ребенок, и ты знаешь его характер — он упрям и настойчив.

— Николай, — вдруг воскликнула Марья Александровна, — ведь вот твоя наука развила в тебе такие изумительные способности, ты можешь непонятным образом действовать на людей, — воспользуйся этим, отдали Гришу от Лизы.

Николай Владимирович улыбнулся.

— Так уж теперь ты хочешь меня сделать колдуном! — сказал он. — Я, вероятно, мог бы исполнить твое желание, но не смею. Я не имею права вмешиваться в судьбу людей, по-

тому что, таким образом, должен был бы взять на себя и все последствия. Говорю тебе — этот брак решен, он должен совершиться. Зачем же ты будешь вооружать против себя и сына, и будущую невестку, и ее семью. Я знаю, относительно Гриши у тебя был иной план. Но как же можешь ты решить, что его жизнь была бы счастливее, если б он женился на девушке, выбранной тобою? Знать этого заранее невозможно. Михаил Иванович сегодня приедет и заговорит прямо с тобою и потребует от тебя решительного «да» или «нет».

— Откуда ты это знаешь?

— На этот раз самым обыкновенным путем — от Гриши. Он вчера вечером говорил со мною, и я обещал ему предупредить тебя.

— Так ты решительно ничего не имеешь против этого брака? — задумавшись, спросила Марья Александровна.

— Ничего не имею, а главное, в твоём упорстве вижу неприятные для тебя же последствия.

— И ты думаешь, что Гриша будет счастлив?

Он пожал плечами и вздохнул.

— По-своему — да! — наконец произнес он.

Она хотела сказать что-то, но ничего не сказала. Ей стало очень грустно и она хорошо поняла, что значили эти слова: «по-своему — да». Отец был недоволен сыном, и ей нечем было защитить своего Гришу.

— Хорошо, я согласна! — наконец проговорила она и вышла из библиотеки в глубокой задумчивости.

III. К НЕЙ

Ясный морозный день заливал своим ослепительным светом солнечную сторону Невского проспекта. Обычная праздничная толпа сновала взад и вперед по широким тротуарам от Литейной до Большой Морской. И в этой толпе то и дело попадались знакомые, привычные лица, без которых нельзя себе и представить Невского проспекта зимою, от трех и до пяти...

Все были налицо, начиная от баритона русской оперы, выступавшего с торжественной важностью и с благосклонной улыбкой на румянном, гладко выбритом лице, и кончая генерал-адъютантом, ежесекундно расклани-

вавшимися со своими знакомыми...

Парные сани, кареты, легкие саночки, запряженные великолепными рысаками, мчались, обгоняя друг друга, поднимая снежную пыль... Однозвучные повелительные окрики важных кучеров раздавались то там, то здесь. Время от времени полицейские с заиндепевшими усами перебегали широкую улицу под самыми лошадиными мордами, завидя что-либо «неподходящее».

Вот от Аничкова дворца, по направлению к Полицейскому мосту, промчались знакомые всему Петербургу сани с широкоплечим казаком на запятках. Цесаревна ласково склоняла голову, отвечая на поклоны....

Вместе с пестрой, веселой толпой спешил и Владимир Горбатов. Но он вышел на Невский не для прогулки, не для встречи знакомых, с которыми раскланивался поспешно, на ходу, изображая всей своей фигурой: «Только, ради Господа, меня не останавливайте».

Он перешел Аничков мост, огляделся, улучая удобную минуту, когда экипажей было меньше, перебежал Невский и завернул в

Троицкий переулок.

Наконец он остановился перед широким подъездом многоэтажного дома, у которого стояло несколько экипажей. Швейцар, с таким подслеповатым и растерянным лицом, какое только и может быть у петербургского швейцара из отставных солдат-чухонцев, распахнул перед ним зеркальную дверь. Владимир взбежал по широкой лестнице, убранной не без претензии на роскошь, но довольно безвкусно, остановился на площадке третьего этажа и дернул за звонок.

Через несколько секунд дверь отворилась, и в нее выглянуло молодое, задорное лицо петербургской субретки, в темном шерстяном платье, с шуршащими юбками, в кокетливом фартучке и с огромным цветным шарфом на шее. Горничная улыбнулась, показала свои белые зубы и даже с некоторой восторженностью проговорила:

— Пожалуйста-с, Владимир Сергеевич!

— У Аграфены Васильевны никого нет? — спросил Владимир, входя в переднюю и снимая шубу.

— Нет-с, есть... Князь там да барон этот...

Ну, все забываю фамилию — вы изволите знать...

— Только они оба, должно быть, сейчас уедут, — прибавила она успокоительным тоном.

Владимир невольно прищурился.

— Пожалуйста.

Она ловким, даже довольно грациозным движением отворила перед ним дверь и его пропустила.

Он очутился в просторной комнате, освещенной двумя широкими окнами, обставленной и даже заставленной красивой и на первый взгляд роскошной мебелью. Но это была та сравнительно дешевая роскошь, какая приобретается в один день, на скорую руку, и которая очень часто, через несколько месяцев, продается за полцены в каком-нибудь аукционном зале. Пробираясь между стульями, столиками и козетками, Владимир наткнулся на валявшийся на ковре огромный букет, потом заметил брошенные на столик перчатки, рядом с ними широкий браслет. Дальше, на том же столике, лежала чья-то визитная карточка. Рояль был открыт, на пюпитре ноты...

Быстро отодвинутая и упавшая табуретка.

Владимир остановился, поднял валявшийся у его ног букет, положил его на столик... Из соседней комнаты раздавались голоса. Вот прозвучал бесцеремонный мужской смех, в ответ ему смеется Груня...

«Как есть... у кокотки! — тоскливо мелькнуло в голове Владимира. — Вся эта обстановка, вся как есть, и даже эта горничная противная... „Скоро уедут!.. Совсем!..“»

Ему вспомнилось такое, такое точно у mademoiselle Blanche.

Снова раздался смех.

И смех этот точь-в-точь, да и смеется ведь тот же самый человек, которого и у Blanche всегда застать можно...

— Что же это, звонили и никто не идет?

Это говорила Груня. Она отдернула желто-розоватую, тяжелую, спущенную портьеру, увидела Владимира, глаза ее блеснули, она стремительно подошла к нему и крепко сжала его руку. Потом она оглянулась туда, за спущенную портьеру, ничего не сказала, но ее взгляд ясно и отчетливо повторил именно слова горничной:

«Они скоро уедут!»

Владимиру стало еще тяжелее, но он вы- звал на своем лице равнодушное и холодное выражение и прошел вслед за Груней...

Несколько месяцев прошло с тех пор, как Владимир и Груня смутили Кондрата Кузьми- ча и его Настасьюшку... Обстоятельства, одна- ко, избавили старика Прыгунова от необходи- мости принять какие-нибудь решительные меры. Внезапная смерть Клавдии Николаев- ны пришла ему на помощь — она остановила сближение молодых людей.

Владимир, глубоко опечаленный и зава- ленный почти с утра до вечера разными неот- ложными делами, не мог уже часто посещать Груню. Приезжал ненадолго и, когда приез- жал, то и Кондрат Кузьмич, и сама Груня, и печальные семейные обстоятельства — все это, взятое вместе, отдаляло его от чего-либо решительного...

Затем, через несколько недель, устроив московские дела, он уехал с сестрами и бра- том в Петербург.

Между тем Груня с каждым днем убежда- лась, что ее голос вернулся во всей прежней

силе. Она привела в восторг всю московскую консерваторию, и скоро афиши известили москвичей об ее концерте. Она выступила под вымышленной итальянской фамилией, достаточно известной в целой Европе. Успех ее был полный. За первым концертом последовал второй, третий. План дебютировать в Москве в качестве драматической актрисы рушился сам собою.

Ее звали в Петербург. Она должна была там дать несколько концертов, а затем, так как в полном успехе нельзя было сомневаться, ей предстоял выбор между русской и итальянской оперной сценой...

И вот она в Петербурге уже второй месяц. Ее успех превзошел все ожидания, она сразу стала входить в моду. Этот месяц прошел как в лихорадке. Все сделалось как бы само собою — и эта квартира, наскоро найденная Владимиром, меблированная меньше чем в неделю, и толпа разных молодых и старых, более или менее влиятельных господ, представлявших друг друга Груне, то и дело к ней звонивших. Она принимала всех, со всеми была любезна, весела, одним словом, верну-

лась к прежней своей, привычной за границей жизни молодой, красивой и известной артистки...

День проходил незаметно. С утра раздавались звонки. Сначала являлись модистки. Потом разные записочки и письма, большинство которых Груня даже и не читала. Затем какие-то представители прессы, какие-то дикие, изо всех сил придающие себе важный вид господ, которые «писали» в разных газетах.

Груня и их принимала по старой привычке, хотя иногда и с довольно заметной брезгливостью, впрочем, ничуть не замечавшейся ими...

Этих «представителей прессы» сменяли фотографы, просившие у певицы позволения снять с нее портрет.

Вслед за ними звонили к Груне некоторые официальные представители музыкального мира. Наконец, являлся какой-нибудь господин, которого она на днях мельком видела и часто совсем не узнавала. Этот господин являлся как знакомый и представлял ей блестящего флигель-адъютанта, глядевшего на нее

масляными глазами, или молодого attanché [32], безукоризненно изящного, испитого до последней степени...

Присылались букеты, корзинки с цветами...

Наконец появились и дамы — две, три певицы итальянской оперы, еще и прежде знакомые с Груней. Но эти дамы мелькнули — и исчезли...

И так прошел месяц, начался второй. Владимир бывал часто; но иногда, когда он являлся, Груни не было дома: она разъезжала по своим делам или была на репетиции. Владимир оставался ждать ее.

Она наконец приезжает усталая, рассеянная. Он каждый раз замечает в ее взгляде радость, когда она его видит: но это выражение так мгновенно, так скоро исчезает, что он даже задает себе вопрос: действительно ли она ему рада или это ему только так кажется...

Едва она пришла в себя, едва между ними завязывается разговор, как раздается звонок, является кто-нибудь — и Груня принимает всех, и он даже не решается ей заметить, что можно бы и не принять, можно бы остаться

час-другой со старым другом.

Но нет, она, очевидно, не хочет этого. Она как будто нарочно делает все, чтобы не быть с ним наедине. Она, очевидно, даже и не понимает ничего того, что так волнует его в этой жизни, в ее обстановке, в ее времяпрепровождении. Да и как же ей понять? Ведь это ее жизнь, у нее нет другой и быть не может.

Она весела и довольна, она упивается своим успехом, ей весело со всеми этими людьми... И она не замечает, что ни один из них не относится к ней с действительным уважением как к порядочной женщине... Певица, актриса — этим все сказано! Молода, красива, всех принимает, всем улыбается!.. Букеты, корзинки... скоро появятся бриллианты...

Владимир уходит от нее с кружащеюся головой, в негодовании, в немом бешенстве. Он оставляет ее среди этих, хорошо известных ему людей, глядящих на нее так отвратительно, так плотоядно...

Что же ему делать? Требовать от нее, чтобы она всех прогнала, чтобы она жила иначе,

стала другой... По какому праву? Да и, наконец, ведь это безумие. Ему остается только одно — или уйти совсем, или владеть собою, казаться спокойным, довольным, не играть глупой роли.

Он хорошо собой владеет, он до сих пор ничем себя не выдал, а уйти он не может, потому что любит ее с каждым днем безумнее и мучительнее. И чем больше он возмущен, чем больше он негодует на нее, тем безумнее и мучительнее любовь его...

IV. У ПЕВИЦЫ

Эта комната, в которую вошел теперь Владимир вслед за Груней, еще более, чем первая, носила на себе тот противный и невыносимый ему по воспоминаниям отпечаток, так его раздражавший. Это была комната-бонбоньерка, заставленная мягкой, низенькой мебелью, со стенами, обтянутыми такой же французской материей, как и мебель, с неизбежным, спускавшимся с потолка вычурным фонариком, с венецианскими зеркалами и таким количеством душистых цветов, наставленных всюду, что одуряющий их запах ста-

новился даже неприятным.

В глубоких развалистых креслах, на которых даже нельзя было сидеть, а надо было непременно лежать, помещалось двое гостей.

Одни из них, барон, чью фамилию Грунина горничная никак не могла запомнить, был юный гвардейский офицер, известный в Петербурге под именем Вовочки. Высокий и широкоплечий, но в то же время стройный и ловкий, он отличался замечательной красотой. Огромные синие глаза с поволокою, тонкий, с маленьким горбиком нос, пухлые, наивно и мило улыбающиеся губы, оттененные молодыми усами. У него был высокий лоб, на котором никакая забота не успела провести ни одной, хотя бы и едва заметной морщинки, свежие розовые щеки, не успевшие еще пожелтеть и поблекнуть, несмотря на несколько лет беспутной жизни... Вовочка был всеобщим баловнем, *enfant gâté* [33] всех светских дам и девиц. Никому столько не позволялось, сколько ему, и никто не умел так мило, с такой детской наивностью пользоваться дозволяемым.

Другой Грунин гость был князь Вельский,

сын друга юности покойного Бориса Горбато-ва. Князь занимал очень видное и блестящее официальное положение. Несколько лет тому назад он овдовел, потом у кого-то купил жену, теперь развелся с этой второй женой и появлялся на светских собраниях с двумя своими взрослыми дочерьми. Он считался первым покровителем *modemoiselle Blanche*, и она, как говорили, ему очень дорого обходилась. Вместе с этим про него рассказывали в свете самые невероятные истории, из которых, как это ни удивительно, большая часть оказывалась справедливой.

Князь Вельский даже одно время чуть было не попал в государственные мужи, чуть было не записался в дельцы, хотя никто не мог понять, когда же он успевает работать, так как его можно было найти везде, только не в месте его служения и не дома.

Впрочем, он сам отстранился от чересчур видного и все же несколько ответственного поста, на который его прочили, сохранив за собою свое блестящее положение...

Это был человек лет за сорок, маленький, тоненький и вертлявый, с фигуркой четыр-

надцатилетнего отрока, с бледным, сухим, необыкновенно изящным лицом и с головою, покрытой вместо волос легким пушком. Непочтительные люди называли его «собачьей старостью», и это странное прозвище почему-то необыкновенно шло к нему.

И князь Вельский, и Вовочка были старые знакомые Владимира; князя, по его настоянию, он даже и представил Груне. Вовочка протерся сам, как всегда и всюду. Только на этот раз он был, очевидно, сильно сконфужен и просто не мог прийти в себя от изумления: вот уже месяц, как он был знаком с Груней, а она вовсе и не думала его баловать, как всегда баловали другие. Он никак не мог понять, что это такое значит и не раз уже, возвращаясь от нее, задавал себе вопрос: чего же ей еще надо?..

Князь Вельский относился к Вовочке с покровительственным снисхождением, но сейчас же было заметно, что он завидует ему до страдания, как уже давно завидовал красоте, молодости и здоровью...

По тому, как Вовочка и «собачья старость» глядели на Груню, можно было заключить,

что оба они совсем побеждены ею.

И действительно, ее могучая красота и уже в особенности среди этой привычной и милой им обстановки сильно на них действовала.

Оба они встретили Владимира дружески. Но и синие глаза Вовочки, и уставший, холодный взгляд князя довольно ясно говорили, какую роль они приписывают ему в отношении к прелестной хозяйке. Ничто, однако, не дрогнуло в лице его. Он спокойно поздоровался... Они обменялись городскими новостями, затем разговор вдруг как-то упал. Вовочка подсел к Груне, сказал какую-то милую глупость и сам ей от души засмеялся, затем вздохнул, поднялся во весь свой молодецкий рост, перевернул плечами, приводя этим движением в порядок свои эполеты, звякнул шпорами...

— Значит, до завтра, дива?! — сказал он. — Demain — c'est le grand jour!.. [34] Завтра мы будем все там...

— Хорошо! — ответила Груня, с улыбкой протягивая ему руку.

Он склонился к ней, взял ее руку, приподнял к своим сочным губам и звонко поцеловал.

вал.

— Пора и мне! — как бы про себя проговорил князь Вельский и с нервной grimасой, вызванной болью в ноге (он даже от себя самого тщательно старался скрывать эту боль, подозревая в ней начало подагры), поднялся с кресла.

Рядом с Вовочкой он казался теперь совсем маленьким мальчиком. Пушок на его голове так и светился в солнечном луче, скользившем из окон.

Груня сделала несколько шагов, провожая их в гостиную...

За спущенной портьерой Владимир опять расслышал звонкий смех Вовочки, князь протянул что-то своим привычным пренебрежительным тоном, потом опять кто-то из них громко поцеловал ее руку.

Наконец она вернулась. Она стояла перед Владимиром на бледном, озаренном солнцем фоне этой комнаты; тяжелое шелковое платье мягко обрисовывало ее стройную фигуру, еще более оттеняя нежную бледность ее лица, по которому скользило теперь не то усталое, не то унылое выражение.

— Правда ли, что у князя Вельского год тому назад была какая-то ужасная история с какой-то барышней, которая из-за него застрелилась? — спросила она.

— Не знаю! — отвечал Владимир. — Что-то такое говорили... Может быть, и выдумали...

— Мне барон этот, Вовочка, начал было это рассказывать, и даже очень интересно, как вдруг звонок — и сам князь!.. Я думаю, что это, может быть, и правда, мне кажется — он совсем бессердечный человек, у него иногда в лице такое злое и даже не то что злое, а совсем ледяное выражение... Только удивительно, как это можно им теперь так увлечься... даже до смерти!.. Но нет, это неинтересно... Я хочу вам сказать что-то, Владимир Сергеевич, и хорошо, что пока никого нет...

Он взглянул на нее. Это было для него неожиданно и ново.

— Что такое, Груня?

— А вот что: вы очень, очень мною недовольны...

— Почему вы это думаете?

— По всему... Я это давно вижу, знаю и чувствую; с самого моего переезда в Петербург

вы недовольны мною, вам не нравится, как я живу... Вам все, все не нравится...

— Если так и если это вас раздражает, — проговорил Владимир, — скажите одно слово — я пойму, что я лишний.

Она вспыхнула и в невольном порыве схватила его за руку.

— Зачем вы так говорите! — даже как бы рассердившись, крикнула она. — Вы не можете быть лишним и знаете это. Но мне тяжело видеть, что вы на меня сердитесь, что вы так недовольны мною. Подумайте, разберите — виновата ли я?

Она, забывшись, не выпускала и все сжимала его руку.

— Как же мне быть иначе, как иначе жить?! Вы скажете: там, у Кондрата Кузьмича, было другое... Да почему вы знаете — может быть, я сама люблю больше его домик, чем вот это?! Мне и с ним, и с Настасьюшкой было гораздо лучше; но ведь их здесь нет... Что же с этим делать?.. Я давно так живу, целых шесть лет, больше — и другой жизни у меня быть не может, ведь я одна, без родных, я певица... Все это делается само собой... Я не

могу запереться, не могу их всех не принимать; одним словом, быть барышней мне нельзя... Скажите, разве это неправда?

— Правда! — уныло проговорил он.

— Так за что же вы на меня сердитесь?

В это время в передней послышался звонок. Но оба они его не слышали.

— Ну вот я сейчас скажу Кате, чтобы никого теперь не принимала до обеда, — вдруг перебила она сама себя и потом продолжала: — Не сердитесь, мне это очень тяжело, я крепилась — и вот не могу... Если бы вы знали, как это нехорошо, когда вы так смотрите... а теперь вы все чаще и чаще так на меня смотрите!.. Ну, милый, ну будьте же благоразумны, не сердитесь...

Она заглядывала ему в глаза горячим, ласковым и умоляющим взглядом. Вся ее сдержанность, весь холод, которым от нее, как ему казалось, на него веяло в этот месяц, исчезли бесследно. Видимо, она уже не владела собою... не рассуждала...

Портьера шевельнулась.

— Позволяется? — сказал кто-то.

Груня вздрогнула, оставила руку Владими-

ра и почти со слезами в голосе крикнула:

— Войдите!

Из-за портьеры появился Барбасов.

Оба они взглянули на него почти с ненавистью. И как это Катя, всегда такая ловкая, понятливая могла впустить его без доклада?

Но Катя была не виновата. Она на минуточку отлучилась из кухни, таинственно вызванная соседским камердинером, и, услышав звонок, дверь Барбасову отворила кухарка-немка, знавшая только одно, что барышня дома. Она никак не могла себе представить, как это можно не впустить такого важного господина да еще на вопрос ее: «Was wünschen Sie, mein Herr?» [35] — заговорившего с ней по-немецки.

Как бы то ни было, высказать Барбасову неудовольствие — значило себя выдать, и они любезно его встретили.

Немка-кухарка была права, определив Барбасова важным господином. Он действительно был теперь чрезвычайно важен. В эти несколько месяцев в его манерах и даже наружности произошла значительная перемена.

Перед Груней и Владимиром был уже не московский адвокат, не франт дурного тона, поражавший пестротой своего костюма. Теперь он походил на англичанина, в черном длинном сюртуке, застегнутом доверху, в высоком стоячем воротничке и скромном черном галстуке. Его волосы были коротко острижены и, вероятно, после невероятных усилий парикмахера, совсем не торчали, а лежали гладко, волосок к волоску. Усы и борода были выбриты, и только на щеках его красовались, хотя и жиденькие, но все же довольно приличные бакенбарды. Лицо его не лоснилось и не горело, оно носило на себе легкий, едва заметный след пудры. Очки были заменены *pinse-nez*.

Одним словом, он уже не поражал своеобразной комичной дурнотой, он имел вид солидного чиновника, знающего себе цену и уверенного в своей блестящей будущности.

Вместо того, чтобы по своему обычаю, весело захохотать, он едва улыбнулся, как-то поджимая и пряча свои толстые губы, молча поздоровался, хотел было присесть в низенькое кресло, но сообразил, что если это сдела-

ет, то его колени окажутся выше головы. А потому он не сел, а изогнулся в академической позе, легонько опираясь локтями об этажерку.

Груня так была раздражена и рассержена, нервы ее так были натянуты, что непременно нужен был какой-нибудь исход этому раздражению — и она почти истерически стала смеяться, смеяться до слез, глядя на Барбасова.

— Чего же вы смеетесь, Аграфена Васильевна? — наконец выговорил он. — Что во мне такого смешного?

— Как что смешного?! — она перевела дыхание и утирала платком глаза. — Да ведь от этой метаморфозы можно умереть со смеху! Владимир Сергеевич, взгляните вы на него — что это такое!.. Вот он третий раз у меня... В первый раз был сам собою; второй раз я заметила в нем что-то странное, но не разобрала... А теперь — разве это Барбасов?.. Что это значит?!

— Это значит, что из либерального свободного гражданина он превратился в министерского чиновника, — сказал Владимир.

— Да ведь эта перемена совсем к вам не

идет! — воскликнула Груня. — Вы были прежде гораздо интереснее, я вас таким и видеть не хочу, слышите!.. Прежде, на вас глядя, хотелось смеяться, а теперь разбирает скука.

— Однако вы вот же смеетесь, да еще как!

— Это только в первую минуту... уверяю вас... Барбасов, да будьте же сами собою!

Он вздохнул, но не шевельнулся, будто застыл в своей академической позе.

— Увы не могу, Аграфена Васильевна! — произнес он. — Прошлого не вернешь — это вам должно быть хорошо известно!.. Что с во-зу упало, то пропало. Владимир Сергеевич совершенно верно объяснил вам причину происшедшей во мне перемены... Отныне волей-неволей я должен носить эту маску, даже и в таком случае, если она будет причиной вашей ко мне полной немилости.

— Вот у вас даже и шутки выходят теперь такие скучные и длинные! — сказала Груня. — Садитесь и говорите просто — что вы делаете? Что с вами случилось?

Барбасов осторожно приподнял локоть с этажерки, боясь зацепить за что-нибудь, подозрительно взглянул на кресло, затем ре-

шился — и опустился в него, изогнув в сторону свои длинные ноги.

— Какая у вас, однако, неудобная мебель! — заметил он. — Вам угодно знать, что я делаю, — извольте: начинаю служение моему отечеству в Министерстве юстиции.

— Так вы, в самом деле, совсем переехали в Петербург, бросили адвокатуру?

— В самом деле.

— Когда вы мне говорили, я думала, что вы шутите.

— С какой же стати: я вам говорил серьезно, если не верите, спросите Владимира Сергеевича, он знает.

— Да, знаю, — сказал Владимир, — знаю, что ты произвел самое лучшее впечатление, что тебя приняли *abras ouverts* и сразу дали тебе такое назначение, которое изумило многих... Но я все же не понимаю твоего поступка... Ведь ты двумя-тремя делами как адвокат нажил себе целое состояние, а теперь перешел на какие-нибудь три тысячи жалованья! Что тебя к этому побудило? Ты мне казался таким практичным человеком, умеющим хорошо считать и знающим толк в деньгах.

— Значит, ты ошибался! — серьезно и спокойно отвечал Барбасов. — Очень просто: мне надоело адвокатствовать, мне уже давно стало противно защищать разных негодяев...

— А помните, как вы оправдывались перед Кондратом Кузьмичем?

— Помню, так что же? Может быть, эта именно необходимость оправдываться и заставила меня бросить адвокатуру. Я нахожу, что буду полезнее как обвинитель...

— А практичен я или непрактичен, mon cher, — обернулся он к Владимиру, — об этом судить теперь рано, через несколько лет будет видно. Да ты мне скажи, ты не одобряешь мой поступок?

— Нисколько, напротив! Я только изумляюсь.

— Ну, вот видишь, сам говоришь: напротив!.. А изумляться... изумляться, мой друг, ничему не следует — это одно из первых правил мудрости...

— Так ты слышал, что меня приняли *abras ouverts*, что я произвел хорошее впечатление? — оживленно прибавил он и улыбнулся.

— Да.

— Вот видишь! Ведь я говорил тебе, что на твоём месте сумел бы сделать самую блестящую карьеру... теперь постараюсь это на своём собственном...

— Ну, а твоя некоторая, так сказать, краснота? Ты её изрядно-таки показывал в газетных своих статейках...

— Краснота, — протянул Барбасов, усмехаясь, — что это за слово такое? Я его терпеть не могу, да и ничего оно не выражает. Скажу тебе одно — именно эти мои статейки, на которые ты намекаешь, главным образом и сослужили мне службу; не будь я их автором — не получить бы мне того, что я уже получил сразу... а получил я даже сверх моих ожиданий и чаяний...

— Да, пожалуй, это так, именно так у нас и должно быть! — сказал Владимир.

— Да уж, конечно, так!

И Барбасов опять самодовольно и несколько ехидно усмехнулся, снова поджимая губы. Раздался громкий звонок.

— Кто ещё!? — досадливо проговорила Груня и этими двумя словами выдала себя Барбасову.

Он взглянул на Владимира, тихонько кашлянул, в его лице мелькнуло прежнее — он готов был уже прорваться, но удержался, только встал на ноги и взял свою шляпу.

В комнату вошла Катя и подала Груне карточку.

— Человек спрашивает: принимаете ли? Они внизу, в карете дожидаются!

Груня передала карточку Владимиру. Он прочел фамилию человека власть имущего, от которого зависела вся будущность Груни в Петербурге как певицы, желающей поступить на сцену.

— Ведь нельзя не принять?! — сердито сказала Груня. — Скажи, что прошу! — прибавила она, обернувшись к Кате.

— А уж я в таком случае удалюсь!

С этими словами Владимир поспешно пожал Груне руку.

— А я тем более, — сказал Барбасов, — наше присутствие может только повредить Аграфене Васильевне... а дело, как видно, серьезное: «сам приехал».

Он уже успел взглянуть на карточку, брошенную Владимиром на столик.

— Желаю вам всяких успехов, волшебница, да, впрочем, что же другое и быть может?!

Он на лету чмокнул у Груни руку и в несколько гигантских шагов был уже в передней. Владимир поспешил за ним.

Они быстро надели шубы и спускались с лестницы, когда навстречу им, в сопровождении ливрейного лакея, важно поднимался, громко сморкаясь, старик с юрким, беспокойным взглядом. Этот взгляд остановился на Владимире; но тот сделал вид, что не узнал старика, и, что-то говоря Барбасову, прошел мимо.

Старик подозрительно оглянулся.

Уже совсем внизу Барбасов шепнул Владимиру:

— Да ты с ним знаком или нет?

— С кем?

— С этим.

— Знаком, у нас в доме бывает, — раздраженно ответил Владимир.

— Так что же это ты? Он на тебя метнул такой взгляд... Я заметил... ведь это уж чересчур неосторожно с твоей стороны!

— Есть несколько людей, которым я про-

сто не в силах кланяться первый, и он из числа их.

— Ну, душа моя, ты с этим далеко не уедешь! И что это — юность еще такая, или ты совсем испорчен? Да тут не в тебе — ты можешь очень повредить Аграфене Васильевне — за что же?! Однако прощай!

— До свиданья!

Он стиснул Владимиру руку, запахнул шубу и спокойно, но важно, подняв голову, зашагал к Невскому.

«Он прав! — подумал Владимир. — Да, я испорчен, я совсем не гожусь для такой жизни. Так для чего же я гожусь и где искать того, чего мне надо?!»

Он медленно шел с печальным, уставшим видом. И этот солнечный день, и это оживление, веселые голоса, праздничное возбуждение только раздражало его все больше и больше...

V. НОВАЯ СИЛА

Уже четыре года как среди роскошных зданий набережной Невы воздвигся новый прекрасный дом. Впрочем, его нельзя было назвать домом. Это был маленький дворец, невольно останавливавший на себе взгляд любителя изящной архитектуры.

Светло и приветливо глядел он на широкую Неву своими зеркальными окнами. А когда луч солнца ударял в них, то гуляющие по набережной заглядывались на мелькавшие, как призрак, уголки богатой, как-то даже волшебной богатой обстановки.

Дом этот принадлежал одному из самых любимых баловней фортуны последнего двадцатилетия Михаилу Ивановичу Бородину. Он еще десять лет тому назад купил это место, где стоял уцелевший от времени одноэтажный, приходивший в полное разрушение домик со старым заглухшим садом, со всех сторон окруженным теперь высокими брандмауэрами соседних зданий.

Каждый день, среди кипучей неустанной деятельности, Михаил Иванович находил ча-

сок подумать о своем будущем жилище, и мало-помалу к тому дню, как оно выглянуло на свет из-за закрывших его лесов и забора, вся меблировка, все внутренние украшения были готовы. И когда Михаил Иванович, крупнейший туз финансового и официального мира, созвал к себе на новоселье своих соратников, ему было чем похвастаться.

Его дом производил впечатление не нового жилья разбогатевшего и желающего пустить в глаза пыль человека, а казался старым, поколениями насиженным гнездом людей, умевших жить и имевших на то все способы.

— Да откуда вы могли добыть такие прелести? — спрашивали его изумленные гости.

— Понемногу отовсюду, — отвечал он. — Конечно, меньше всего от здешних петербургских Линевичей. Губернская глушь наша дала немало, ну а потом за границей достал много, в Италии, в Париже...

Теперь один этот дом, с прекрасной коллекцией старых и новых картин, с драгоценным мрамором, мозаикой и старинной мебелью, уже сам по себе составлял значительное

состояние. Но для Михаила Ивановича это была просто игрушка, забава, которую он имел полное право себе позволить.

В последние десять лет во всех его разнообразных предприятиях была ему неизменная удача, его деньги, как будто магнит какой, влекли к себе новые деньги, и состояние его, как, впрочем, и всегда в таких случаях, росло с баснословной быстротой.

Этот дом, им созданный, казалось бы, мог совершенно удовлетворить его любовь к изящной, настоящей роскоши, он являлся олицетворением лучших мечтаний его юности. А между тем Михаил Иванович не был удовлетворен, несмотря на то, что он сделал все, что только можно сделать. Это царское жилище казалось ему иногда чуть что не мещанством. Он мечтал теперь о другом доме, о старом, потускневшем, обветшавшем Горбатовском доме на Мойке. Он готов был отдать десять, двадцать таких домов, как его, готов был пожертвовать большей частью своего состояния, чтобы только иметь возможность жить в Горбатовском доме, жить хозяином и иметь право оставить на облупившемся

фронто́не старый, заси́женный пти́цами герб Горбатовых под скромной дворянской короной.

Но, конечно, никто не мог подозревать его мечтаний и его недовольства. Его считали одним из самых счастливых людей в Петербурге.

В его доме жилось, по-видимому, весело, даже очень весело с тех пор, как его семья, после смерти Бородиных, переехала в Петербург. Приемы сменялись приемами, званые обеды — обедами, балы, вечера, концерты. По меньшей мере раз в неделю, с одиннадцати часов вечера и до глубокой ночи зажженные лампы и люстры озаряли набережную вокруг дома, и иной раз трудно было даже проехать от столпившихся экипажей.

Бородин еще давно, в Москве, потерял трех детей и остался со своим старшим сыном и дочкой.

Молодой Бородин теперь уже окончил курс в университете и, по желанию отца, как нельзя больше согласовавшемуся с его собственным, находился за границей, причисленным к одному из наших посольств.

Михаилу Ивановичу уже было обещано в самом скором времени штатное место для сына. Вообще относительно своего мальчика он был спокоен.

Молодой Бородин вышел юношей способным, солидным и очень благоразумным. Бояться с его стороны каких-нибудь вредных и трудно поправимых увлечений было нечего. Уезжая за границу, он имел с отцом долгую откровенную беседу, в которой изложил свои взгляды, желания и планы.

У мальчика было огромное отцовское честолюбие. Он желал играть крупную роль во что бы ни стало и, несмотря на свои двадцать два года, серьезно и уверенно сказал отцу:

— Я сердце свое держу — вот как! Оно у меня не пикнет, я знаю, что если дать ему волю, оно может наделать глупостей, которых потом и не исправишь, а я глупостей с первых же шагов своей жизни делать не намерен...

Впрочем, он напрасно и говорил о своем сердце — оно до сих пор себя еще ничем не проявило.

— Главное, — заключил он, — ты, папа, можешь быть в одном спокоен — до тридцати

лет я не женюсь, хоть режь меня — не женюсь... это первое, что я себе положил; довольно я нагляделся и знаю, какой ад — ранние браки!

Михаил Иванович даже подумал, что его мальчик чересчур благоразумен. «Но ничего! — решил он. — Так все же лучше...»

Юный дипломат остался верен себе до конца. Когда отец объявил ему цифру ежегодного содержания, какое он был намерен высылать ему за границу, Жан воскликнул:

— О, это слишком много! Мне и двух третей за глаза довольно.

Михаил Иванович улыбнулся.

— Конечно, немало! Но я так решил и для меня не составит затруднения высылать тебе эти деньги.

— Alors, tu veux que je commence à faire mes petites économies? Bon, j'accepte! [36] Я все рассчитал и разузнал, я вовсе не хочу скупиться и считать копейки, я даже изумлю своей роскошью этих немцев, там это недорого стоит... и увидишь, папа, буду присылать тебе изрядный остаток для наивыгоднейшего помещения...

— Увидим! — сказал Михаил Иванович.

Юный дипломат простился с отцом, матерью и сестрой. Когда мать благословила его, крестила и целовала, обливаясь слезами, он как бы смутился, в его молодом, румянном, чисто русском лице как бы что-то дрогнуло. Он горячее прижался к матери, но в то же мгновение совладал с собою и выехал из родительского дома спокойный и довольный. Он спешил начать свою новую жизнь; она ему улыбалась, и он считал себя для нее достаточно подготовленным.

Теперь вот уже второй год он был за границей и аккуратно, два раза в месяц, писал родителям интересные письма. Его письма могли похвастаться образцом изящного, игривого слога. Из них было видно, что он очень доволен своей жизнью, а главное, самим собою. «Я» — самодовольное, лучезарное, торжествующее — так и горело, так и переливало всеми цветами радуги с первой и до последней строчки.

Ровно через год по отъезде он писал, между прочим, Михаилу Ивановичу:

«Не высылай мне денег за первую полови-

ну наступающего года, у меня, за всеми расходами — даже квартира вперед уплачена, осталось достаточно — по меньшей мере на пять месяцев. Зачем же эти напрасные присылки? Если желаешь, употреби назначенные для меня деньги на меня же, поместив их, как найдешь выгоднее...»

Что касается дочери Лизы, которой теперь было уже около двадцати лет, отец на нее особенно рассчитывал для достижения своих заветных планов.

Лиза получила в Москве домашнее воспитание в довольно скромной обстановке дома стариков Бородиных. После смерти дедушки и бабушки, переехав в Петербург с матерью, она еще год доучивалась или, вернее, отшлифовывалась, главным образом по программе всюду поспевавшего и обо всем думавшего Михаила Ивановича. Большая часть оживления и веселости роскошного дома на набережной относилась теперь к ней. Для нее были эти вечера, балы, концерты и приемы.

Лиза вышла очень недурненькой и ловкой девушкой. Отцу легко удалось устроить для нее в обществе прекрасное положение. Чело-

век сильный, исключительно удачливый, Бородин чувствовал под собою незыблемую почву. То время, когда люди были ему нужны, уже прошло, теперь сам он был всем крайне нужен и полезен, и Лиза занимала одно из самых видных мест в обществе, к которому не принадлежала ни по воспоминаниям детства, ни по семейным своим московским преданиям.

Лиза Бородина была одна из самых блестящих петербургских невест и могла свободно выбирать между всевозможными княжескими, графскими и дворянскими коронами. Но до последнего времени она еще не думала о замужестве. Она веселилась, веселилась до одурения, наслаждалась жизнью, считала себя маленькой феей, для которой жизнь приготовила свои самые лучшие цветы и благоухания.

Лиза уже довольно наслышалась разных полупризнаний; но в ней было достаточно такта и умения, чтобы вовремя заставлять замолкать нетерпеливых претендентов.

В последний год, однако, с ней произошла некоторая перемена. Она стала иногда жало-

ваться на утомление, на нездоровье. Зоркий взгляд Михаила Ивановича не раз подмечал в ней бледность. Она даже похудела.

Ее мать встревожилась не на шутку, но Михаил Иванович успокоил жену, призвав на помощь мнение лучших докторов. Он решил только, что «пора» — и стал чаще и чаще навещать на Мойку, в дом Горбатовых.

Его отношения к братьям можно было назвать хорошими, но это не были искренние отношения. Бородину и Горбатовым было всегда неловко друг с другом. Сергей Владимирович скрывал эту неловкость под какой-то робкой ласковостью, Николай Владимирович просто избегал Бородина, как избегал и всех.

Бородин, в сущности, глубоко презирал братьев, особенно старшего. Николая он считал просто-напросто сумасшедшим. При этом он не мог победить в себе тяжелого чувства, чего-то среднего между обидой и завистью. Он ни разу не позволил себе выказать этого чувства, скрывал его даже от самого себя, но тем не менее оно существовало.

Марья Александровна была к нему не расположена. Она считала его совсем бессердеч-

ным человеком. Несмотря, однако, на это, она его принимала всегда ласково, почти по-родственному.

Однако ни хозяйка дома, ни братья не были нужны Михаилу Ивановичу. Он быстро сблизился с Гришей. Он уже давно присматривался к обоим юношам, присматривался зорко, внимательно и наконец остановил свой выбор на Грише. Скоро он убедился, что борьбы ему никакой не предстоит, что красивый офицер сам, так сказать, напрашивается на удочку, упреждает его желания.

Скоро Гриша сделался почти ежедневным посетителем дома на набережной. Между ним и Лизой еще не было произнесено ни одного особенного слова, а между тем у него с Михаилом Ивановичем почти все было решено...

VI. НЕ НА СВОЕЙ ПОЧВЕ

Если Михаил Иванович был вовсе не так счастлив и доволен своей жизнью, как это предполагали все, его знавшие, если даже Лиза несколько притомилась и побледнела от веселости, то еще менее удовлетворенной и счастливой считала себя хозяйка нового дома на набережной, Надежда Николаевна Бородина.

Хорошенькая, грациозная и мечтательная Надя, без ума влюбленная в мужа через несколько лет после свадьбы, долгое время остававшаяся наивной институткой, теперь превратилась в полную и видную женщину, сохранившую еще на своем моложавом лице много привлекательности, несмотря на всегда серьезное и даже грустное выражение, заменившее прежнюю оживленность и веселые улыбки.

Когда-то Надежда Николаевна считала себя счастливейшим существом в мире, у нее было только одно желание — чтобы так все и всегда оставалось. Ничего нового, ничего лучшего она не просила от жизни. Потребности

ее были скромные. Судьба дала так много: красивый, добрый и ласковый муж, обожаемый Миша, лучший человек во всем мире, славные детки, добрейшая свекровь, которую она любила как родную мать и считала чуть ли не святою, добродушный чудак свекор... Вместе с этим — удобный и просторный, полный всяким добром, хотя и вовсе не роскошный дом, где всем распоряжалась и хозяйничала старушка Бородина, предоставляя невестке любить мужа, мечтать, читать интересные книжки, переписываться с институтскими подругами, поддерживать небольшой кружок привычных и приятных знакомств...

Так могло продолжаться долгие-долгие годы, и Надежда Николаевна только повторяла: «Как хорошо, как приятно, как сладко жить на свете».

Но вот все это вдруг изменилось. Нежданно-негаданно открылась семейная тайна. Как ни уверял муж, что ничего дурного не будет, что все новое будет хорошее, сердце сжималось тяжелым предчувствием — и предчувствие не обмануло.

Пришлось расстаться с обожаемым мужем:

он сделался петербургским жителем. Правда, он приезжал в Москву очень часто, и эти минуты встреч приносили большое счастье. Михаил Иванович не раз говорил и доказывал ей, что их разлуки и свидания только поддерживают их любовь, превращают их в вечных жениха и невесту, в вечных новобрачных.

Но она не сдавалась на его доводы. Может быть, для него это так, — тем хуже, значит, его любовь нуждается в искусственном подогревании. Ее любовь в этом не нуждалась. Она твердо знала, что ее чувство к мужу не может охладеть, хотя если бы ей и пришлось многие годы провести с ним, не разлучаясь, в одной комнате.

В первый же его приезд из Петербурга в Москву, несмотря на всю его нежность, она сказала себе: «Он уже не тот, он изменился, прежнее счастье пропало!..»

Так оно и было в действительности. Через несколько лет этой тревожной, неестественной, как она называла ее, жизни, вспоминая прежнего своего Мишу, московского, и сравнивая его с новым, петербургским, Михаилом Ивановичем (сама не зная почему, она все ча-

ще и чаще стала называть его Михаилом Ивановичем), она с ужасом убеждалась, что это два совсем разных человека.

Почти каждый раз, приезжая, он подробно рассказывал ей о своих успехах, о своих планах, о своих делах, о быстро возрастающем состоянии. Он хотел затронуть в ней, шевельнуть любовь к блеску, к роскоши. Он говорил ей:

— Еще три, четыре года такой удачи — и у нас с тобой будут миллионы!

Она осталась к этому равнодушна. Зачем эти миллионы, что они дадут, вернут ли они прежнее счастье? Они только все больше будут отдалять от нее мужа.

Но у Надежды Николаевны, несмотря на все ее институтство, мечтательность и практичность, было много природного ума и такта, и они спасли ее от окончательного несчастья — от охлаждения к ней мужа. Если бы она с прежней откровенностью поверяла ему все свои мысли и чувства, если бы открыла перед ним все свое недовольство, жаловалась, тосковала, упрекала и требовала от него жертв, давала ему советы, вмешивалась в его

дела и планы, Михаил Иванович, конечно, очень скоро охладел бы к ней и от нее отдался.

Но она ничего этого не сделала. Оставаясь в Москве, иногда по целым дням наедине сама с собою, она бог знает сколько раз обо всем передумала, во многом себя переделала и выказала большую силу воли. Она никогда не выдала себя перед мужем. Приезжая в Москву, иногда всего на два, на три дня, он действительно отдыхал и, уезжая, невольно говорил себе: «Какая чудная женщина моя Надя!»

Михаил Иванович был неустанным работником. Весь его огонь, вся его страсть ушли в одно — в достижение богатства и силы. Ему просто некогда было думать о чем-либо ином, он был застрахован этим от сердечных увлечений. Для него существовала всегда одна только женщина в мире, одна подруга — и эта женщина была жена, Надежда Николаевна. Годы шли, проходила молодость, но он не замечал, что его Надя изменяется, полнеет, понемногу стареет. Не замечал он, что вокруг ее хорошеньких глазок собираются морщинки, что даже в шелковистых волосах ее что-то

уж очень рано мелькают серебряные нити, он не знал, почему это и так рано, — он об этом не думал. Надежда Николаевна оставалась для него прежней Надей.

Прошли еще года, пережились семейные несчастья — потеря троих детей, наконец, кончина стариков Бородиных. Надежда Николаевна вступила в новую полосу своей жизни. Она переехала на постоянное жительство в Петербург. Муж достиг всех своих целей, ей суждено быть хозяйкой одного из самых богатых домов Петербурга. Ей необходимо посещать общество, да еще какое! Надо поставить дом так, как желает этого Михаил Иванович. И она исполнила все, что он от нее требовал.

Она уже давно знала, что такова судьба ее. Переехав в Петербург, она не была поставлена в необходимость оглядывать почву: в последние годы, еще при жизни стариков Бородиных, она проводила месяца два зимой в Петербурге с мужем и, по его желанию, сделала все нужные для него знакомства.

Михаил Иванович, как ни был уверен в жене, а все же сначала несколько трусил.

«Она умна, у нее много такта; но ведь она

совсем не привыкла к обществу!» — думал он.

Однако он скоро совсем успокоился. Его Надя выдержала блистательно свой трудный экзамен. Ему ни разу не пришлось за нее покраснеть, даже не пришлось и поморщиться. Она держала себя с таким достоинством, так просто и в то же время изящно, будто всю жизнь прожила в этом обществе.

Чего ей это стоило — он о том не думал. Он не знал, как добросовестно готовилась она годами к своей новой роли.

Теперь Надежда Николаевна бывала всюду. Она принимала у себя весь Петербург. Когда она появилась в свете и заняла в нем свое место, конечно, многие петербургские дамы готовы были почесть ее за выскочку, готовы были глядеть на нее свысока, но им это как-то не удавалось.

Надежда Николаевна не искала в свете друзей, не желала ни с кем близости и короткости. Она просто исполняла свои обязанности, и в ней нельзя было найти ничего смешного, нельзя было обвинить ее ни в какой неловкости. Мало-помалу самые злые языки замолкли.

Но Надежде Николаевне эта жизнь была в большую тягость.

После смерти Бородиных она упросила мужа, чтобы он подарил ей их старый, московский дом. Он был в это время так занят делами, что ему даже некогда было удивиться ее желанию и о нем подумать. Он просто его исполнил. И вот ежегодно Надежда Николаевна уезжала в Москву с Лизой недели на две, на три, и Лиза каждый раз изумлялась тому, какая мама странная: весь день почти не выходит из дому, все переглядывает, каждую вещь, сама все чистит и уставляет на прежнее место, как будто этот старый, бедный дом, с его мещанской, допотопной обстановкой стоил какого-нибудь внимания!

Конечно, Лиза не могла понять, Лиза, рвущаяся в Петербург, к покинутому ею там веселью, торжествам и победам, что этот дом с его грошовой обстановкой для ее матери не что иное, как дорогая могила молодой жизни и молодого, давно потерянного счастья, на которой отрадно отдохнуть и поплакать...

Через несколько дней по своем возвращении с похорон Бориса Сергеевича Горбатова

Михаил Иванович пошел к жене. Такие визиты его в эту ее собственную, уютную комнату, куда не допускался никто из посторонних, были довольно редки, и Надежда Николаевна их особенно ценила. Хотя от прежнего Миши уже теперь совсем ничего не осталось, хотя он совсем заледенел и закаменел, как она с ужасом себе не раз говорила, тут же и раскаяваясь в этих своих мыслях, считая себя несправедливой перед ним и даже греховной, все же Надежда Николаевна боготворила и этого каменного, заледеневшего Михаила Ивановича.

Он был для нее — все. Она встретила его радостной и так редко теперь озарявшей ее лицо улыбкой. По старой, уцелевшей от далекого времени привычке она поправила ему галстук и поцеловала его руку.

Он называл это «институтством», но до сих пор ценил это. Он наклонился к ней, взял ее обе маленькие, все еще красивые руки и целовал их одну за другою.

— Какие у тебя славные духи! — сказал он. — Я никогда не слыхал такого запаха, прелесть! Впрочем, — прибавил он, глядя ей в

глаза, — у тебя всегда все особенное и все вокруг тебя такое хорошее... Я ужасно люблю эту твою комнату...

Она подумала невольно, что если бы действительно было так, то он чаще бы сюда заглядывал, чаще был бы с нею. Но она, конечно, не сказала ему этого. Она была ему благодарна, хотя бы уж и за одни эти слова, заставившие дрогнуть ее сердце. Она глядела на его склоненную к ней голову с поредевшими кудрями, с заметной сединой, со светящейся уже сильно макушкой, глядела на его лоб, поперек которого легли глубокие морщины, — и он казался ей все таким же юным красавцем, какого она встретила давно, давно, в Москве, скромным архивским чиновником и которому сразу же, с первой минуты встречи, поклонилась, как своему законному властителю...

Она усадила его рядом с собою на диван, подложила под его локоть мягкую подушку, вышитую шелками еще покойной старушкой Бородиной, и между ними начался разговор, переходивший от предмета к предмету. Короткие вопросы, короткие ответы. Говорилось, конечно, и о Жане, от которого еще вче-

ра было получено письмо, и о Лизе...

— Совсем она у нас избаловалась! — сказала Надежда Николаевна. — Да и как иначе при такой жизни! Мне вот чем тише, чем спокойнее — тем лучше. Я и в ее годы была такая, а она втянулась, без вечного шума жить не может, не знает, куда деваться...

— Ничего, пусть поскучает, — заметил Михаил Иванович. — Веселиться теперь нельзя — неловко, ведь все знают, что я потерял не простого знакомого. Но ты успокой ее — это не надолго будет. Мало-помалу, в середине зимы, все ее веселости вернутся. Балов мы задавать этот год не будем — это нельзя, но мало ли что можно придумать... А как ты находишь, поправилась она за лето? Мне кажется, она свежее...

— Ну, знаешь, в Петергофе не особенно поправишься! — вздохнула Надежда Николаевна. — Все лето было то же, что и здесь. Конечно, она посвежела, да надолго ли?

— Ее эту зиму выдать замуж надо! — вдруг объявил Михаил Иванович.

— Как замуж?! Как эту зиму?! — невольно воскликнула Надежда Николаевна.

Он улыбнулся.

— Что же это ты испугалась? Разве тут что-нибудь такое неожиданное для тебя? Ведь надо же выдать ее замуж, — пора, тогда и от ее скуки, и от ее бледности ничего не останется. Ведь ей уже двадцатый год, а светские девушки зреют быстрее... Разве ты не согласна со мною, что ей пора замуж, разве ты имеешь что-нибудь против этого?

— Что же я могу иметь — это неизбежно. Только как это ты говоришь «эту зиму надо замуж выдать!». Как будто это можно вдруг пожелать — и сделать.

— Конечно, можно, что ж, женихов что ли нет у нашей Лизы?

— Женихи есть! — протянула Надежда Николаевна. — Только она никого не выбрала.

— А ты в этом уверена? — с серьезным выражением в лице быстро спросил Михаил Иванович.

— Уверена! — твердо ответила она. — Неужели ты думаешь, что я не слежу за нею и что, если бы она кому-нибудь оказала предпочтение, если бы кто-нибудь ей особенно нравился, я бы этого не знала?

— Конечно, конечно, я знаю, что ты как на-
седка стоишь над Лизой, знаю, что до сей ми-
нуты ты была самым неутомимым и ловким
ее шпионом.

— Я поступала, как находила нужным. И в
прошлом году, если бы я не была шпионом,
как ты говоришь, если бы не заметила вове-
ремя, что граф Вольский имеет на Лизу серьез-
ные виды, дело могло бы нехорошо кончить-
ся. Лиза начинала предпочитать его, я вове-
ремя остановила...

— Лизу за этого негодяя, — воскликнул Ми-
хаил Иванович, — избави бог!

— Вот видишь, то-то же! А теперь... разве
ты о ком-нибудь подумал?

— Да, подумал...

Она так вся и насторожилась.

— Неужели Гриша Горбатов?

— Конечно, он! Но ты говоришь так, как
будто ты бы этого не желала.

— Михаил Иванович, подумай, ведь он ей
все же близкий родственник, это нехорошо,
это не годится!

Все его лицо вдруг вспыхнуло.

Она пуще всего боялась этой внезапной

краски. Он так краснел редко, только тогда, когда был очень рассержен. Когда он так краснел — это значило, что у него было какое-нибудь серьезное желание, которое во что бы то ни стало должно было исполниться.

Надежда Николаевна поняла, что Лиза теперь неизбежно будет замужем за Горбатым, что восставать против этого решения бесполезно. И она совсем смолкла.

— Какой вздор!.. — между тем воскликнул Михаил Иванович. — Во всем мире это делается, и ничего тут нет дурного, а напротив... Я Гришу хорошо знаю: он отличный, серьезный молодой человек, от него многого можно ожидать в будущем. Лиза с ним будет счастлива... Уверен в этом.

— Если ты уверен, если ты непременно хочешь — о чем же говорить, я против тебя не пойду.

— Да нет, пойми, — горячо говорил он, но краска раздражения уже сбежала с его лица, — пойми, я вовсе не хочу, чтобы ты настолько соглашалась со мною, разбери и ты увидишь, что из всей этой молодежи, у нас бывающей, Гриша лучше всех, надежнее

всех...

Он стал подробно объяснять ей достоинства Гриши, свои планы насчет его будущности, карьеры...

Она слушала его внимательно и кончила тем, что с ним согласилась. Но насколько это согласие было искренно — про то она одна знала...

С этого дня Гриша еще чаще начал бывать у них в доме и скоро всем стало ясно, начиная с прислуги и кончая обычными посетителями, что это — жених.

VII. БЛАГОРАЗУМНОЕ СЧАСТЬЕ

Гриша, как человек благоразумный, не торопился и не спешил, и все, чего он желал, исполнялось «своевременно».

Хотя в доме Бородиных и не было официального траура по Борису Сергеевичу Горбатову, но всю первую половину зимы Михаил Иванович не допускал у себя никаких шумных празднеств. Надежда Николаевна и Лиза почти никуда не выезжали, и это дало возможность Грише особенно сблизиться с Лизой. Он теперь очень часто проводил с нею по

нескольку часов почти вдвоем. Надежда Николаевна, хотя и наблюдала за ними, но давала им значительную свободу.

Все это сделалось как бы само собою, понемногу, естественно. Лизе ни мать, ни отец ничего не говорили. Только она знала теперь из многих разговоров, что они почему-то особенно любят Гришу или, вернее, особенно полюбили в последнее время. Сама она давно уже к нему привыкла, всегда, по-видимому, была довольна его появлению, обращалась с ним дружески, позволяла себе даже некоторые милые фамильярности, чего никогда не допускала в отношении к другим молодым людям.

Наконец она стала ловить себя на мыслях: «А что будет, если она выйдет замуж за Гришу? Да нет, с какой же стати, разве он жених? Он свой человек, он родной...»

Как ни старались Бородины скрыть это обстоятельство и от Жана, и от Лизы, этого не удалось сделать. Да уж одно то, что в доме Горбатовых было несколько портретов покойного Владимира Сергеевича и что Лиза видела эти портреты, должно было ей открыть

глаза. На всех этих портретах сходство с ее отцом было поразительное.

«Нет, какой же он жених!» — говорила она себе.

А мысль о замужестве уже явилась, слово «жених» было произнесено, и вот она начинала перебирать всех своих знакомых молодых людей, всех, кто за нею ухаживал в прошлую зиму. Оказывалось много, но ни к кому из этих молодых людей, по большей части титулованных, и во всяком случае, из лучших фамилий, она не чувствовала ровно никакого влечения. Иногда, глядя на Гришу, слушая его симпатичный голос, дурачась и смеясь с ним, она находила, что он очень красив, что он «такой милый...».

Когда случалось, что он целовал ее руку, здороваясь или прощаясь, и она с ним была одна — она непременно краснела и выдергивала руку, а почему — и сама не знала. Но, очевидно, тут было уже не родство, и она, если прежде и глядела на него как на родного, теперь так глядеть переставала.

А время шло и кончилось тем, что если Гриша не являлся дня три, ей чего-то недоста-

вало. Она к нему привыкла, он развлекал ее, он за нею ухаживал не так, как другие, на вечерах и балах, а ухаживал постоянно, в домашней обстановке — и это было совсем иное. Это было новое и оказалось ей приятным...

Что касается Гриши, он был искренен, когда говорил своему двоюродному брату, что хотя и не влюблен в Лизу, но очень ее любит. Она ему действительно теперь нравилась более всех молодых девушек, каких он знал. В эти же последние месяцы, решив, что она должна быть его женою, видя ее постоянно, чувствуя ее близость, находясь почти ежедневно, так сказать, в ее атмосфере, он начал даже увлекаться ею.

Это не была страстная любовь, но его к ней влекло, он ее жалел, она представлялась ему в соблазнительном свете. Он думал о ней, иногда даже не сознавая, что думает. Он находил, что Лиза все хорошеет и хорошеет.

Это ему так казалось. Лиза ничуть не похорошела. Она была такой же, как и несколько месяцев тому назад. Но она действительно была миленькая девушка, хотя и ничем осо-

бенно не выдающаяся. Ему нравились ее карие глаза с длинными ресницами, нравилось, как она их полузакрывает и при этом горделиво поднимает голову и вдруг делается похожей на своего отца и на его деда (только это и было в ней с ними сходство). Нравился ему ее короткий, как будто чуточку обрубленный носик, и полные губки, — она их как-то совсем по-детски облизывала, когда была чем-нибудь очень довольна. Особенно нравились ему ее большая родинка на правой щеке, и ее полные белые руки, и ее стройная ножка, которую он как-то хорошо разглядел, когда она бежала перед ним по лестнице и зацепила себе платье, а он, нагнувшись, ей отцепил его.

С этого раза он тщательно искал случая полюбоваться Лизиной ножкой, а случая, как нарочно, не представлялось — и это его бесило. Кончилось тем, что он сделался даже нетерпеливым. Но ему не пришлось терпеть и ждать, — все устроилось к этому времени.

Он уже переговорил с министром, и тот сказал ему, что принимает его к себе в чиновники особых поручений. Тогда Гриша, не откладывая ни минуты, подал в отставку. Пол-

ковые товарищи сначала были изумлены, даже почти обиделись, стали его всячески отговаривать. Но ввиду его непреклонности задали ему прощальный обед и заказали для него великолепный альбом на память. Военное начальство простилось с ним как с хорошим офицером.

Вот получена и отставка. И в то же время, в тот же самый день, Михаил Иванович был у его родителей. Наконец все решено, остается объясниться с Лизой.

Михаил Иванович прямо сказал ему, что ни он, ни жена его ровно ничего не говорили дочери, что она должна решить сама и они в это вмешиваться не станут.

— А потому, друг мой Гриша, — прибавил с улыбкой Михаил Иванович, — может, ты и еще отставку получишь... не ручаюсь, это уж твое дело, а я сторона. Приезжай завтра утром и старайся выиграть сражение, пока еще не снял эполеты.

— Нет, я приеду именно без эполет, — сказал Гриша. — Я снимаю их сегодня вечером и облакаюсь в штатское платье. Я с Лизой буду говорить таким, каким отныне должен быть

всегда перед нею, то есть без всяких прикрас этого мундира. Может быть, я ей покажусь смешным, безобразным, но именно потому и явлюсь штатским.

— Дело, дело, мой друг, одобряю! — сказал Михаил Иванович.

Он крепко сжал руку Гриши и потом его обнял. Насколько мог, он начинал любить его. Он был им до последней степени доволен.

Гриша так и сделал, как сказал. Приехал на следующее утро в черном сюртуке и цилиндрической шляпе.

Внизу великолепный швейцар укоризненно покачал головою и осмелился заметить:

— Эх, что это вы так, сударь Григорий Николаевич, в военном-то вам не в пример больше к лицу было!

— Ничего, сойдет и так! — проговорил Гриша.

Хотя и уверенный в себе, но он был несколько нервен и чувствовал себя не совсем ловко.

— Его превосходительство с полчаса как изволили выехать, — доложил швейцар, — барыня тоже от обедни еще не возвратилась.

— А барышня?

— Барышня дома, надо полагать в концертном зале, слышно было, как играла... Да вот, извольте прислушаться, это, наверно, они играют...

Откуда-то издали действительно доносились звуки рояля.

Гриша быстро поднялся по широкой мраморной лестнице, взглядывая в зеркала. Он чувствовал себя очень странно, очень неловко в своем новом костюме, как будто он был не одет, будто в халате. Он почти вбежал в концертный зал и увидел в глубине этой обширной, великолепной, но строгой и холодной комнаты Лизу.

Она сидела за роялем, лениво перебирая клавишами. Отрывистые и довольно беспорядочные звуки уносились к высокому куполу. Заметя вошедшего, Лиза встала с табуретки и пошла ему навстречу, скользя своими маленькими ножками по блестящему, как зеркало, мозаичному паркету. Она щурила глаза и вглядывалась, так как была близорука. Она почти совсем подошла к нему и все еще не узнавала, — он это ясно видел по изумленно-

му, вопрошающему выражению ее лица.

Он отвесил глубокий поклон, и ему опять показалось, что он раздет и в совсем неприличном виде.

Наконец Лиза засмеялась.

— Григорий Николаевич, так это вы, нет, это не вы... Прочь, прочь, я и знать вас такого не хочу!.. Уходите, слышите?.. Фу, какой противный!.. Mais vous savez, vous êtes même ridicule!., tournez-vous... comme ça... non, décidément ça ne vous va pas! Vous devez reprendre votre jolie uniforme... [37] слышите — уезжайте и являйтесь прежним... а так я с вами и говорить не стану... не принимаю, меня дома нет... слышите!..

В то же время она протянула ему руку, которую он пожимал и не выпускал.

— Отчего у вас такая холодная рука? — спросил он, наклонился и поцеловал эту действительно холодную руку.

— Да разве вы не чувствуете, что здесь совсем мороз? Я замерзла, знаете, уж совсем сон клонил, совсем. Пойдемте скорее вот сюда, в зеленую комнату, там камин затоплен.

Она взяла его под руку, и они побежали и

остановились только в самом изящном уголке у пылающего камина. Лиза упала в кресло и вытянула к камину ножки.

Гриша придвинул себе кокетливый пуф и очутился совсем рядом с нею.

— Так я кажусь вам очень безобразным в этом моем новом наряде? — спрашивал он, заглядывая ей в глаза.

— Очень!

— Но ведь что же мне делать, ведь это неизбежно, таким я всегда теперь буду...

Она окинула его быстрым взглядом...

— Если неизбежно, так что ж и говорить об этом! Конечно, мне жаль вашего мундира, это мой любимый мундир, и он очень шел к вам... Но успокойтесь, я вам скажу правду, я думала, что это будет гораздо хуже... Всякий отставной военный, особенно в первое время, просто невыносим, даже какая-то неприличная фигура!.. Ну, а вы ничего, вы приличны даже... даже это вам идет, только вы совсем другой, в новом роде.

— Вот и прекрасно!

И опять его рука подобралась к руке Лизы и ее охватила.

— Теперь потеплела, — сказал он.

Лиза сделала вид, что не замечает, что не чувствует его пожатия, но все же высвободила свою руку.

— Что же вы намерены теперь делать, Григорий Николаевич?

— Как что?! Служить... ведь вы же знаете...

— Да!.. И вы уже получили место?

— Конечно, все устроено. Этот год прослужу здесь, а через год... через год — в провинцию.

— Надолго?!

— Нужно постараться, чтобы не надолго, там будет видно...

— И вы не соскучитесь?

— Полагаю, что соскучусь ужасно... если придется там жить без вас...

— Как без меня?!

Она вспыхнула, хотела было взглянуть на него, да и не взглянула.

У него немного пересохло в горле.

— Да, без вас!.. Я просто не буду в состоянии уехать из Петербурга, если вы со мною не поедете...

— Гри... Григорий Николаевич, что за глу-

пости вы говорите!..

Но он уже завладел ее руками, он целовал их и шептал:

— Ли... Лиза, скажите, согласны вы?..

Она краснела больше и больше, но не отнимала рук своих и все ниже и ниже склоняла голову.

— Да?.. Да?! — шептал он и, сам не зная как, громко поцеловал ее пылавшую румянцем щеку.

— Да!.. — наконец расслышал он слабый, как бы нерешительный шепот.

Тогда он охватил крепкой рукою ее гибкую талию, он чувствовал под своими пальцами биение ее сердца, старался повернуть к себе ее лицо. Но она отворачивалась и наконец совсем от него вырвалась.

Она стояла перед ним, почти закрыв глаза, высоко подняв голову, и кончик языка так и бегал по горячим губкам, а прелестная родинка на правой щеке чернела, со всех сторон охваченная румянцем.

— Но если они не согласны? — наконец произнесла она, тяжело переводя дыхание.

— Согласны... согласны... я наверно это

знаю! — почти закричал он.

Впрочем, ведь и она это хорошо знала.

— И ваши?.. — спросила она.

— И мои, конечно!

Лиза отошла за свое кресло, будто желая таким образом защищаться от возможности нового нападения. Вдруг по ее лицу скользнула лукавая усмешка.

— Хорошо, да, только с уговором — пусть это будет не раньше того времени, как вы поедете в провинцию.

Гриша даже растерялся.

— Лиза, да что это, бог с вами, за что же это мне ждать целый год, может быть, больше года?!

— А разве я вам здесь нужна, ведь я для провинции, чтобы там не скучать, ведь вы сами это сказали...

Он бросился вперед, оттолкнул кресло и, прежде чем она успела опомниться, стал обнимать и целовать ее в глаза, щеки, губы... И она не отбивалась. Но вдруг она проговорила, будто испугавшись:

— Слышите!

Он оставил ее, прислушался.

— Что такое? Что — слышу?..

Она ничего не ответила и выбежала из комнаты.

Он остался дожидаться возвращения Надежды Николаевны.

Все лицо его сияло радостью и сознанием блистательной победы, сулившей ему впереди, как он был уверен, только одно хорошее.

А Лиза между тем пробежала прямо к себе и остановилась взволнованная, с горящей головою. Но вот мало-помалу ее волнение стало стихать и стихло до того, что она даже задала себе вопрос:

«Что же это я такое сделала? Хорошо ли?.. Ведь это навсегда, навсегда!..»

Она склонила голову и вслушивалась в пробегавшие мимо нее мысли. Наконец она решила, что хорошо: он такой милый, такой славный, такой забавный. Конечно, он лучше всех. Перед нею в неясном, но светлом тумане промелькнула картина ее будущей жизни, широкой... веселой... Она представила себя первой дамой в губернии. Потом опять здесь, в Петербурге... и главное — свобода!..

«Отчего это Горбатовы не князья и не гра-

фы? — вдруг спросила она себя. — Даже странно!.. Папа говорит, что это чуть ли не самый старинный и знатный русский род... Все князья, все графы, а они нет!»

Она почувствовала большую досаду, даже очень большую; но успокоила себя тем, что, наверно, это можно устроить. Ее папа захочет и устроит. Пороются там где-нибудь в архивах и, конечно, найдут такие документы, по которым окажется, что Горбатовы имеют право на титул. А если так нельзя, в крайнем случае ведь можно купить себе княжество... Вот Демидов же купил. Сначала его называли Демидов, князь Сан-Донато, теперь уже его называют — князь Демидов. Так и они могут сделать... «А какой он милый-милый!..» — пришла новая мысль, и ощущение его поцелуев охватило ее трепетом.

«Как же я выйду? Ведь мама, наверное, приехала... Там он или нет?..»

Она подождала немного и вышла, наконец, из своей комнаты, как-то растерянно, смущенно оглядываясь...

VIII. ПЕЧАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

В одном из новых огромных домов, с необычайной быстротой выросших на месте деревянных лачужек Знаменской, занимал квартиру князь Янычев.

Если спросить какого-нибудь истого петербуржца, знает ли он князя Янычева, такой петербуржец непременно отвечал:

— Как не знать, кто же его не знает! — и при этом улыбался. — Он, говорят, еще недавно какую-то удивительную шутку выкинул — жидо-ростовщика Эршеля надул... понимаете ли, Эршеля! Этого выжигу, который сам говорит, что его даже черт ни под каким видом не надует. Жид от такой обиды чуть не повесился, заболел разлитием желчи...

Затем начинались удивительные рассказы о приключениях и шутках князя Янычева.

Всем, например, было известно, что он, служа где-то на Кавказе или в Сибири и надев, по своему обыкновению, долгов, убедился в один прекрасный день, что дело его плохо, что вывернуться нет никакой возможности. Случилось это именно в такое время, ко-

гда ему до «последнего зареза» надо было ехать в Петербург. Кредиторы обступили его со всех сторон — не выпускают, целая облава. А не выедет он через дня два, три — упустит большое дело. Что тут придумать?

Князь послал за дюжиной шампанского и напился, по его выражению, до «белого слова». Все его лучшие вдохновения приходили ему именно тогда, когда он находился в подобном состоянии.

Так случилось и теперь; ему мелькнула счастливая мысль, и когда он вытрезвился, она не только не исчезла, а напротив, он развил свой план во всех подробностях.

Он заперся у себя на целый день, предварительно, впрочем, сходя в церковь и купив там чуть не целый свечной ларь. Он растопил огромное количество восковых свечей, затем отесал круглый деревянный болванчик и стал налепливать на него воск. Мало-помалу под его искусными пальцами (он был художник-самоучка и, может быть, из него вышел бы очень хороший скульптор, если бы в юности он учился как следует) образовалась человеческая голова. Еще час, другой — и эта

голова получила удивительное сходство с ним самим.

Тогда он вплотную обстриг себе волосы и украсил ими вылепленную им голову. То же самое сделал он со своими усами и роскошными бакенбардами. Затем он взял краски, художественно раскрасил ими восковое лицо, придав ему вид ужасающей мертвенности...

Наконец, когда работа эта была готова и он остался ею вполне доволен, вылепил он восковые руки. Потом, из туго набитых подушек, устроил род человеческого туловища, соединил это туловище с восковой головой и руками.

Остальное не представляло никакой трудности. Он облек куклу в свой мундир, в свои сапоги, уложил ее на стол и долго любовался ею с чувством художника, удовлетворенного своим заветным произведением.

Кукла действительно была несравненно больше похожа на князя, чем он сам теперь, остриженный, с обритыми бакенбардами и усами.

Потом он написал отчаянную приглашительную записку одному своему товарищу и

закадычному другу, такому же теплому малому, как он, и послал ему ее с своим верным денщиком, преданным ему по гроб жизни малороссом, который помогал князю в его работе и с хохлацким злорадством заранее наслаждался шуткой пана и тем, как москали будут надуты.

Приятель князя поспешил на зов. Вошел в комнату, взглянул на стол, на куклу, подошел к ней, нагнулся — и отшатнулся в ужасе. Самого князя, стоявшего тут же в штатском платье, он не узнал.

— Бог мой! — воскликнул он. — Да когда же он успел умереть?.. Что же это?..

Князь захохотал счастливым смехом.

— Ну, значит, удачно сделано!

Он сговорился с приятелем, тот согласился помочь ему и все устроить...

На следующий день в городе узнали о смерти князя. Кредиторы не верили, сбежались со всех сторон. Князь лежал на столе, приятель его всем распоряжался. Он оказался его душеприказчиком и исполнил свою роль так удачно, что кредиторы согласились получить чуть ли не по пяти копеек за рубль. По-

лучили они эти деньги от приятеля князя, и все векселя были разорваны. В тот же вечер кукла была уничтожена, а князь на следующий день спокойно выехал в Петербург...

Потом, через многие годы, подобную историю стали рассказывать как легенду, считая ее героем то одного, то другого. Но единственным истым героем, действительно творцом этой гениальной выдумки был князь Янычев.

Так как вдохновение его во время дней бед и напастей почерпалось в вине, то князь иногда чересчур часто искал этого вдохновения. И был период его жизни, когда он попросту говоря, дошел до запоя.

К этому времени тоже относится характерный о нем рассказ.

Он жил тогда в Москве. Наведывается к нему какой-то заезжий приятель.

— Дома князь?

Неизменный хохол-денщик, оставшийся при князе и по окончательном выходе его в отставку, отвечает, что пан дома, и проводит гостя в довольно обширную залу.

Дело было вечером. Гость остановился в изумлении. Зала была вся белая: белые обои,

пол покрыт белым полотном, освещение ослепительное. По стенам зажжены свечи, зажжена огромная люстра. Свечи поставлены всюду. Мебели никакой. А под люстрой, посреди залы, на полу, в белом медвежьем меху сам князь. Лицо красное, глаза налиты кровью...

При входе гостя он зарычал, перевалился с боку на бок и затем самым серьезным тоном объявил:

— Я белый медведь... среди полярных льдов и вот, — он указал на зажженные свечи, — это северное сияние!

Оказалось, что уже третий день князь изображает из себя белого медведя...

Однако его натура была такова, что ему удалось вылечиться и он даже почти совсем перестал пить.

Когда его спрашивали приятели, каким образом он избавился от своей пагубной страсти, он говорил, что его вылечил какой-то знахарь, давший ему проглотить в рюмке с вином «лесного клопа». Хохол-денщик уверял, что точно так оно и было. Но так или не так, князь остался жив и невредим.

Переселился он в Петербург и здесь время от времени придумывал разные шутки. Но теперь эти шутки были гораздо осторожнее, в них замечалось гораздо меньше оригинальности, новизны. Вдохновение, очевидно, ослабло, выдохлось.

И такой-то человек был отцом семейства. В один прекрасный день, где-то в уездном городе и вряд ли в трезвом виде князь женился. Никто никогда не узнал, как это случилось, кто такая его жена, есть ли у нее родные и какие.

Княгиня была кроткая, забитая, невидная и неслышная женщина. Она пожила с мужем лет десять, видя его за это время в общей сложности не более как года полтора, а затем умерла — так, как и жила, невидно и неслышно, оставив ему пять человек детей. Детей из жалости прибрала какая-то его тетка и крестная мать, воспитывала их у себя в деревне. Но теперь она уже несколько лет как умерла, не позаботясь о духовном завещании. Ее имение перешло по закону к другим родственникам.

Князь забрал детей и в настоящее время жил с ними в Петербурге, чем и как жил —

решить это было довольно трудно. Но, конечно, главным источником его доходов являлось опять-таки вдохновение. А так как вдохновение иссякало, то жизнь становилась все более и более трудной.

Когда-то князь был богат и, мало того, он несколько раз в течение жизни получал значительные наследства. Но все это давно было съедено, пропито, проиграно в карты, просорено направо, налево. У него еще оставалось где-то в Тамбовской губернии какое-то имение, оставалось потому, что продать его было нельзя — оно принадлежало детям. Но имение это давно уже было заложено и перезаложено, в него никогда не заглядывали и оно не давало почти никакого дохода.

Теперь князь Янычев был грузным, обрюзгшим человеком лет пятидесяти, заросшим черной, с проседью, курчавой бородою, с большой лысиной на голове, с налитыми кровью и вылезавшими, как у рака, глазами, с хронически опухшим носом, испещренным синими жилками.

Он употреблял все усилия, чтобы казаться новым человеком, то есть приличным, солид-

ным и даже изящным. Чем обстоятельства делались запутаннее, тем он больше франтил. Но большую часть жизни проведя в разных захолустьях, Бог знает в каком обществе, он носил на себе несмываемые следы своего легендарного прошлого, и ему никак не удавалось подойти под общий уровень. Где бы он ни появлялся, каждым своим бессознательным движением, каждой миной, каждым словом он обращал на себя внимание, выделялся, бил в глаза.

То общество, к которому он принадлежал по рождению, родству и прежним связям, уже не признавало его своим человеком, и с каждым годом он убеждался, что все усилия остаются тщетными, что для него мало-помалу закрываются все двери, куда он стучался.

В Москве у него было немало родных, и Москва оказывалась добродушнее Петербурга: его еще там кое-где принимали, и в минуты крайнего бедствия он даже и не один, а со всеми детьми, туда скрывался, находя гостеприимство у двух-трех кузин. В Петербурге же его общество было крайне смешанным. Все его знакомства заводились быстро и

неожиданно, и еще быстрее и неожиданнее прекращались.

Каким он был отцом? Ему казалось, что очень хорошим, он даже нередко думал о своих детях, тревожился за их будущность. Для них он и хотел возобновлять прежние связи, казаться новым человеком. Прежде он рассчитывал, что та тетка, у которой они воспитывались, о них позаботится и их устроит. Когда этот план рухнул, он, по его выражению, делал для них что мог. Он перезаложил их имение и жил на эти деньги целый год, наняв в Петербурге прекрасную квартиру, меблировав ее, как ему казалось, «по-княжески». Он нанял для дочери гувернантку, сыновьям взял студента. Ему ужасно хотелось, чтобы его дом имел вид настоящего барского дома.

Но это не удалось. Деньги были съедены. Мальчиков он пристроил в военную гимназию; среднюю дочь отдал в институт и остался со старшей, княжной Еленой, которой уже исполнилось восемнадцать лет, и младшей, Нетти, девятилетней девочкой.

Экипажи и лошади продавались и покупались. Каждый год князь переезжал с кварти-

ры на квартиру и всегда имел неприятности с прежним хозяином, по случаю неуплаты.

Несколько раз его московские кузины просили его отдать им девочек. Он хорошо понимал, что для него это было бы истинным благодеянием. Но в нем было какое-то болезненное упорство — он наотрез отказался от предложения кузин, и они могли от него добиться только того, что он месяца на два отпускал к ним Елену и Нетти.

Старшая княжна была очень недурненькая девушка, яркая брюнетка, в отца, с великолепными огненными глазами, иногда как бы заволакивавшимися туманом, что очень шло к ней; с очень заметным, темным пушком над несколько приподнятой и неподвижной верхней губкой. Вьющиеся и непослушные, иссиня-черные ее волосы всегда выбивались шаловливыми завитками и окружали ее круглую головку как бы ореолом. Она была румяна, но неровным, лихорадочным румянцем, то вспыхивавшим, то пропадавшим. Среднего роста, хорошо сложена, хотя с наклонностью к полноте.

Сразу ее можно было почесть очень креп-

кой и здоровой, но, взглядевшись внимательно, в ней легко было заметить все признаки сильной нервности.

Да и как она могла не быть нервной! Ее жизнь сложилась тревожно и нерадостно. Ей не было еще девяти лет, когда умерла ее мать. В деревне, у двоюродной бабушки, жилось хорошо, да и то не совсем — старушка была нетерпелива, взыскательна и даже несколько сурова в обращении. Девочка, избалованная матерью, не могла не чувствовать своего сиротства. Ей минуло четырнадцать лет, когда умерла старушка и отец привез ее в Петербург.

Сначала все шло хорошо, пока имелись деньги, вырученные за детское имение. Но эти месяцы промелькнули быстро, а затем начались всякие беды. Полное безденежье, иногда необходимость отказывать себе в самых нужных вещах, переезды с квартиры на квартиру, неприятности с прислугой и поставщиками, — одним словом, позолоченная нищета. И тогда, когда девушка, вследствие исключительных обстоятельств своей жизни очень рано развившаяся, уже все хорошо понимала.

Она знала иную жизнь, богатую, спокойную и изящную, приходила с нею время от времени в соприкосновение и здесь, в Петербурге, и в Москве, у тетки. Она любила эту жизнь, считала себя для нее предназначенной, — ведь она княжна, у нее есть знатные родные... Тем ужаснее ей была ее домашняя жизнь с отцом, тем унижительнее.

Княжна была неглупа от природы, но она не получила почти никакого образования, училась урывками, кое-чему и кое-как, а к пятнадцати годам и совсем прекратила ученье — некогда было. Дома она являлась хозяйкой, а то гостила у тетки, и тогда, конечно, никто не думал об ее учении. Даже непонятно, как еще она приучилась бойко болтать по-французски и немного по-английски и, когда было нужно, удачно играть роль светской барышни.

Дома, без посторонних, она делалась совсем другою. Единственным ее занятием в часы досуга было чтение романов — но каких?? Никто никогда, конечно, не руководил выбором ее книг, и она, к семнадцати годам, начинталась всяких пошлостей и гадостей, всяких

бульварных французских романов в оригинале и в плохих русских переводах. Ее воображение было расстроено и извращено до последней степени, хотя она, конечно, не сознавала этого и хотя до сих пор еще не проводила своих фантазий в действительность.

Конечно, если бы княжна захотела, она могла бы, пожалуй, настоять на своем, заставить отца согласиться на предложения его кузин. Она даже очень желала этого. Но тут оказывалось нечто странное. Ее отношения к отцу были совсем особенные. Она его вовсе не любила, еще менее того уважала. Она знала о нем даже многое такое, чего не знали рассказчики его всевозможных приключений. Иногда он казался ей просто страшным, она его боялась. К этому страху примешивалось порою почти отвращение. Но, несмотря на это, он имел над нею огромное влияние. Откуда оно происходило — неизвестно. Сама она, а уж тем менее кто-нибудь из посторонних, никогда не задавали себе этого вопроса.

Получает княжна письмо из Москвы: тетка ее приглашает на праздники, обещая ей всякое веселье. Она в восторге. Приходит про-

ситься у отца.

Тот глядит на нее своими вытаращенными глазами и отвечает:

— Нет, к чему тебе ехать, нечего у этой старухи нахлебничать... знаю я ее — зовет... зовет, а потом станет по всей Москве трубить, что мы ее объедаем... оставайся — и здесь на праздниках будет тебе весело...

Княжна очень хорошо знает, что отец неправ относительно тетки, особы очень доброй и деликатной, и еще лучше знает, что в Петербурге, кроме скуки и унижительных домашних сцен, ничего не придется видеть. Но она не возражает, она опускает глаза под отцовским взглядом, возбуждающим в ней какой-то странный трепет, и покорно говорит: «Хорошо». Она идет в свою комнату, пишет тетке, что ехать не может, а затем ложится на кровать и выходит через часа два-три, к обеду, с опухшими от слез глазами...

Иногда отец вдруг войдет к ней и скажет:

— Одевайся, едем в театр!

Она располагала совсем иначе провести вечер, ее ждут у знакомых, где ей непременно было бы очень весело, где есть красивый мо-

лодой офицер, который за нею сильно ухаживает. Она сама себе уже призналась, что влюблена в него. Там устраивается катанье на тройках, она должна ехать с ним, обещала ему.

— Что же ты молчишь... одевайся скорее, не то мы опоздаем, — раздраженно говорит отец, пронизывая ее своим взглядом.

— Хорошо, я сейчас... — шепчет княжна и едет с отцом, и весь вечер волнуется, доходит чуть не до истерики...

Если ее кто-нибудь спрашивал об ее здоровье, она всегда со смехом отвечала:

— Да разве я могу быть больна? Я всегда здорова!

Но ей это только так казалось. На нее несколько раз в год находило какое-то странное состояние, что-то вроде спячки, спячки даже наяву, с открытыми глазами. Она дня два-три ходила, говорила, ела, одним словом, жила как бы машинально, в каком-то тумане. Затем это странное состояние разрешалось уже настоящим сном. Она спала иногда часов двадцать подряд, не шевелясь и не просыпаясь ни на минуту.

Когда же сон этот проходил, она оказывалась совсем здоровой, бодрой. Тумана уже никакого не было. Только она совсем не помнила, что было с нею в предыдущие два-три странных дня. А если кое-что и вспоминала, то как будто это произошло не в действительности, а в далеком, неясном сновидении.

Княжна почему-то никому не говорила об этих странностях и совсем о них не думала. Она была убеждена, неизвестно на каком основании, что это «так», ничего, что это со всяким человеком бывает.

IX. ОПЯТЬ КОКУШКА

Конец прошедшего лета княжна провела у своей московской тетки, Кашиной.

Эта Кашина была очень богатая вдова, оставшаяся с тремя дочерьми, из которых старшая только что вышла замуж, а две младшие были большими приятельницами княжны.

Кашина, после смерти мужа, вела довольно скромный образ жизни, и в доме у нее, по общему мнению, было скучно. Летом она неизменно жила в Сокольниках, зимой — в

своём московском доме.

Ее дочери были необыкновенно рады приезду петербургской кузины. Она вносила всегда с собою оживление. При ней, ради того чтобы ей не было скучно, их мать допускала в доме многое экстраординарное.

Девушки Кашины были некрасивы, застенчивы. Молодежь к ним не льнула и, скорее, даже от них бегала. Приезд хорошенькой, ничем не смущавшейся княжны тотчас же привлекал эту молодежь. Так случилось и на этот раз. У Кашиных в Сокольниках было очень весело благодаря приезжей, а когда, в половине августа, переехали в Москву, то это веселье еще больше увеличилось.

В числе молодых людей, зачастивших теперь к Кашиным, был и Кокушка. Положение его здесь, как и везде, было совсем особенное. Строгая Кашина, неустанно следившая за дочерьми и за тем, чтобы молодые люди у нее в доме не забывались, смотрела на Кокушку как на существо безобидное, безвредное.

Он являлся, когда ему вздумается, и пользовался всеми привилегиями. Он мог беспрепятственно проходить даже в комнаты бары-

чень. И в скучные часы они забавлялись бедным шутком без зазрения совести.

Кашина, как и многие, заблуждалась на его счет. Он вовсе уж не был так безвреден, как можно было сразу подумать. От него барышни часто узнавали такие вещи, каких им вовсе бы знать не следовало. Он был для них ежедневной подробной газетой всех московских сплетен. И в этой газете подобающее место занимал отдел скабрзностей.

Кокушка повторял эти скабрзности, по-видимому, с полнейшей наивностью. Барышни делали вид, что пропускают мимо ушей его иногда очень яркие, даже циничные фразы.

«Разве на Кокушку можно обижаться, разве можно ему запретить, ведь он ничего не понимает!..»

Но если бы они захотели наблюдать, то убедились бы, что этот наивный, ничего не понимающий Кокушка тем не менее ни разу не проговорился перед их мамашей, что вообще со старшими он никогда себе не позволяет того, что позволяет с ними.

Особенно на этот раз княжна затормошила

Кокушку, сделала его своей игрушкой, дурачилась напропалую. Он, по своему обыкновению, недолго думая, признался ей в любви и сделал ей предложение. Она согласилась и стала называть его своим женихом.

Затем она объявила ему, что она ревнива, а он очень легкомыслен.

— Ка-как легкомыслен? — стал заикаться Кокушка, тараща свои бесцветные глаза. — Я ваш обожаю, княжна!

— Да, на словах только! — смеялась она, но вдруг прекратила смех, сделала страшное лицо. — А вы думаете, что я не замечаю, как вы ухаживаете за кузиной Надей...

— Как?.. — завопил Кокушка. — Я.. я ухаживаю?.. Надежда Павловна, — обратился он к одной из Кашиных, — ра-ра-жве я жа вами ухаживаю?

— Конечно, ухаживаете, а то как же?

Кокушка ошалел, стал сопеть и грызть ногти.

Вдруг у него, очевидно, мелькнула счастливая мысль: он сделал самую лукавую мину и крикнул:

— А жнаете... Ва-ва-ня Пронский про-про-

шадил шорок тышач на танцовщицу Штрумилину... это ве-ве-рно... верно! И отец его откаживается платить... в гажетах объявить, да... да, в гажетах...

Это значило, что Кокушка переменял разговор, желая замять предыдущий.

Ему понравилось, что княжна его ревнует, и с этого дня он стал ее поддразнивать. На другой день он привез барышням бонбоньерки с конфетками и сам всячески обратил внимание на то, чтобы бонбоньерка Нади Кашиной была лучшая. Но все же он продолжал называть княжну своей невестой, только теперь объявил, что женится не иначе, как если отец ее даст за нею в приданое не менее как триста тысяч.

— А если он не даст ничего?! — воскликнула княжна, заливаясь смехом.

— Я... я его жаштавлю! — кричал Кокушка. — Дураком не буду, дудки!..

— Так вы такой алчный, Кокушка, такой корыстолюбивый?! Мы не знали!.. Как вам не стыдно... фи!.. Мы думали, что вы хотите жениться на княжне по любви, а не по расчету...

— А то как же?!. То-то-только дураки же-

нятша без расчёту... дудки!!

— Ну, если бы теперь вы встретили такую невесту, у которой было бы десять миллионов, вы бы от меня отказались? — спросила княжна.

Кокушка молчал, таращил глаза и уже поднял руку ко рту, чтобы грызть ногти.

— Опять?! — строго крикнула княжна.

Кокушка быстро опустил руку. Он продолжал упорно молчать.

— Что же вы молчите... отвечайте!.. Ведь отказались бы от меня?.. Смотрите мне прямо в глаза... Конечно, отказались бы?..

Кокушка повел глазами в сторону, стал глядеть в угол.

— Даже если бы она была старый урод?!

Кокушка сопел, сопел и вдруг крикнул:

— А жнаете Барбашова — адвоката... Протерша к нам и уже на-на-чал ухаживать жашештрой, жа Машей... А! Ка-как вам это нравитша, губа не дура... дудки!.. жажналша!

Он вдруг сообразил, что этим самым, внезапно и только сейчас сделанным им открытием, надо скорее поделиться со многими, сорвался с места и, как всегда почти, ни с кем

не простясь, уехал.

Между тем барышни от скуки вздумали подшутить над своим шутом и устроить маленький спектакль. Княжна взялась разыграть роль новой невесты с миллионами.

Она наследовала от отца некоторые художественные способности. На другой день вечером, когда появился Кокушка, барышни Кашины объявили ему, что княжна уехала в гости, а что они ждут с минуты на минуту мисс Токс.

Кокушка изумленно стал бегать глазами.

— Миш Токш?.. Ка-ка-кая миш Токш? Кто это?

— А вы не знаете? Про нее во всех газетах было, а вы и не знаете!! — едва удерживая смех и очень серьезно заговорила Надя Кашина.

— В гажетах, что такое?!

— Мисс Токс — американка, она недавно получила наследство в сто миллионов долларов, ей принадлежит в Америке целый город, то есть целый город построен на ее земле. Она завела по этому случаю процесс, в прошлом году она выиграла и теперь богаче ее

может быть нет никого на свете. Это было во всех газетах!

Кокушка даже разинул рот.

— Што миллионов долларов... це-целый город! — повторял он. — А она молодая, х-хорошенькая?

— А вот увидите!

— Как же она ш вами пожнакомилась?

— Она очень любит русских и теперь приехала в Москву для того, чтобы выйти замуж непременно за русского. Она делает знакомства, вот познакомилась и с нами... Вчера приезжала сейчас после вас. И знаете, ведь она про вас спрашивала...

— Ка-как, про меня?! — подпрыгнул Кокушка.

— Так, про вас! Она сказала, что слышала о вас, что вы молодой человек очень знатный и милый. А когда узнала, что мы с вами знакомы, то просила непременно вас ей представить.

Кокушка покраснел как рак, заботливо оглядел себя. Но вдруг отчаянно произнес:

— Я по-английски ничего не понимаю — иешь... иешь... киш ми квик... ай лев ю...

хам... хам!.. лают как шобаки!..

И он стал передразнивать англичан. Барышни смеялись.

— Да ничего больше и не надо, вы знаете самые лучшие слова.

— Как же я буду говорить ш нею? — между тем с волнением визжал Кокушка. — Ведь нельзя же мне будет ей только и го-говорить: киш ми квик, ай лев ю! хам... хам... хам?

— Можно! К тому же она уже стала брать уроки русского языка и немножко понимает.

В это время в передней раздался звонок.

— Вот и она! — крикнули барышни. — Оставайтесь здесь.

Комната освещалась лампой, прикрытой темным абажуром, так что царствовал полумрак.

Кокушка обернулся и ждал.

Вот барышни появились в сопровождении какой-то странной фигуры. В этой фигуре, особенно при таком слабом освещении, не было никакой возможности узнать княжну. Это был шаржированный, несколько балаганный, комичный тип старой англичанки в каком-то удивительном чепце, с тирбушонами,

с трясущейся старой головой.

Барышни делали невероятные усилия, чтобы не расхохотаться.

— Мистер Горбатов! — представили они Кокушку.

Он раскланялся, смущенно и не без некоторого ужаса вглядываясь в эту комичную фигуру с трясущейся головой.

— How do you do, mister Gorbatorf? [38] — визгливым голосом, в котором ровно ничего не осталось от голоса княжны, проговорила мисс Токс и сделала книксен.

— Боюсь, что не выдержу!.. Посмотрите на его лицо! — продолжала по-английски мисс Токс.

— Она находит вас прелестным, — шепнула Надя Кашина.

— К... К...какой урод! — крикнул он.

— Шш! А вдруг она поймет!

Он быстро закрыл себе рот рукою.

— И потом не забывайте — сто миллионов долларов и целый город! — прибавила Надя. — Будьте же любезны, предложите ей руку и доведите до дивана.

Кокушка тотчас же это исполнил. Мисс

Токс указала ему место рядом с собою.

— Pray, be seated!.. Sit down on the sofa! [39]

— сказала она, закатывая глаза.

— Иешь... иешь! — проворчал он и вдруг с необыкновенной решимостью взвизгнул: — Ай лев ю!..

Мисс Токс испустила пронзительный крик, закрыла лицо руками, откинулась на спинку кресла и осталась неподвижной.

Барышни кинулись к ней.

— Воды... воды! — кричали они. — Что вы сделали, Кокушка, она в обмороке, вы ее так поразили, разве это возможно! Мы вам всего не сказали, ведь она заочно была уже в вас влюблена... Но она знает, что вы жених кузины и теперь, верно, подумала, что вы насмеяетесь над нею.

Кокушка оторопел.

— Дайте ей воды... воды! — шептал он. — Шкажи-жи-те ей, что я готов на ней жениться...

— Как? А кузина?!

— Да, ведь не мо-мо-гу же я уморить миш Токш! — развел руками Кокушка.

Между тем мисс Токс очнулась.

— Ах! — стонала она. — Он говорил I love you, он меня обманут!..

— Скажите ей, что я про-про-шу ее руки! — шепнул Кокушка.

— Велите ему поцеловать у меня руку, — произнесла мисс Токс по-английски, — скажите, что я согласна.

Барышни опять перевели ему.

Он с осторожностью поцеловал перчатку мисс Токс.

Она поднялась с кресла и направилась из комнаты.

— Она так расстроена, что не может оставаться, она немного приляжет у нас, успокоится.

Кокушка опять остался один. Снова раздался звонок. И затем через несколько минут к нему вбежала княжна. Он был как на иголках. Не глядя на нее протянул ей руку. Но она руки его не взяла и отчаянным голосом заговорила:

— Нет, я не верю! Этого не может быть!.. Кузины сказали, что вы сделали предложение мисс Токс... Говорите, изверг, говорите, злодей, правда ли это?!

Кокушка даже дрожал от волнения. Но у него был твердый характер.

— Правда! — сказал он.

— Как?! Вы, мой жених — и вы женитесь на таком уроде!.. У вас нет ни стыда, ни совести!

— Она у-у-мрет от любви ко мне, ешли я не женюшь, а вы не умрете...

— Кто же вам сказал, что я не умру! Может быть, я умру еще раньше ее... слышите ли, сейчас откажитесь от нее, сейчас откажитесь... да?!

Но он уже решил.

— Нет! — проговорил он. — Вон ваш па-па-па может мне и трехсот тысяч не даст, а у нее што миллионов! И целый город!.. Какой же ду-ду-рак откажется от этого — дудки!

Княжна закрыла лицо руками и с громким рыданием убежала.

Появились барышни.

— Что миш Токш? — спросил Кокушка.

— Она отдохнула и сейчас придет.

Через несколько минут появилась мисс Токс. Она вздохнула на всю комнату, прошептала: «Oh! I love you!», взяла руку Кокушки и

ее не выпускала. Он был сконфужен, глядел в сторону и молчал.

Тогда мисс Токс сама заговорила. Испытанное ею сердечное волнение подействовало на нее особенным образом — оно ей придало знание русского языка. Хотя она и безобразно коверкала слова, но все же могла говорить обо всем.

— Мистер Горбатов! — заговорила она. — Мой сердце согласна на ваш предложений, но мой голов стал мне приказывать отказать...

— Мне?! Отчего?! Отчего?! Миш Токш! — встрепенулся Кокушка.

— Оттого, мистер Горбатов, что вы уже имеете невест, которую любите... я знай, вы должны жениться на княжна!

— Не-нет, я не женюшь на ней, я ее шовшем не люблю!..

— Как не любите? Давайте мне честное слово.

— Чештное слово! Миш Токш, ей-богу!
И Кокушка стал даже креститься.

Барышни не удержались и захохотали; но он в своем волнении не заметил этого.

— Может сказать, что она противная?

— М... могу!..

— Так говорите!

— Княжна противная, препротивная! —
объявил Кокушка.

— И дура!?

— Да, да, и ду-ду-ра!

— И лицо у нее гадкое?!

Кокушка совсем расхотелся.

— Гадкое! Гадкое! У нее уши, рот, как у
жайца, во-во-лоши вшегда торчат, глажа, как
плошки, не видят ни кро-кро-шки!.. Она
урод!!!

Барышни закатывались от смеха.

Мисс Токс вдруг выпустила руку Кокушки,
быстро сдернула с себя чепчик и тирбушоны,
вытерла лицо платком и голосом княжны
крикнула:

— Как! Так я урод? У меня усы, рот, как у
зайца? Глаза плошки?!

Кокушка отскочил, задрожал всем телом,
установился в преобразившуюся мисс Токс и
несколько минут стоял, совсем как будто ока-
менев, выпуча глаза и ничего не понимая.

Барышни обступили его, стали всячески
стыдить. Но он их не слышал: на него нашел

настоящий столбняк. Наконец, мало-помалу придя в себя, он вместо того, чтобы, как ему советовали барышни, гореть от стыда, рассердился самым отчаянным образом.

— Бештыдници, — кричал он, — бештыдници! Ра-ра-жве так обма-ма-нывают?!

— Каково это! Еще мы же и виноваты?! — заливаясь смехом, воскликнула княжна.

— А то кто же... кто же?! — вне себя визжал Кокушка. — Я... я не виноват, вы так были похожи на наштающую мисс Токш! Этак вшакого обмануть можно, бештыдница! То-то-лько другой раж не надуете — дудки!..

И он, вне себя от негодования, убежал...

Три дня он дулся и не показывался у Кашиных; но затем явился как ни в чем не бывало.

Когда с ним заговаривали о мисс Токс, он делал вид, что не слышит, и быстро начинал о чем-нибудь совсем постороннем.

Но так как княжна настаивала и его стыдила, он на коленях попросил у нее прощения, и они помирились. Он опять стал ее считать своей невестой и на этот раз с таким упорством, какого в нем прежде не замечалось в подобных случаях. Княжна решитель-

но была в его вкусе. Глядя на нее или о ней думая, он, хотя и совсем бессознательно, испытывал нечто особенное, о чем до сих пор не имел понятия...

Вернувшись в Петербург, княжна рассказала отцу, между прочим, и об их забавах с Кокушкой.

Князь вдруг задумался и привел ее в необычайное изумление, спокойно и серьезно выговорив:

— А ведь это идея! Отчего бы тебе и в самом деле не женить на себе этого претендента?!

— Как, выйти замуж за Кокушку Горбатова, за идиота?! Папа, вы, конечно, шутите?!

— Нисколько не шучу! Какой же он идиот?

— Идиот самый настоящий!

— Совсем нет — никто его не признал идиотом. Он совершеннолетний, имеет все права, у него вон даже и чин есть.

Это была правда. Кокушка считался на службе в канцелярии начальника одной из тех губерний, где у Горбатовых были большие поместья. Его обязанности по письмоводству исполнял и получал его жалованье какой-то

услужливый писарек. А Кокушка, зачисленный на службу после дружеского разговора между губернатором и Клавдией Николаевной, уже несколько лет тому назад, теперь, к своим двадцати трем годам, получил за отличие три чина. Он надеялся вскорости быть произведенным в титулярные советники и уже заранее заказал себе визитные карточки, на которых значилось:

«Николай Сергеевич Горбатов, т-ный советник».

Кокушка рассчитывал, что при таком сокращении он может сойти и за «тайного» советника.

Эта служба Кокушки была семейным делом и как есть никому не казалась странной, а тем менее противозаконной и предосудительной...

— Я не знаю, как он там считается, — сказала княжна, — может быть, он и может жениться, только неужели найдется ему какая-нибудь невеста!

— Отчего же нет?!

Князь совсем оживился, и рачьи глаза его так и метали искры.

— Отчего же нет, самый завидный жених! Прекрасное имя, большое богатство и при этом с таким мужем полная свобода, он стесняться не станет. Удивляюсь, как еще до сих пор в Москве не нашлось умницы, которая бы им завладела.

Княжна засмеялась.

— Да ты не смейся, матушка, не смейся, ничего тут нет смешного, я вовсе не шучу, пойми, совсем не шучу, и советую тебе, когда он придет в Петербург, и если до тех пор его не окрутят, серьезно об этом подумать — лучшей партии ты не найдешь... И в нашем положении твой Кокушка был бы спасением и тебе, и мне, и всем нам.

— Папа!

Голос княжны вдруг дрогнул, она с испугом взглянула на отца.

Она поняла, что он не шутит.

Князь действительно не шутил. Кокушка был для него новым вдохновением, таким, какого уже давно не являлось. Не откладывая в долгий ящик, он навел все нужные справки и окончательно убедился, что Николай Сергеевич Горбатов, «т-ный» советник, вполне пра-

воспособный человек, по закону пользующийся самостоятельностью, владеющий всем своим состоянием и имеющий право им распоряжаться. Пока официальным путем, при помощи медицинской экспертизы и так далее его не признали невменяемым, страдающим умственным расстройством, он может сделать предложение, жениться и получить в свои руки все свое наследство после деда.

Князь даже съездил в Москву, где и узнал наверное, что во всех документах, относящихся к наследству после Бориса Сергеевича Горбатова, Кокушка расписывался вместе с другими сонаследниками. Узнал он также, что по случаю смерти Клавдии Николаевны все молодые Горбатовы переезжают в Петербург.

«Это все само так в руки и идет! — решил князь. — Дурак я буду, если упущу такое дело. А Елену уломаю, да и не дура же она — поймет!»

Он вернулся в Петербург с твердой решимостью получить Кокушку и его состояние, и только об этом теперь и думал.

Х. КНЯЗЬ ПОБЕДИЛ

По приезде в Петербург Кокушка чувствовал себя на седьмом небе. Правда, брат Владимир то и дело охлаждал его восторги и решительно противился осуществлению некоторых его планов.

А между тем планы были самые блестящие. Прежде всего Кокушка желал иметь маленькие сани с пристяжкой на отлете. Затем он решил было постоянно ходить не иначе, как в мундире того ведомства, откуда ожидал чина «т-ного» советника, в треуголке, шинели и с орденом Святой Нины, недавно им купленным.

В таком костюме он решил как можно чаще попадать на глаза государю, хотя бы пришлось для этого полдня торчать перед Зимним дворцом, а другие полдня в Летнем саду.

По счастью, об этих своих главнейших намерениях он сразу же проболтался Владимиру, и тот объяснил ему, что все это невозможно.

Кокушка дошел до остервенения и стал визжать, как будто его резали.

— Ка-ка-как невозможно!.. Отчего невозможно, что тут дурного... как ты можешь мне жапрещать?

— Я тебе ничего не запрещаю, но если ты вздумаешь все это проделать, то прежде всего попадешь в полицию, а раз ты попал в полицию, тогда конечно — пошлют тебя не в посольство, не в дипломаты, а вон из Петербурга, и даже не в Москву, а в деревню... неужели ты этого не понимаешь?

Кокушка не понимал, но брат говорил таким серьезным и убедительным тоном, что он не на шутку струсил, даже побледнел и растерянно стал ворочать глазами.

— Да жа-жа что же?! — прошептал он.

— А за то, что с пристяжкой ездит только обер-полицмейстер по Петербургу да брандмайор в случае пожара... Если же ты вздумаешь следить за государем, то тебя сочтут уж непременно нигилистом.

Кокушка даже вздрогнул.

— Нигилиштом?!

— Ну да, само собою.

— Ну, а му-му-ндир, что же тут дурного? Ражве и это недожволено?

— Не то что недозволено, а крайне неприлично! Когда ж ты видел, чтобы штатский, кроме особенных случаев, носил мундир да еще форменное пальто и треуголку? Ты знаешь, что у меня есть тоже мундир, а видел ты меня когда-нибудь в нем? Я надеваю его раза три-четыре в год. Ходить в мундире не принято и неприлично. А тому, кто не знает приличий, тому никогда не быть представленным государю и не попасть в дипломаты. Вот видишь, что я вовсе не хочу тебе перечить, а думаю о твоей будущности.

Кокушка уныло опустил голову и печально задумался. Он понял, что брат прав и что приходится расставаться с лучшими мечтами.

— Ну, а Нина? — воскликнул он. — И это неприлично?!

Владимир сразу даже и не понял.

— Какая Нина? — изумленно спросил он.

— Орден Нины, ражве и его я не мо-мо-гу носить?

— И этого бы не советовал, потому что всякий знает, что этот орден продается, и даже очень дешево. Над тобою будут смеяться.

— Так жачем же мне ших пор не дали на-
штояшего ордена? Вот уж я бо-бо-льше шеш-
ти лет на шлужбе! Ведь у тебя же ештть орден,
даже два це-це-лых... это... нешправедливо!

— Потерпи, может быть, и ты получишь...

— То-то вше... терпи да терпи!.. Дудки! Так
я бу... буду ношить маленькую рожетку, по...
подумают иноштраный орден... это то... то
ведь уж мо-мо-жно?

— Можно, можно! — согласился Владимир.

Кокушка отправился к Сарра, заказал себе
всякого платья. Два раза выходил он и опять
возвращался в магазин, напоминая, чтобы не
забыли на ффраке, сюртуках и визитках проре-
зать петли для розетки.

От Сарра он, с необычайно важным и со-
средоточенным видом, объездил еще
несколько магазинов, накупил себе галсту-
ков, перчаток, шляп, духов. Дорогой он как-то
разбил один флакон, весь облился духами и
распространял от себя такой сильный аромат
опопонакса, что Софи, случайно оказавшаяся
рядом с ним за обедом, объявила, что она не
может этого выносить, что ей делается дур-
но, — и переменила место.

— Очень рад! — прошипел Кокушка и сейчас же робко покосился на брата.

Он хорошо помнил заключенное относительно сестры условие, но иногда его ненависть к ней невольно прорывалась.

У Кокушки был адрес княжны и он сильно стремился на Знаменскую, но решил, что в московском виде ни за что ей не покажется. Он измучил Сарра, раза два в день заезжая и спрашивая, скоро ли готово его платье.

Наконец ему принесли первую пару. Тогда он велел заложить дрожки, разрядился в пух и прах, вдел в петлю сюртука, которую Сарра не забыл проделать, огромную розетку и с торжествующим видом выехал из дому. Он заехал к Баллэ и купил хорошенькую бонбоньерку, причем так торговался, что продававшая ему французенка под конец рассердилась, несколько раз объясняя ему, что у них *prix fixe* [40].

Надо заметить, что Кокушка, несмотря на всю свою любовь к франтовству и «шику», был очень скуп и уж особенно на подарки.

Он явился в квартиру князя совсем с видом победителя. И отец и дочь были дома.

Князь уже знал о приезде молодых Горбатовых и даже начинал тревожиться, находя, что Кокушка чересчур долго не показывается.

Он принял его как родного сына, нашел, что он необыкновенно похорошел с их последней встречи, объявил ему, что он еще не встречал молодого человека, который бы умел так хорошо и изящно одеваться. Расхвалил его сюртук, брюки, даже перчатки, даже сапоги. И наконец обратил внимание на розетку.

— А это что? Орден! *Si jeune et si décoré!* [41]

Кокушка сиял. Но он нашел, что первый визит не должен быть продолжителен, и скоро уехал, совсем счастливый, и обещая на этих же днях вернуться.

Он сдержал свое обещание и стал появляться на Знаменской все чаще и чаще.

Но странное дело — у себя дома он в последнее время никому, даже Владимиру, не только не заикался об этих частых посещениях, но даже вдруг объявил, что «ш князем Янычевым ражшпорилшя — дудки!» Дело в том, что он окончательно сблизился с князем, был уже с ним на «ты», и тот с каждым разом

все больше и больше забирал его в руки.

Изучить Кокушку ему не было, конечно, трудно, и он теперь знал его наизусть. Он вооружал его против семьи и пуще всего против брата Владимира, уверяя его, что брат только притворяется, что его любит, но что, в сущности, он желает его гибели.

Кокушка сначала не верил. Но князь кончил тем, что совсем убедил его. Он объяснил ему, что у Владимира самые коварные цели и что если Кокушка не вырвется из дому, не освободится, то Владимир завладеет всем его состоянием, а его засадит в сумасшедший дом. И при этом князь рассказывал ему самые ужасные истории в этом роде, какие, по его словам, случались с такими же прекрасными молодыми людьми, как Кокушка. Этими рассказами князь доводил несчастного юношу до ужаса, до панического страха.

— Я... я... не поеду домой! — визжал он.

— Этого нельзя, — говорил князь, — тебя силой заставят вернуться. Скажут: вот и видно, что сумасшедший — из дому бегаешь... Сейчас на тебя горячечную рубашку — и конец!..

При этом князь делал такое ужасное лицо,

так наглядно представлял, как будут надевать горячечную рубашку, что Кокушку начинала бить лихорадка.

— Так что... что же... что же я бу-бу-буду делать? — плаксиво заикался он. — Так я по-поеду к нему и скажу ему, что он мне не брат!.. Я по-поеду к оберполиц-мейстеру, я-я — на него пожалуюсь!

— Боже тебя сохрани и упаси! — перебил князь. — Тебя здесь кто знает? Никто. А его все знают. Да он и не один, а это целый заговор против тебя. Ему поверят, а тебе нет — и опять горячечную рубашку...

Кокушка как угорелый заметался по комнате.

— Так что же... что... же мне де-делать? — вопил он.

— Я тебя научу, что делать: надо быть умным и провести их всех так, чтобы никто ни к чему не мог придраться... Будь дома по-прежнему, как будто ничего не знаешь, будь со всеми ласков, а пуще всего с братом. Только ничего не говори — слышишь, ничего не говори, что ты у нас часто бываешь. Хочешь ты жениться на Елене?

— Ты знаешь, что хо-хо-хо-чу, ешли ты дашь тришта тышач! А без трехшот тышач — дудки!

— Ну, хорошо, я тебе дам триста тысяч.

— Чештное шлово?!

— Честное слово.

— То-то же, шмотри, ве-ве-дь т-т-ты шкупой, княжь; у тебя я думаю, денег куры не клюют, а вон шмотри — как у тебя га-га-дко в доме!

И Кокушка показывал князю на старый ковер, на кресло с обломанной ручкой, на вылинявшие портьеры.

— Ведь я тебе сказал, что дам триста тысяч. Ну и вот, если ты будешь умен, сумеешь дома молчать и втихомолку женишься на Елене, тогда, конечно, тебя уже никто не тронет. Тогда Елена будет твоей женой, я твоим тестем — и мы тебя не дадим в обиду. А пока ты не женился — мы ничего не можем сделать. Нам скажут: чего вы вмешиваетесь? По какому праву? Вы чужие... Ну, а тогда другое дело. И мы заставим Владимира выдать тебе все твои деньги — понял?

Кокушка остановился, задумался, засопел,

стал кусать ногти. Он понял.

Князь тоже понимал, что этим решительным разговором окончательно двинул дело; в том, что Кокушка не проболтается, он был уверен. Он чересчур напуган, и теперь только следует постоянно поддерживать и усиливать этот страх. Надо спешить, надо ковать железо пока горячо.

Но тут явилось неожиданное препятствие: княжна, всегда покорная отцу, вдруг заупрямилась.

Она перестала выходить к Кокушке и даже просто убежала из дому, когда он являлся.

Князь, однако, ничуть не сомневался в успехе. Он пока оставлял дочь в стороне, решив, что прежде нужно закончить с Кокушкой.

Прошла еще неделя — и Кокушка был совсем готов. Дома он имел странный и растерянный вид, как-то дико на всех посматривал, всех избегал, запирался у себя.

Но сестры вообще мало на него обращали внимания, а потому ничего не заметили. Владимир был тоже очень рассеян, поглощенный своими мучительными отношениями с Гру-

ней.

Князь решил приступить к окончательному объяснению с дочерью.

Он позвал ее к себе в кабинет, запер двери и устремил на нее свой пристальный взгляд, от которого сейчас же ее стало бросать то в жар, то в холод.

— Что же ты, Елена, еще долго будешь ломаться?

— Как ломаться, папа? — робко прошептала она.

— Сама знаешь. С ним у меня уже все решено и улажено. Согласна ты быть госпожой Горбатовой или нет?

Княжна сжала руки так, что даже хрустнули пальцы.

— Папа, да неужели ты в самом деле решил это?

Он взглянул на нее еще пристальнее.

У нее захватило дыхание.

— А ты неужели так глупа, что могла считать это не серьезным!

— Что же я девчонка, что ли, такая, как ты и твои кузины, чтобы с ним забавляться?

Но он вдруг переменял тон, его раздражен-

ный голос понизился, он заговорил ласково:

— Елена, пойми, мое положение безвыходно... Я бился как рыба об лед и теперь для меня нет никакого спасения, у меня больше шестидесяти тысяч долгу... денег достать как есть неоткуда... понимаешь, совсем неоткуда!.. В кармане несколько сот рублей, и это все — месяц жизни, а затем нищета!.. Пойми, нищета и скандал, больше ничего! Всю эту рухлядь опишут, все до последней нитки, и что же мне — идти милостыню просить или в кондуктора наняться!..

Он все глядел ей прямо в глаза. Она схватилась за голову.

— Папа! — простонала она. — Замуж за него? Да ведь я с ума сойду... с ним можно забавляться... но он такой... такой... противный...

Она зарыдала.

— Ах, какой ты ребенок! — воскликнул князь. — Неужели мне надо еще объяснять тебе, что если он тебе противен, так никто не станет заставлять тебя с ним и обниматься... Все это от тебя самой зависит... Пойми!..

Княжна молчала, удерживая рыдания и

нервно вздрагивая.

— Да что же говорить об этом! — ухвати-лась она за последнюю надежду. — Если бы я даже и согласилась, его родные никогда не допустят этого.

Князь усмехнулся.

— Конечно, не допустят, еще бы они добровольно отказались от лакомого куска! Я все и без них устрою...

Она совсем побледнела.

— Так ведь на нас пальцами будут показывать, ведь это срам, позор! И меня и вас никто к себе в дом пускать не станет!..

Князь весело рассмеялся.

— Это вот теперь, когда мы нищие, нас действительно никуда пускать не станут. А раз у нас в руках будут деньги — еще как с нами начнут обниматься! То ли бывает...

И он принялся рассказывать ей всякие истории, из которых, как дважды два четыре, выходило, что все дело в деньгах, что деньги побеждают все. Он рассказывал красноречиво, убедительно и был совсем искренен. Он замечал, что слова его действуют на дочь.

Она уже не рыдала и не ломала руки. Она

слушала его молча и внимательно. На щеках ее то вспыхивал, то пропадал румянец...

— Раз дело будет сделано и все устроено ловко, — говорил он, — сами же Горбатовы придут к тебе... Что ж ты думаешь, они захотят скандала? Напротив, постараются все тихо уладить... Если же ты упустишь Кокушку, представь себе свою будущность! О себе уж я не говорю... ну, нищим буду ходить по Невскому... Ну, пулю себе пущу в лоб!.. А тебя-то что ожидает — не далее как через месяц, когда выйдут эти сотни рублей, которые у меня теперь в кармане? Уедешь ты к какой-нибудь тетке с Нетти, будешь жить из милости и чувствовать, что тебе и твоей сестре в рот смотрят, не съела бы ты лишнего куска чужого хлеба... Что же ты, княжна Янычева, в гувернантки, что ли, пойдешь? Да и гувернанткой не можешь быть — диплома не имеешь... В телеграфистки? Еще если бы у тебя какой-нибудь талант был особенный... Ну, голос там большой, что ли... А то ведь, сама знаешь, талантов у тебя никаких нет... Так скажи, что ты станешь делать? Замуж — кто же тебя, нищую, возьмет?.. Или ты не знаешь нынешних

женихов?

Княжна уныло молчала. Каждое слово отца резало ее как ножом.

Она понимала, что он прав.

Он продолжал все в том же тоне и замолчал только тогда, когда увидел, что произвел достаточное впечатление.

— Что ж ты, согласна или нет? — мрачно спросил он. — Время не терпит, все может рушиться... Я должен знать твой окончательный ответ!..

Княжна молчала.

— Елена, отвечай!

— Дайте... дайте мне подумать... завтра утром я скажу...

— Хорошо!

Она с усилием поднялась и, шатаясь, вышла из комнаты.

Она не спала всю ночь напролет. Всю ночь проплакала и продумала.

Перед нею рисовалась ее будущая жизнь даже еще ужаснее, чем представлял ей ее отец. Вместе с этим ей вспомнились, одно за другим, самые необычайные приключения, описанные в разных прочитанных ею рома-

нах.

Наконец кончилось тем, что она представила себя героиней, жертвой ужасных обстоятельств...

Мало-помалу она себя оправдала, мало-помалу у нее сложилось довольно ясно представление о том, как все будет, если она обвенчается с Кокушкой... В ней вспыхнула жажда богатства, блестящей жизни, свободы, веселья, наслаждений. Ей представлялись Париж, Ницца, Италия, все те сказочные, дивные места, куда попасть было ее заветной мечтой...

«Не я первая, не я последняя», — шептали ее губы.

«Деньги дают все! Нет денег — человека унижают, топчут в грязь. Есть деньги — ему прощают все...» — звучали над нею слова отца.

Утром сама, без зова, она пришла к отцу в кабинет и едва слышно прошептала:

— Я согласна! Только, ради бога, все это скорее!..

— Вот умница! — весело воскликнул князь, обнял ее и звонко поцеловал. — Вот

спасибо! Ты у меня молодец и ручаюсь тебе — ты будешь жить весело и счастливо — ручаюсь! Что делать: с волками жить — по-волчьи выть!.. И знай, только смелый человек расчищает себе дорогу, смелому человеку все дается...

Она тихонько высвободилась из отцовских объятий и еще раз повторила:

— Только, ради бога, скорей!..

XI. ДВЕ СЕСТРЫ

В первые дни по приезде Маша Горбатова очень скучала в Петербурге. Она никогда не любила этого города, ее в него не тянуло, к тому же она почти его и не знала, так как бывала здесь только проездом за границу или обратно.

В то время как сестра ее проводила в Петербурге зиму, она оставалась в Москве, находя, что там гораздо лучше, веселее.

Москву она любила, как все родное, знакомое и привычное с детства, как любила старый дом на Басманной, свои милые комнаты, с которыми сжилась, где все было устроено ею по-своему, целыми годами. Наконец, в по-

следнее время у нее в Москве завелись приятные и интересные отношения. Она покинула там несколько подруг, сходившихся с нею во взглядах, имевших с нею общие интересы...

Смерть Клавдии Николаевны была для нее настоящим горем, и в этом горе заключалась не только утрата близкой женщины, заменявшей ей мать, но и утрата всего прежнего уклада жизни. Она сразу поняла, что теперь она совсем одна на свете. Пока был жив дед, пока была жива тетка — сохранялась семья, хотя и неполная, не совсем нормальная, но ее устраивавшая, так как она в ней выросла...

Деда нет, нет тетки — семья исчезла, дом не существует. Маша одна.

Она и здесь окружена родными, даже больше, чем была в Москве. Та же сестра, оба брата, тетка, дядя, верно, вот скоро и отец из-за границы приедет... Но все они, хоть и родные по крови, а все же почти как бы чужие ей люди. Она их мало знает и ничего общего нет между нею и ими. Теплее всех она относилась к брату Владимиру; но и с ним у нее не было никакой дружбы, и она его мало знала... Он всегда ласков, даже нежен с нею; она думает,

что в нужную минуту он всегда готов прийти ей на помощь; но он остается для нее загадкой, какую был с самого детства...

Она еще не может себе определить его. Иногда ей кажется, что он на многое, даже на главное, смотрит совсем другими глазами, чем она, что если бы она подумала откровенно и до конца передала ему все свои мысли и взгляды, то он, хотя, конечно, совсем иначе, чем Софи, а все же бы отнесся к ней с неодобрением.

Но долго скучать и томиться Маша, по своему счастливому характеру и при своем завидном здоровье, никак не могла. Она решила, что прежняя жизнь кончена, что она одинока, но что ж! Ведь это совершилось, этого изменить нельзя, а тоской и скукой ничему не поможешь.

И она задала себе прямо вопрос — что же она теперь будет делать, какую себе устроит жизнь, так как прежней уже нет? Да и пора принять какое-нибудь серьезное решение и подумать о будущем. Она уже не ребенок. Жить изо дня в день, как другие, безлично примкнуть к общему времяпрепровождению

в этом доме... Она этого не может!

Заводить светские знакомства, стараться занять видное место в петербургском обществе, думать о выездах, о нарядах, одним словом, быть светской девушкой, какою она была прежде в Москве, она уже считает это себя не достойным.

Софи иногда в спорах своих и неприятных разговорах называла ее нигилисткой, объявляла ей, что она ведет себя неприлично, что, благодаря старости и болезни дяди и слабости Клавдии Николаевны, она отбилась от рук, забрала себе в голову разные нелепости, готова бог знает с кем заводить знакомства и всячески себя компрометировать...

Софи, конечно, фантазировала. Нигилисткой Маша вовсе не была уж хотя бы потому, что сохранила еще некоторую религиозность. При этом она относилась с отвращением, даже с горячей злобой к нигилистическим деятелям. Она была твердо убеждена, что никакие цели, хотя бы и самые возвышенные, не могут достигаться злодейством и преступлениями, а тем более злодейством и преступлениями из-за угла. В этом ничто ни никто не

мог ее разуверить, это было для нее ясно как день.

Но все же в обвинениях Софи заключалась доля правды. Маша действительно увлекалась «движением» и как-то для самой себя незаметно, мало-помалу превратилась в демократку. В этом, конечно, бессознательно, может быть, прежде всего помогла ей сама Софи.

Софи до такой степени утрировала свой аристократизм, так была пропитана чванством и нетерпимостью, так была наполнена вопросами о приличном и неприличном и до такой степени все суживала и суживала свои понятия, что, наконец, эти понятия, при совместной постоянной жизни с сестрою, опротивели Маше, выставлялись перед нею всегда только со своей несправедливой, смешной и пошлой стороны. Софи ее сердила. И вот естественным протестом Маши было то, что она стала приглядываться к людям, стоящим вне их общества. Она стала читать журналы и газеты — и сама не заметила, как через год, через два, хотя и оставаясь в прежней обстановке и в прежнем кругу, стала совсем другою...

Теперь, отвечая на вопрос, что ей с собою делать и как ей жить, она прежде всего сказала себе, что ни за что не станет стеснять себя условными светскими рамками, что ни за что, какое бы противодействие ни встретила со стороны родных, не станет жить, как живет Софи, а будет жить по-своему. Противодействий, однако ждать было неоткуда. Софи может называть ее сколько угодно нигилисткой, она не будет обращать на это внимания — и все тут. А остальным до нее нет никакого дела, тем более что ведь не станет же она позволять себе чего-нибудь действительно предосудительного. Но ей двадцать четыре года, и никто не вправе стеснять ее свободу.

И уж если необходимо жить в Петербурге — надо с ним ознакомиться, надо понять, что он может ей дать, — и воспользоваться этим.

Маша кончила тем, что даже готова была полюбить этот инстинктивно противный ей Петербург.

«Ведь он, каков ни на есть, а настоящий центр умственной жизни!» — думала она.

Мало-помалу она начертила себе програм-

му действий и, когда стала приводить ее в исполнение, то возбудила в Софи крайнее негодование.

Вместо того чтобы хоть здесь-то, в Петербурге, стать приличнее и осмотрительнее, чем в Москве, она вдруг вздумала держать себя — ну вот как какая-нибудь гимназистка или того еще хуже! Почти никогда ее нет дома и, если кто приезжает навестить их, Софи всегда должна выходить к гостям или одна, или в сопровождении тетки. О сестре спрашивают, ею интересуются, а тут даже не знаешь, что и отвечать — неизвестно, где она, куда исчезает, что делает!.. Всегда одна, часто пешком, иногда возвращается на извозчиках... Даже раз объявила, что проехала в «tramway».

Софи не питала к сестре никакой любви и дружбы. Прежде она была к ней равнодушна. Потом, в первые годы своих выездов и успехов, относилась к ней свысока, затем понемногу стала завидовать тому, что сестра моложе ее, свежее. Она, пожалуй, уже рада была бы теперь, если бы Маша просто отдалилась от общества. Но тут был совсем другой вопрос. Нельзя же ведь допустить, чтобы она

позорила семью, чтобы о ней, Горбатовой, стали бог знает что говорить!.. Довольно и Кокушки!..

Софи несколько недель молчала и только следила за сестрой. Наконец она не выдержала. Она сказала себе, что имеет не только право, но и прямую обязанность вмешаться «во все это», так как тут замешана честь их семьи, доброе имя. Она кончила даже тем, что думала:

«Ведь бог ее знает... après tout ce qui se passe, après ces horreurs [42], разве я могу за нее поручиться...»

Она решилась поговорить с сестрою, и утром, пока та была дома, прошла к ней.

Маша еще не совсем устроила свое новое помещение. На столах были беспорядочно разбросаны ее книги. Софи взглянула на них подозрительно и с пренебрежением. Тут были Герберты Спенсеры, Бокли, Дрэперы, Гартманы и Шопенгауэры, хотя, по правде сказать, разрезанные только местами и сохранившие вид типографской свежести.

Маша встретила сестру уже совсем, видимо, готовая к выезду, в шляпке.

Софи закусилa губы, она была очень сердита, но решилаcь, по крайней мере для начала, сдержаться.

— Ты, кажется, куда-то собралась, Мари? — ласковым тоном спросила она, поцеловавшись с сестрою. — *Tu est toujours si matinale maintenant!* [43]

— А то как же здесь иначе, в твоём дорогом Петербурге? Если не встать пораньше, так и дня совсем не увидишь.

— Куда же ты?

— В Эрмитаж.

— Вот интересно! — усмехнувшись, воскликнула Софья Сергеевна. — Мало мы по всяким галереям за границей изучали разные школы живописи! Неужели тебе это не надоело?.. Но там — *en qualité de voyageurs* [44] — это как-то неизбежно, особенно, как мы тогда, в первой поездке, помнишь, в коротеньких платьицах... *ma tante*, шаль непременно волочится за нею по полу... гид какой-то — объясняет и все путает... *Mais ici!* [45] Кто же бывает в Эрмитаже?.. Разве провинциалы?..

— Я и есть провинциалка, — сказала Маша. — Я совсем не знала Эрмитажа, понятия

не имела, что у нас такая отличная полная коллекция. Фламандская школа — это прелесть! Испанская тоже...

— Что же ты, пожалуй, опять красками пачкаться думаешь... там, на лесенках, с какими-нибудь нечесаными, грязными мальчишками... *joli!* [46]

— Нет, где уж мне рисовать! Но я вот уже пятый раз еду в Эрмитаж и, конечно, и еще туда часто буду ездить...

— Мари, скажи мне, пожалуйста, а кроме Эрмитажа где же ты бываешь? Тебя никогда, никогда нет дома... *et puis* [47] — ведь ты вечно одна, хоть бы человека брала с собою, а то, согласишься... я вовсе не хочу сердить тебя, но, право, это неприлично. *On peut penser Dieu sait quoi!* [48] И потом, что-нибудь даже может случиться... какая-нибудь неприятность, тебе могут сделать дерзости, право, я просто иногда боюсь...

Маша нахмурила брови.

— *Mersi*, Софи, за внимание! Но не бойся напрасно — я не робка и не трусиха, до сих пор меня никто не обижал, а если и вздумает кто-нибудь обидеть, я не растеряюсь...

Все благие намерения Софьи Сергеевны сразу исчезли.

— Да пойми же ты, наконец, — сердито сказала она, — что так бегать одной — *c'est tout-à-fait impossible!*.. [49] Здесь не Москва, здесь гораздо более все на виду, чем ты думаешь... *et il y a des choses, qu'on ne peut pas se permettre!* [50] Ты испортишь себе репутацию навсегда и потом уже ничем не исправишь...

Маша покраснела. Вообще всегда спокойная, она сердилась только на сестру.

— Софи, — сказала она, — я уже все это слышала, знаю, и в твоих уроках, право, не нуждаюсь!

— Да пойми... Ведь я для тебя же, послушай...

У нее мелькнула новая мысль, и она за нее ухватилась.

— Зачем нам ссориться и браниться, будь же благоразумна, ведь не хочешь же ты совсем отказаться от порядочного общества!.. Иной раз нужно немного и стеснить себя... Знаешь, я думала, ведь не трудно будет устроить, чтобы тебя назначили фрейлиной... Помнишь, ты как-то говорила, что тебе этого хо-

чется...

— Да, говорила, а теперь не говорю...

— Почему?

Маше надоел весь этот разговор: ей хотелось скорее уехать и попасть в Эрмитаж.

— Потому, — быстро сказала она, — что я в конце концов все же хотела бы выйти замуж.

— Ну, так что же?

— А то, что если фрейлина... это дурная примета... это почти всегда значит: старая дева.

Софья Сергеевна побледнела и метнула злобный взгляд на сестру.

— С тобой говорить нет никакой возможности! — воскликнула она и скорее вышла из комнаты.

По ее уходе Маше стало немного досадно — зачем она так ее зло и глупо уколола. Ведь она знает, сколько мученья заключается для Софи в этом слове «старая дева»... Но зачем же она всегда пристает... это невыносимо!..

Однако Софья Сергеевна не остановилась на первой неудаче. Она решила испытать последнее средство. Пусть тетка, Марья Александровна, поговорит с этой безумной. Нуж-

но, чтобы все вступились, потому что ее неприличное поведение касается всех.

К ее изумлению, Марья Александровна взглянула на дело очень спокойно.

— Я до сих пор в поступках Мари не вижу ничего предосудительного, — сказала она, выслушав племянницу, — что она одна выходит из дому. Конечно, это можно было бы иначе устроить, но я запрещать ей не могу. Ни тебе, ни ей я ничего не могу запрещать, и стеснять вас не желаю.

— А если она бог знает с кем знакомится? Если она бог знает у кого бывает? — в волнении и негодовании говорила Софья Сергеевна.

— *Comme tu exagères, Sophie!* [51] Ты просто обижаешь сестру! Я Мари настолько знаю... я уверена — она ничего неблагоприятного не сделает...

Софья Сергеевна ушла от тетки, окончательно выведенная из терпения.

«Нет, это бог знает что! — говорила она себе. — Все будто сговорились... Что это делается и чем кончится! Хороши все у нас в семье!.. И жить с этими людьми... Господи, да когда

же я вырвусь отсюда! Неужели и этот год пройдет так? Нет, ни за что».

Она решила воспользоваться всем, чтобы, наконец, выйти замуж, за кого — она еще не знала, но перебирала в своем уме всех, высчитывала и рассчитывала... будто брала урок арифметики...

А Маша, между тем, ежедневно исполняла свою программу — она изучала Петербург. Сначала знакомилась в нем со всем, с чем могла познакомиться одна. Потом ей вдруг на помощь явился Барбасов. Случай помог ему. Когда он в первый раз приехал в дом к Горбатовым, ни Софьи Сергеевны, ни Владимира не было, и его приняла Маша.

Она несколько изумилась происшедшей в нем перемене, изумилась еще больше, когда он объяснил ей, что переехал совсем в Петербург и поступил на службу. Но она так обрадовалась этому московскому человеку, которого считала очень умным и интересным, что сейчас же позабыла о своем изумлении.

В беседе с ним она не заметила, как прошел час, и когда он стал раскланиваться, она выразила ему желание с ним и впредь встре-

чаться. Он ей ответил, что по крайней мере со своей стороны сделает все возможное для достижения этого.

Это была не фраза. Он действительно сделал все возможное.

Маша не обратила внимания на то, что, разговаривая с нею, он подробно выпытал от нее, где она бывает, как проводит время.

С этого дня он у Горбатовых бывал редко. Но по меньшей мере раза два, а то и три в неделю Маша с ним встречалась, иногда просто на улице (он каждый раз при этом делал вид, что очень изумлен этой счастливой встречей), а то в Эрмитаже или в Публичной библиотеке, или в залах Академии художеств.

Барбасов вдруг сделался страстным поклонником искусства.

Маша ровно ничего не имела против этих частых встреч и даже ни разу не задала себе вопроса: как это он так устраивает, чтобы встречаться с нею? Она просто каждый раз была очень рада его видеть, поговорить с ним. Он так умно и хорошо обо всем говорит, и сходится с нею почти во всех взглядах...

Не думала она тоже и о том, какое произ-

водит на него впечатление. Он же себе не позволял не только ни одного лишнего слова, но даже и лишнего взгляда. Он был сдержан и серьезен.

Барбасов действовал не на шутку и никогда еще, во всю свою удачливую и деятельную жизнь, не выказывал такой ловкости, последовательности и бодрости духа. Он сказал себе, переезжая в Петербург, что у него не пропадет даром ни один день, ни один час, что каждый день, каждый час должен приближать его к достижению намеченных им целей. Так оно и было.

В Москве его сотоварищи, узнав о том, что он ни с того ни с сего вышел из присяжных поверенных, готовы были почтить его сумасшедшим. Но, в сущности, они очень радовались этому сумасшествию, так как оно избавляло их от одного из самых опасных конкурентов, который уже несколько лет забирал в свои руки самые выгодные дела.

В той части московского общества, где Барбасов вращался, его исчезновение произвело сенсацию. С одной стороны, о нем пожалели как о веселом, иногда забавном собеседнике;

с другой стороны, слух, пущенный Кокушкой, получил значительное распространение.

Барбасов, когда хотел, очень умел напустить дыму в глаза. Свои теперешние заветные планы, конечно, он держал от всех в величайшей тайне, да и кому же бы он их поверил! У него не было ни одного друга, и он находил, что дружба — одно из самых глупейших слов, когда-либо выдуманых языком человеческим. Он вел себя осторожно и осмотрительно. И вот дурачок, идиот подметил его тайну. Он уже до своего отъезда из Москвы слышал несколько намеков от своих знакомых, раза два его прямо спросили — правда ли, что он ухаживает за Марьей Сергеевной Горбатовой?

Конечно, он сумел отшутиться и настолько ловко, что пущенный Кокушкой слух как бы несколько замер. Но сам Барбасов был просто поражен. Он легко выследил происхождение этого опасного слуха и еще легче сообразил, какое для него благополучие, что все Горбатовы переезжают в Петербург. Тут, того и гляди, московские кумушки испортили бы ему дело. Наконец, он теперь знал, с какой

стороны можно ждать опасности, понял, что ему предстоит быть еще более осторожным, а главное, всячески избегать «это зелье», то есть Кокушку.

Перед отъездом из Москвы, с которым он спешил насколько было возможно ему пришлось изрядно повозиться и с Нюнюткой. Она ни за что не хотела выпускать его из рук, грозила даже ухать за ним в Петербург. Но в это время из Сибири в Москву приехал молодой богатейший золотопромышленник. У него были тяжёбые дела. Он обратился за советом к Барбасову, и Барбасов ухватился за него как за самого подходящего человека. Его самого, со всеми его делами, он передал Шельману, а ему передал Нюнютку, которая сразу произвела на сибиряка одуряющее впечатление.

В день своего отъезда из Москвы Барбасов узнал, что Шельману предстоит пожить от сибиряка двумя-тремя десятками тысяч и что Нюнютка не позже как через месяц уезжает в Сибирь на самых блестящих условиях. Таким образом, он явился в Петербург, во всех отношениях успокоившись, сжегши все свои

корабли, с чистой совестью и невозмутимой бодростью духа.

XII. В ЭРМИТАЖЕ

В Петербурге Барбасов устроился совсем иначе, чем в Москве. Он нанял себе небольшую холостую квартиру в Малой Морской и, уже достаточно приглядевшись к тому, как следует жить, отделал ее в строгом и солидном вкусе. Ни о каких блестящих, бросающихся в глаза экипажах, рысаках и татарах-кучерах Барбасов теперь не думал. Он нанимал лошадей помесечно и разъезжал всегда не иначе как в скромной маленькой карете.

В министерстве он всех заговорил и при этом выказал действительно крупные способности. Он осмотрелся сразу, сразу понял все отношения, наметил и распределил с математической точностью, как и с кем следует обращаться. Он сумел, кому надо, покадить, перед кем следует преклониться с благоговением и кончил тем, что даже те из его новых сослуживцев, которые были возмущены его назначением, с ним примирились, решив, что

дела уже не поправишь, что факт совершился, а он, в сущности, славный малый.

Начальствующие лица были от него в восторге. Они нашли, что очень важно заполучить такого способного и дельного юриста, так прекрасно говорящего и не хуже пишущего. Одним словом, на него возлагались большие надежды.

Барбасов принялся за работу; работал он легко, быстро. Его должность не заставляла его являться каждый день в канцелярию. Он работал у себя, вечером, иногда до половины ночи. Его здоровье пока еще выносило это.

Таким образом, большую часть дня он мог посвящать иной деятельности, то есть Марье Сергеевне.

Не имея возможности часто бывать у Горбатовых, да пока и не желая этого, он тем не менее должен был видеть ее как можно чаще. На самое первое время можно было ограничиться этими выслеживаниями, встречами на улице, в Эрмитаже. Но затем этого уже оказывалось недостаточно. Тогда он узнал от Маши, что она посещает два-три семейства знакомых.

Не прошло и недели, как Барбасов ухитрился быть представленным в эти семейства, мало того — произвести там хорошее впечатление, завязать прочное знакомство. Возможность встреч увеличилась. Куда бы ни являлась теперь Маша, она видела заново переделанную физиономию Барбасова с его скромным, серьезным выражением, с фигурой, являющейся смесью англичанина и чиновника. Кончилось, тем, что Маша, если почему-либо не встречалась с Барбасовым, уже чувствовала, что ей как будто недостает чего-то.

Неизвестно, так ли удачно вел Барбасов свою на нее атаку, если бы с его стороны дело заключалось только в одном материальном расчете, в одних только честолюбивых планах. Но она оказалась, может быть, единственным настоящим увлечением его жизни. Если бы ему было легко до нее добраться, конечно, она не производила бы на него такого впечатления. Но эта трудность, эта смелость его планов его как бы наэлектризовывали.

Каждый раз, увидев ее, он чувствовал в себе новый подъем духа. Если в разговорах с нею он иногда и лгал и играл роль, то с пол-

ным увлечением, сам, наконец, принимая свое лганье за правду, свою роль за действительность.

Ему, конечно, не трудно было разглядеть и разобрать Машу, вовсе не думавшую от него скрываться; еще легче было попасть ей в тон, потому что это был именно тот самый тон, каким он писал свои газетные статьи, только, может быть, несколько сдержаннее, несколько осторожнее...

Как-то, это было уже в январе, он, по обыкновению, встретился с Машей в Эрмитаже. Он нарочно накануне достал и прочел статью о фламандской школе — к ней у Маши было особенное влечение — и поразил свою собеседницу художественными познаниями. Она даже под конец, со свойственной ей откровенностью и наивностью, сказала ему:

— Вы меня начинаете совсем удивлять, Алексей Иванович, вы всем интересуетесь, все знаете! Когда же у вас достает времени на все это?

Барбасов скромно улыбнулся.

— Я не сплю, я живу — больше ничего! — проговорил он. — Нашему брату спать нельзя.

— Что это значит «нашему брату»? — спросила Маша.

— Человеку, который должен сам, без всякой посторонней помощи идти в жизни и доходить до чего-нибудь. Ведь есть другие люди — они имеют право быть умными, не доказав своего ума, быть образованными, ничем не выразив своего образования... Их имя, связи, положение за них отвечают... Такой человек обязательно умен, образован, способен на всякое дело, которое он удостоит принять на себя... Я же — homo novus [52], человек без рода, без племени! Чтобы достигнуть чего-нибудь, я действительно должен быть и умен, и образован, и способен... Вот и стараюсь... Конечно, я прожил недаром, трудился много. Я и адвокатуру бросил, и на службу поступил для того, чтобы трудиться. Надеюсь, труд мой не пропадет даром... Ох! Нам нужно много работать, всем, кто действительно любит Россию и кто чувствует себя в силах принести ей пользу!..

Маша подняла на него свои добрые глаза.

— Вы такой патриот, Алексей Иванович?

— Полагаю! У нас оттого дурно идет, что

мы думаем только о своих выгодах, а не об общей пользе. Я это наконец понял и бросил адвокатуру. Она приносила мне огромные выгоды, но я нашел, что в другой деятельности будут полезнее. Меня в Москве сочли сумасшедшим... Может быть, и вы таким же считаете?

Она ничего не ответила, только укоризненно на него взглянула.

— Но уж лучше считайте сумасшедшим, не считайте только идеалистом. Я не увлекаюсь и не фантазирую, я человек практический. У меня есть заветная мысль — хотите, я вам ее скажу.

— Я вам буду очень благодарна!

— Но только по секрету, между нами... Не выдайте меня; если выдадите, то мне повредите.

— Я вас не выдам, — улыбнулась она.

И вслед за этой улыбкой, лицо ее сделалось очень серьезно.

— Видите ли, Марья Сергеевна, — сказал Барбасов, — я человек очень смелый и самонадеянный. Я хочу непременно достигнуть большого служебного положения, положения влиятельного, широкой деятельности... Од-

ним словом, я хочу стать так, чтобы от меня могла исходить инициатива. Но, уверяю вас, что это у меня не честолюбие одно только, не жажда власти, не любовь к разным там значкам и словцам... На эти значки и титульки я не могу смотреть иначе, как на игрушки, а я не ребенок... У меня есть заветное убеждение... Я, прежде чем решиться на этот мой шаг, то есть на поступление на службу, изъездил всю Россию, изучил все ее нужды и потребности... Я смею сказать, что знаю ее настоящее положение. И теперь вот здесь, в Петербурге, с каждым днем я убеждаюсь, что наши деятели, влиятельные люди этого положения совсем не понимают. До сих пор еще большинство из них вышли из того общества, которое понятия не имеет о народе, да и не об одном народе, а о чем бы то ни было, не касающемся их ограниченного и узкого круга. Конечно, из них есть и умные, и образованные люди, но все же они фантазируют, и больше ничего!

— Я сама об этом часто думала, — сказала Маша. — Конечно, это так.

— А если так, то я полагаю, — оживленно

продолжал Барбасов, но все же заботливо следя за тем, чтобы не шлепать губами и не плевать, — полагаю, что самые влиятельные места должны находиться в руках людей иначе воспитанных, прошедших иную школу жизни, окунувшихся по-настоящему во все то, что они желают направлять и устраивать. Вот почему я и намерен всеми силами своими постараться дойти до верхних ступеней служебной лестницы. Я буду работать и действовать *en connaissance de cause* [53].

— От всего сердца желаю вам успеха! — горячо воскликнула Маша, ласково взглянув на Барбасова, странное лицо которого показалось ей в эту минуту просто красивым.

Они еще долго говорили на эту тему, так долго, что когда Маша, наконец, очнулась, то увидела, что ей давно пора домой. Никогда еще так крепко она не жала на прощанье руку Барбасова, как в этот раз, и, расставшись с ним, она думала:

«Вот настоящий человек! Если бы таких людей было побольше, как у нас стало бы хорошо житься! Конечно, он прав, прав во всем: только тот человек приносит действитель-

ную пользу, который работает над делом, ему хорошо знакомым. Народу может помочь только человек, вышедший из народа... А наше дело, то есть женское дело, так как мы сами работать не можем, всячески поддерживать этих людей, помогать им».

И ей вдруг ужасно захотелось помочь Барбасову, захотелось, чтобы он скорее, как можно скорее стал губернатором, министром или чем-нибудь в этом роде, чтобы он скорее начал спасать Россию, которая, того вот и жди, совсем погибнет без его помощи.

«Ну что же я могу для него сделать? Ничего, как есть ничего!» — грустно подумала она и почувствовала к нему большую, почти нежную благодарность за его откровенность, за то, что он почел ее достойной и высказал ей свои заветные мысли...

А Барбасов в это время, спускаясь по широкой лестнице Эрмитажа, чувствовал себя так легко, как будто у него выросли крылья, как будто он не шагал со ступеньки на ступеньку своими длинными ногами, а плавно спускался на крыльях. Он был собою очень доволен. Он отлично понял произведенное им впечат-

ление.

День этот не пропал даром, он мог его выставить в своем календаре днем табельным, с «крестиком в кружке».

И его более чем когда-либо потянуло в тот мирок, из которого появилась и куда теперь возвращалась только что покинувшая его милая собеседница. Очутиться в этом мирке навсегда, занять в нем прочное и почетное место — для него это был венец блаженства. О России же, ее нуждах, интересах он позабыл совсем, хотя ему и казалось, говоря с Машей, что он говорил искренно...

Вдруг он остановился посреди лестницы и, несмотря на примазанные волосы, чиновничьи бакенбарды и бритые усы, превратился в прежнего Барбасова. Глаза его как бы облились маслом, толстые губы зашлепали.

«Прелесть ты моя!» — чуть не крикнул он, представляя себе Машу с ее румяным, красивым лицом, с ясными добрыми глазами, высокую, полную, в так идущем к ней траурном наряде.

Он поскользнулся и чуть не скатился с лестницы. Тогда он пришел в себя и, выйдя в

подъезд и садясь в свою карету, был опять новым Барбасовым. Он ощупал в кармане шубы бумаги, над которыми проработал накануне весь вечер, и велел кучеру ехать в министерство.

XIII. ПРОМАХ

Как ни старалась Софи, а долго ни на ком не могла остановить своего выбора. Да и выбор, к тому же, был небогат. Двойной траур, носимый ею, лишал ее возможности в течение всей этой зимы посещать общество. Она должна была ограничиться немногими выездами, должна была выбирать из людей, посещавших ее тетку. Но все эти люди оказывались совсем не подходящими.

К Марье Александровне то и дело являлись официальные и полуофициальные лица по делам разных благотворительных комитетов и обществ. В одной из зал горбатовского дома то и дело происходили заседания, очень многолюдные, но, по большей части, состоявшие из стариков, благотворительных дам и совсем еще зеленых юношей, искавших здесь, под знаменем благотворительности, полезных

знакомств и связей.

Софи тоже записалась во все эти общества, стала было аккуратно присутствовать на заседаниях, но скоро увидела, что кроме давящей и раздражающей скуки от них ничего не получит.

Помимо благотворительных дам и старцев, Марью Александровну редко кто навещал. Навещали духовные лица да еще несколько человек, показавшихся Софи крайне неинтересными. В числе этих часто заглядывавших в горбатовский дом лиц был князь Сицкий, приходившийся Марье Александровне родственником. Он считался самым близким человеком покойной ее тетки, графини Натасовой, был ей даже многим обязан в прежнее время, а потому выказывал большое родственное участие и дружбу любимой племяннице старушки и ее наследнице, Марье Александровне.

Князю Сицкому было уже пятьдесят лет, и при этом он никак не мог похвастаться красивым человеком. Напротив, это была одна из самых, хотя и оригинальных, но странных фигур Петербурга. Высокий, сухой и желтый,

как лимон, сутуловатый до того, что казался совсем горбатым, он имел вид человека, постоянно кланявшегося, и при этом его маленькая, гладко обстриженная и еще не поседевшая голова то и дело кивала по сторонам.

На бритом лице его помещался крупный нос, большой рот с тонкими губами; быстрые и пронизательные глаза, прятавшиеся за темными стеклами очков. Манеры его были угловаты и резки. На ходу он всегда шаркал ногами, ежеминутно потирал себе руки или одной из них тер себе переносицу. Говорил он по временам неожиданно выкрикивая и делая иной раз самые странные ударения посреди фразы. Одевался по-старинному, то есть носил длиннополый, болтавшийся на его тонких, как жерди, ногах, сюртук и вместо галстука черный платок, обматывавший длинную шею.

Между тем князь Сицкий, несмотря на свою странную наружность, считался одним из выдающихся людей и занимал очень видное положение. Деятелен он был необыкновенно. Старый одинокий холостяк, он весь ушел в свою служебную деятельность, рабо-

гал добросовестно и с искренним сознанием, что делает дело первой важности, что его все-сторонние познания избавляют его от ошибок и что без него обойтись никак не могут. Это сознание скрашивало его жизнь.

После усиленных работ он отдыхал в обществе, где его ценили как умного оригинала и где ему предшествовала установившаяся репутация государственного человека. Князя всегда можно было встретить и в избранных гостиных, и в театрах в некоторых ложах, и в самых блестящих собраниях как официально, так и интимного характера.

Князь любил и женское общество, даже был ценителем женской красоты и прелести. Но вообще всю свою жизнь он любовался женщиной только как красивой и интересной картиной, то есть на известном расстоянии...

Он был человек любезный, даже чересчур любезный. Из-за его утрированной любезности зачастую просто страдали его подчиненные. Он иной раз до такой степени любезничал, так рассыпался перед каким-нибудь своим молодым чиновником, что тому наконец

становилось неловко и, если это было во время служебного доклада, то молодой человек начинал просто путаться, терялся и выходил от своего высшего начальника раздраженным, почти в уверенности, что тот над ним потешился и посмеялся этой изысканной и чрезмерной любезностью.

Многие, наконец, стали замечать, что чем любезнее князь, чем он крепче жмет руку, чем ниже раскланивается, тем меньше можно на него надеяться, тем вернее он не исполнит только что данного в самых решительных выражениях обещания. Князь очень любил обещать — это давало ему возможность, как он полагал, показаться приятным. Но, обещая, он сейчас же и забывал о словах своих. Подвинуть его к исполнению обещанного могли только особенно почитаемые им дамы да очень высокопоставленные лица...

У Марьи Александровны он иногда засиживался подолгу. У него было с нею так много общих воспоминаний — воспоминаний иного времени. А это «иное время», несмотря на всю свою холодность, князь очень любил. Он чувствовал и ясно понимал, что теперь, год от

году, таким людям, как он, становится жить труднее и труднее и что со всех сторон поднимаются влияния, крайне ему ненавистные.

Он был совершенно уверен, что путного ждать теперь нечего, что все рухнет, растлевется и что, того и гляди, окончится каким-нибудь страшным кризисом, какой-нибудь катастрофой. В конце концов он оказался просто запуганным и начинал жить тяжелым ощущением человека, идущего и думающего, что вот-вот почва разверзнется под его ногами и его поглотит бездна.

Но князь был очень осторожен, иногда даже не в меру осмотрителен, боялся не только прямых и решительных действий, но и слов. Он со всеми желал жить в мире, никому не противоречить, никого не дразнить, а потому почти ни перед кем откровенно не высказывался.

Но перед Марьей Александровной ему нечего было таиться. Она была своя, она не только разделяла его взгляды, но слушала его, как оракула, и проговориться на счет его откровенности, его выдать и как-нибудь ему повредить была не в состоянии.

Поэтому иной раз, вечером, он так у нее и засиживался, говоря без умолку своей странной манерой, выкрикивая и делая неожиданные ударения. А когда случайно взглядывал на часы, то вдруг вскакивал с места как ужаленный, с восклицанием, похожим на крик петуха:

— Х-х-хах! Матушка, да что же вы мне не сказали, который час?! Ведь я тебя, голубушка, уморил совсем! (Князь любил в свою речь, рядом с изысканными французскими фразами, включать простонародные выражения.)

Марья Александровна улыбалась.

— Разве ты можешь, князь, уморить?.. Когда ты говоришь, я не вижу, как идет время! Да и совсем не так поздно, всего первый час.

— Первый час! А мне завтра в седьмом встать надо, работать, надо работать, рук не покладая, в этом только спасение!

И, приложившись к руке кузины своими сухими губами, он спешил по слабо освещенным, пустым комнатам, низко наклонив голову и шаркая ногами...

Софи кончила тем, что, *faute de mieux* [54], остановила свой выбор на князе Сицком.

Она несколько дней обдумывала эту мысль и решила, что старый холостяк для нее единственный князь спасения. Она уже давно искала в браке только возможность сложить с себя грозящее ей и пугающее ее до глубокого страдания звание старой девы, выйти из семьи, которая ее возмущала, получить то, что она считала свободой; но прежде всего сделать себе твердое и блестящее общественное положение.

О том, какой у нее будет муж и какие будут ее к этому мужу отношения, она не думала, и теперь даже удивилась себе, как это мысль о князе Сицком не пришла ей раньше в голову. Лучшего жениха, как он, нечего было и искать. Он мог ей дать именно то, чего ей было надо — блестящее положение и свободу. Браком с ним она себя нисколько не унижала — напротив. Что это был человек уже почти старый, что будут немного подсмеиваться над ее выбором — она не смущалась этим. Не она первая, не она последняя, подобные браки в ее обществе совершаются зачастую, это в порядке вещей. Ей только позавидуют многие.

Князь Сицкий выказал ей с первого дня их

знакомства, еще тогда, когда она приезжала в Петербург из Москвы веселиться, большое внимание и расположение. Он находил, очевидно, удовольствие в беседах с нею. Между ними установились даже некоторые шуточные фамильярности. Софи была еще, во всяком случае, красива, ее нередко острый и злой язык нравился князю, тем более что он находил некоторые, высказанные ею перед ним взгляды правильными. Среди современных девушек она казалась ему одной из немногих, которых не коснулись столь противные ему новые веяния.

И вот Софи, решив наконец свой мучительный вопрос, теперь только и думала, как бы обворожить старого и холодного князя. Она пустила в ход все свои средства, какими владела, и не пренебрегала ничем. Скоро ей стало казаться, что он понемногу теплеет и тает в ее присутствии.

Он действительно как бы еще чаще стал приезжать к Марье Александровне. Если случайно Софи не было дома, то он несколько раз во время посещения о ней спрашивал. Марья Александровна даже ей, наконец, сказала:

— Друг мой, ты совсем обворожила нашего князя, поздравляю тебя. Ведь он разборчив, и пленить такого человека, как он, это большая честь...

— Отчего же это уж такая честь? — улыбнулась Софи.

— Оттого, что это один из самых замечательных наших людей. Я говорю это не потому, что он мой родственник и что я с детства люблю его, — все ведь так на него смотрят. Разве ты с этим не согласна?

— Совершенно согласна! — отвечала, вдруг делаясь очень серьезной, Софи. — Я так уважаю князя, он, в самом деле, необыкновенный человек... Я думаю, что мне уж во всяком случае досаднее, чем ему, что меня сегодня не было дома. Поговорить с ним — это настоящее удовольствие...

Марья Александровна была очень рада, что племянница так относится к ее дорогому другу. Но, конечно, ей никогда и в голову не могло прийти, чтобы у этой племянницы были на князя какие-нибудь виды. Эта мысль показалась бы ей самой несообразной и смешной нелепостью...

Между тем Софи продолжала действовать. Она сделалась как бы ученицей князя. Теперь в разговорах с ним она приняла грустный, почти скорбный тон и выражала ему, что жить трудно, что теперешняя жизнь лишена для нее всякого смысла.

— И это вы говорите! — вскрикивал князь. — *Vous jeune, belle!*.. [55] Вы должны веселиться, должны брать от жизни полными руками только цветы!.. Скорбеть предоставьте нам, старикам...

— Отчего же, князь, вы считаете меня недостойной скорбеть вместе с вами? Если вы старик, то ведь и я уже не так молода (вот до чего она дошла!). Прежде, конечно, я жила, как ребенок и брала, как вы говорите, от жизни только цветы; но цветы завяли, и я вижу одни сухие ветки, я не могу закрывать глаза на то, что делается вокруг нас... я не могу принимать участие в этой вакханалии.

— Вакханалии, — крикнул князь, тряся головою, — *c'est le mot!* [56]

— *Oui, c'est le mot!* — подхватила она. — Бессмысленная вакханалия — и ничего больше! Конечно, я не стара годами, но чувствую

себя старухой. Мое время не теперь, и я несчастна, что родилась в это ужасное время, которое могут хвалить только наши красные журналы и газеты... *cette presse dévergondée...*
[57]

— *Cette presse dévergondée!.. Bien juste, bien juste!* [58] — повторял князь.

Он даже взял руку Софи и поднес ее к своим губам, а потом прибавил:

— Умница!

Кончилось тем, что он перестал совсем стесняться с нею, высказывался при ней так же откровенно, как и при Марье Александровне.

В начале января, в день рождения Марьи Александровны, когда Софи уже непременно ожидала увидеть князя, он не приехал и прислал кузине записку, где говорил, что простудился в Крещение во дворце, и, по настоянию доктора, должен несколько дней просидеть дома.

«Сегодня мне лучше, — писал он, — я принялся за работу, но меня дальше моего кабинета не пускают».

На следующее утро Софи спросила тетку,

свободна ли она после завтрака.

— А я тебе разве нужна?

— Да, ma tante, мне пришла в голову мысль, я хотела предложить вам вместе со мною навестить нашего милого князя.

— Я непременно к нему поеду, — сказала Марья Александровна, — но не раньше как завтра. Сегодня, сейчас после завтрака у меня соберутся члены нашего общества.

— Очень жаль! Так знаете что? Я поеду к нему одна.

— Подожди до завтра. Завтра я целый день свободна.

— Нет, я поеду сегодня и одна... это даже лучше! Он это оценит. Je pense, il n'y a rien d'inconvenant? [59]

— Certainement, non! [60] Что же тут такого? Он старик, и при этом... наши отношения... Да, ты права, ему это будет приятно, поезжай, мой друг!

Во втором часу карета Софьи Сергеевны остановилась у подъезда дома, где жил князь Сицкий. Посетительница даже не послала своего человека узнать, принимает ли князь, а прошла прямо в его приемную и послала де-

журного курьера, растерявшегося от неожиданности, доложить о себе. Через минуту ее провели в обширную комнату, всю заставленную шкафами и книгами. У старого огромного стола, заваленного бумагами и папками, в кресле, согнувшись в три погибели, сидел князь, быстро подписывая что-то.

При ее входе он бросил перо и пошел к ней навстречу с протянутыми руками.

— Mais vous êtes bonne, bonne comme un ange! [61] — закричал он, целуя ее руку. — Ваше посещение — это для меня праздник! Я от одного этого выздоровлю.

— Да вы совсем и не больны, князь, — весело говорила Софья Сергеевна. — Смотрите, у вас такой здоровый, цветущий вид!

Князь был страшно желт. Его крупный нос покраснел от насморка, а сухие горящие руки указывали на лихорадочное состояние.

— Так это вы меня наэлектризовали! — крикнул он и засуетился, пододвигая ей кресло, усаживая ее.

— Пыльно у меня, нехорошо, простите! — говорил он. — Эта комната для работы, для черной работы.

— Нет, у вас хорошо! — сказала Софи, оглядываясь. — Комната, в которой всегда живет человек, это... это верное изображение и объяснение его внутреннего мира, и ваша комната говорит мне о большом труде целой жизни, о работе серьезной и важной, до того важной, что некогда думать о том, чтобы ее, так сказать, ну хоть бы вставлять в блестящую золотую рамку. Некогда, и не надо! Она ценна сама по себе, не нуждается в украшениях.

— А все же пыли, пыли много и в комнате, да, пожалуй, и в работе! — серьезно сказал князь.

— А пыли много оттого, что нет заботливой женской руки, которая бы ее вытирала! Вы очень одиноки, князь, неужели и всегда так были?

— Всегда, конечно! — проговорил он, быстро проглотив последнее слово, так как почувствовал необходимость чихнуть.

Он чихнул и долго сморкался. Его насморк в этот день сильно его беспокоил.

— И вам никогда не было и не бывает холодно в этом одиночестве?

— Привычка!..

Он опять чихнул.

— Привык... но как не бывает! Иной раз и делается холодненько. Прежде я в таком случае отогревался у покойницы тетушки, у графини Натасовой, вот у нее! (Он указал на большой портрет старушки, висевший над его письменным столом.) Теперь отогреваюсь у моей милой кухни Марьи Александровны... да вот с вами.

— Бог не без милости, не без милости! — вдруг крикнул он. — Не без милости!

Софи сделала совсем грустное лицо и задумалась.

— Что это вы так? — заметил князь, пристально взглянув на нее из-под темных стекол очков. — Уж не меня ли жалеете?

Он едва заметно улыбнулся кончиками губ.

— Отчего же мне и не пожалеть вас? — произнесла Софи.

— Не стоит, голубушка, не стоит! — перебил ее князь, слегка прикоснувшись к ее руке. — Чего меня жалеть, да и поздно... Моя песенка уже спета.

— И это говорите вы?! — внезапно оживля-

сь, воскликнула Софи. — Вы, полный сил, энергии... с вашим светлым умом... и в то время, как ваша деятельность так необходима, так благодетельна... когда именно вы... вы так нужны!

Он опять едва заметно усмехнулся и опять взглянул на нее из-под очков.

— И вы говорите, что ваша песенка спета? — между тем продолжала она. — Да именно теперь она должна звучать громче, чем когда-либо, князь.

Ее голос оборвался, и она остановила на нем взгляд, в который постаралась вложить как можно больше нежности и ласки.

— Князь, прошу вас, не говорите мне так никогда. Мне слишком тяжело и больно вас слушать!

Он зачихал.

— Х-ах! — вдруг крикнул он и вскочил с кресла. — Что же это я, уезжайте, уезжайте скорее, Софья Сергеевна!

Она глядела на него в изумлении.

— Что такое? Зачем? Зачем вы меня гоните?

— Да помилуйте, голубушка, ведь это у ме-

ня грипп... Это заразительно... никогда себе не прощу, что впустил вас! Вы так добры, так милы, а я отплачу гриппом...

Он замахал руками.

Она засмеялась.

— Вы меня испугали, право! Я не знала, что и подумать. Я не боюсь вашего гриппа, и если б была уверена, что вам со мной не скучно, то готова хоть на целый день у вас остаться.

— Не найду и слов благодарить вас! — повторял князь. — Не стою я вашей доброты, совсем не стою!.. Хорошо было бы посидеть и побеседовать с вами, вместо того чтобы испусывать эти листки!.. Но болен, здоров ли, а работать надо... к вечеру вот должен кончить, к вечеру-с!

Он указал на свою работу.

Раздался звонок. Князь быстро зашаркал к двери, приотворил ее и кому-то крикнул.

— Сейчас, батюшка, сейчас, к вашим услугам!

Затем, обратясь к Софи, кланяясь, потирая руки и качая головою, он объяснил:

— Вот видите, не смею быть больным... те-

кущие дела... Прошу вас, Софья Сергеевна, простите великодушно... Вот сюда-с, сюда-с, простите... — указал он ей дверь. — Эх, задержат меня! — прибавил он с видом величайшей досады.

Софи вышла в красивую, но несколько мрачную комнату, что-то среднее между приемной и гостиной.

— До свиданья, князь! — говорила она, протягивая руку хозяину. — Поправляйтесь скорей. Je dirai à ma tante que vous allez bien, que nous aurons le plaisir de vous revoir bientôt, n'est ce pas? [62]

— Certainement, ça peut durer encore tout au plus deux, trois jours... [63] Видите — не смею быть больным, не смею! А уж как я вам благодарен, что посетили, — и выразить не могу!

Он начал раскланиваться и проводил ее до передней, в дверях которой она заметила какого-то лысого господина в вицмундирном фраке.

— Пожалуйте, батюшка, Петр Семенович! — крикнул ему князь, пропустил его к двери, а сам остановился и ждал, пока Софи подавали ее шубку.

Когда он возвращался в кабинет, по его тонким губам блуждала усмешка.

— Вот-с, батюшка Петр Семенович, — шутливо объяснил он господину в вицмундире, стоявшему перед его письменным столом, — на старости лет дамы молодые навещать меня стали, о здоровье моем беспокоятся... вот мы теперь как!

— Как себя изволите чувствовать, ваше сиятельство?

— Благодарствуйте, Петр Семенович, понемножку, понемножку, батюшка... присядьте... Что у вас нынче?

Господин в вицмундире поместился в кресло, на котором перед тем сидела Софи, и стал выбирать из портфеля бумаги.

XIV. ПОСЛЕ КОНЦЕРТА

В этот раз Груня пела удивительно. На нее нашло особенное оживление, нечто как бы лихорадочное. Хороша она была в этот вечер необыкновенно. А к концу ее охватило просто вдохновение — она пела, ничего не сознавая, всецело уйдя в мире звуков.

Успех ее был полный. Огромная зала дрожала от рукоплесканий... Наконец Груня уже оказалась не в силах выходить на вызовы. У нее кружилась голова. Она просто шаталась. Владимир ее почти снес в карету. Она грациозным движением простилась с толпой провожающих ее знакомых и полужнакомых мужчин и шепнула Владимиру:

— Садитесь скорее!

Но он медлил.

— Мне что-то нехорошо, — громко сказала она.

Тогда он вскочил в карету, захлопнул за собою дверцу. Лунная морозная ночь глядела в покрывшиеся легким узором каретные окна. Застоявшиеся лошади быстро мчались.

Груня крепко запахнулась в пушистую ро-

тонду и тяжело дышала.

— Груня, что вы? — с некоторым беспокойством спросил Владимир.

— Ничего, теперь прошло, — ответила она, взглянув на него горящими глазами. — У меня сильно голова закружилась... и потом — я ужасно устала... я не могла говорить с этими господами. Теперь хорошо!

Она прислонилась головою к подушкам кареты.

— Хорошо я нынче пела? — спросила она через несколько мгновений.

— Лишний вопрос, вы сами знаете... с каждым разом вы поете лучше и лучше. Каждый раз я в вашем пении нахожу все новое и новое.

— Что же нового нашли вы сегодня?

— Много, так много, что и у меня голова кружилась, может, еще больше, чем у вас. На ваших концертах я живу одной жизнью с вами.

— А ведь вы не хотели ехать со мною! Если бы я не сказала, что мне дурно, вы так бы меня и оставили.

— Конечно. Я поехал бы за вами, я бы во-

шел к вам, если б вы меня пустили. Но ехать вместе, садиться к вам в карету перед этой толпой, мне это было неприятно.

— Да... моя репутация!.. — с полунасмешкой и в то же время будто печально протянула Груня. — Вы о ней все заботитесь!

— Я думаю, в этой заботе, во всяком случае, нет ничего дурного.

— Поздняя забота, друг мой... Репутация певицы! Да если бы я была совсем святою или если б я была совсем последней грешницей, репутация моя осталась бы все одна и та же. Никто, а уж тем менее вы, не можете защитить ее.

— Я далеко не согласен с вами!

— Ну и хорошо, довольно об этом! — вдруг как бы рассердясь воскликнула Груня.

Они замолчали и молчали так всю небольшую дорогу до Троицкого переулка.

Карета остановилась. Прежде чем Владимир успел поддержать Груню, она уже в один легкий прыжок была у подъезда. Луна освещала ее высокую, закутанную в бархат фигуру. Из-под пушистого меха, в который она спрятала лицо свое, глядели только ее огром-

ные черные глаза и блестящие в лунном свете.

— К вам?! — тревожно, мучительно, почти желая, чтобы она ответила «нет», спросил Владимир.

— Ко мне, — прошептала она.

Двери растворились. Когда они поднялись на третий этаж, Катя уже встречала их со свечою.

Она окинула и Груню и, главное, Владимира веселым, ласковым взглядом и объявила, что самовар кипит и что все приготовлено.

— Где будете чай кушать, в столовой или в будуаре? Принеси туда! Да и вот что, пожалуйста, никого не принимай!

Груня обратилась к Владимиру:

— Я уверена, что кто-нибудь из этих господ непременно явится, тем более что ведь еще довольно рано.

Они прошли в комнату-бонбоньерку, которая теперь, вечером, озаренная мягким светом фонарика и зажженной Катей лампой под абажуром, потеряла свой пошлый характер и глядела очень заманчиво и уютно.

Скоро Катя внесла и поставила на столик поднос с миниатюрным серебряным самоваром.

чиком, сандвичами и печеньем.

— Прикажете разлить?

— Налей.

Катя разлила чай в две маленькие прозрачные чашечки, а затем, с особенно скромным видом, неслышно удалилась.

Владимир глядел на Груню. Она в усталой позе откинулась на низеньком кресле.

— До того устала, что даже нет сил пойти и переодеться! — выговорила она.

Она была перед ним в черном бархатном, покрытом кружевами платье; с ее обнаженной шеи соскользнула легкая накидка; она уронила на колени свои полные, казавшиеся теперь даже чересчур белыми, будто фарфоровыми, руки...

И опять, как и в карете, они молчали, молчали долго и совсем не замечали своего молчания.

Наконец Груня протянула было руку к чашке с чаем, но сейчас же и позабыла об этом своем движении. Она только привела в порядок спустившуюся накидку и грациозно в нее спряталась.

— Так что же такое вы нашли сегодня в мо-

ем пении, вы мне не сказали? — спросила она. — Я хочу знать.

— Рассказать это довольно трудно. Прежде всего мне почему-то показалось, что сегодня для вас, Груня, какой-то особенный день. Я не знаю, что это может быть... какие-нибудь воспоминания... не знаю.

— Да, сегодня для меня особенный день! — медленно слово за словом выговорила Груня. — А потом что же?

— Потом... потом... уж это прямо ко мне относится, это уже мое собственное, совсем глупое ощущение... не следовало бы даже и говорить... мне показалось, что вы вторую арию пели для меня... Видите, какого я о себе мнения!

— Вы угадали! — воскликнула Груня. — Я ее пела только для вас, для вас одного. Да и не ее одну... сегодня весь вечер для вас пела...

С ее плеч снова упала накидка, и она этого не заметила. Лицо ее преобразилось, щеки вспыхнули, померкшие было глаза загорелись. Она с выражением чего-то невыносимого и неизбежного схватилась рукой за голову, потом быстрым, порывистым движением

привлекла к себе Владимира и крепко держала его, будто боялась, что вот он вырвется и исчезнет.

— Слышите, для вас, для вас одного!.. Я вам там, перед этой толпой сказала все!.. Вы были недовольны мною... вы на меня сердились — я молчала... потом я хотела говорить — нам помешали... сегодня я вам сказала все... поняли вы меня или нет? Поняли?

Его охватил туман, его сердце замерло от счастья, он хотел сказать что-то — и не мог, язык не слушался. Он глядел на Груню, не отрываясь, с восторгом, с обожанием, почти безумно.

А она шептала:

— Я иначе говорить не умею, я молчала, потому что, мне казалось, что так лучше, да и теперь я думаю, что может быть, так было бы лучше... Но нет, зачем рассуждать! Это ни к чему... и бороться напрасно... не надо... так должно быть!.. Понял ли ты все, что я тебе сказала? Понял ли, что я люблю тебя... и как люблю?.. Что ты для меня все? Не понимая этого, я любила тебя всегда. Ты, может быть, ни разу, ни разу не думал обо мне, забыл, что

я и существую на свете... Теперь я с тобою...
возьми меня.

— Груня!

Он покрывал безумными поцелуями ее лицо, ее руки, ее похолодевшие плечи. Тихие слезы одна за другою катились из ее глаз. Она прижималась к нему, крепко обвила его руками и задышающимся голосом шептала:

— Володя, помнишь... в Знаменском... мы были дети... но ведь мы и тогда любили друг друга... вспомни, вспомни!..

— Разве я не знал этого? — наконец едва слышно выговорил он. — Я знал это давно, почти уже тогда... Боже мой! — вдруг с отчаянием воскликнул он. — Зачем мы встретились так поздно?

Но это было мгновенно, он сейчас же и забыл и слова свои, и мучительное чувство, их вызвавшее. А Груня и совсем не заметила слов этих.

Все исчезло. Раздвинулись, как декорация, обтянутые бледной материей стены с венецианскими зеркалами; умчался и скрылся потолок с фонариком. Над их головами тихо шумели и качались вековые сосны. У ног их рас-

стилалась густая, мягкая трава, пестревшая цветами... Высоко, там, над темными ветвями сосен, синело летнее небо... Перекликались птицы... Где-то вблизи, тихо журча, катился с камня на камень лесной ручеек.

И они, странные мечтательные дети, крепко обнявшись, брели в этой траве, среди этих цветов, среди теплого дыхания природы, поверяя друг другу свои яркие, чудные мечты, свои детские грезы.

Но вот и это все исчезло... безумный миг унес их в ту неведомую даль, где нет ни времени, ни пространства, ни прошлого, ни будущего, где царит одно настоящее и блещет всеми ослепительными красками, звучит всеми дивными голосами... Унесла их роковая сила туда, где ничто не напоминает о том, что этот миг исчезнет, краски поблекнут, чудные голоса замолчат — и останется одно смутное воспоминание, быть может, с вечным упреком, с изумлением и тоскою.

В соседней комнате часы на камине пробили два.

Владимир вышел растерянный. Груня его остановила. Гостиная была темна, только лу-

на протянула от высоких окон свои голубые, длинные полосы света.

Он обернулся, Груня еще раз припала к нему на грудь и глядела ему в глаза, совсем уже новым взглядом. Теперь в этом взгляде не было ничего загадочного, ничего жуткого. Это был тихий и нежный, ничего не скрывающий взгляд любящей женщины.

Но Владимир все же не мог его вынести.

— Груня, — прошептал он, — как я безумно виноват перед тобою!

— Чем? Почему? Ты не имеешь права говорить так... я тебе запрещаю...

— Не теперь, нет... не теперь... а прежде...

— Я ничего не понимаю!

— И не надо... завтра... до завтра... Груня, дорогая моя, прощай!

Но долго они не могли расстаться.

Наконец она провела его в переднюю и заперла за ним двери. Она медленно вернулась назад, в освещенную фонариком комнату, где на столике стояли две нетронутые чашки.

Она упала в кресло и вдруг зарыдала. Но эти слезы не были слезами горя, и она их не замечала. Все существо ее было полно сча-

сьем и светом, безумной, освободившейся от своих оков любовью, любовью без упреков, без сожалений, без мысли о будущем.

XV. ПИСАТЕЛЬ

Князь Янычев, получив согласие дочери, немедленно же оделся и вышел из дому... Он направился по Знаменской, потом завернул на Лиговку, прошел к греческой церкви и скоро очутился в одной из улиц Песков, среди тишины, изредка нарушаемой скрипом извозчичьих санок.

Если глядеть на князя сзади, он имел вид важного и степенного барина. Его тучную фигуру облекало длинное меховое пальто с дорогим бобровым воротником. На голове была высокая бобровая же шапка; в руке толстая камышовая трость с массивным серебряным набалдашником и острым наконечником, которым он по временам постукивал о заледневший тротуар, боясь поскользнуться. Посмотреть спереди — покрытый синими жилками толстый нос и вытаращенные страшные глаза не ладили с первым впечатлением.

Но все же князь был важен и казался чело-

веком довольным, богатым, беззаботным, вышедшим ради здоровья на утреннюю прогулку. Но он о своем здоровье в настоящую минуту думал меньше всего. Его голова была полна самой горячей работой.

Он остановился у маленького деревянного домика, глядевшего на пустынную улицу тремя заледеневшими окошками; вошел в калитку, очутился среди грязного дворика, поднялся на крылечко и стал звонить. Ему отворила дверь толстая и вдобавок еще, очевидно, распухшая старуха, довольно неопрятная, с седыми растрепанными и в нескольких местах совсем вылезшими волосами, с лицом подозрительным и довольно неприятным. Все это объяснялось ее званием вдовы коллежского регистратора, гадающей на кофейной гуще.

— Вы к Никанору Петровичу? — спросила она.

— А то к кому же, или не узнали?

Старуха пригляделась.

— Простите, князь, и то не узнала, редко жалуете!

— Дома он?

— У себя, третий день не встает с места — пишет комедию, все пишет... Вчера вечером битых два часа мне читал, да я, признаться, не разобрала хорошенько, да и сон меня нынче по вечерам одолевает. Как стемнеет, ну вот так и клонит, так и клонит! А уж от чтенья этого и того больше. Вздремнула я, а он и осердился. Ну, да не впервой это у нас с Никанором Петровичем: что ни вечер, то ссора, что ни утро, то мир!

Она хрипло засмеялась и отворила скрипучую, разохшуюся низенькую дверь. Князь очутился в крохотном темном уголке, изображавшем собою переднюю, снял и повесил шубу на большой гвоздь, вбитый в стену для этой цели и, очевидно, ему уже известный. Затем он прошел в комнату, наполненную табачным дымом, с закоптелым, будто висящим и того и жди готовым обрушиться потолком... Засаленные стены, разнокалиберная мебель... У одного из двух окошек за столом сидел, скрючившись и пуская клубы дыма из толстой папиросы, человек в старом драповом халате, погруженный в писанье. Перо его так и бегало по листу бумаги.

— Кто там? — хрипло крикнул он, не обер-
тываясь.

— Кто! Оглянись, так увидишь!

Писавший решил оставить работу и под-
нялся со стула.

— А, это ты, князь! — воскликнул он. —
Милости просим, не ждал, рад видеть!

Они пожали друг другу руки...

Никанор Петрович Зацепин был именно
тем самым старинным приятелем князя, ко-
торый когда-то разыграл роль его душепри-
казчика в знаменитой проделке с восковой
куклой.

По наружности между приятелями не бы-
ло ровно ничего общего. В противополож-
ность князю, Зацепин оказывался самым что
ни на есть худощавым человеком, с глазами
бледными, будто совсем выцветшими. У него
был тонкий с горбиком нос; длинные седова-
тые усы прикрывали его почти совсем беззу-
бый рот. Желтоватые с небольшой проседью
волосы были зачесаны назад и спускались на
шею редкими космами. Он брил щеки и под-
бородок; лицо его выражало как бы навсегда
застывшее изумление, и при этом он все как

будто к чему-то прислушивался.

Зацепина судьба тоже не побаловала, и он оказался на склоне жизни в положении довольно странном и неожиданном. Он вышел в отставку из военной службы почти одновременно с князем, был, как и он, вдовец, прокутил и проиграл свое состояние. У него была единственная дочь, которая, по счастью, удачно вышла замуж и жила теперь, уже несколько лет, в Симбирской губернии, где ее муж занимал довольно видное служебное положение.

Дочь и зять предложили было Никанору Петровичу поселиться у них, но он наотрез отказался, объявив, что теперь провинциальный город — «не его сфера», что он непременно должен жить в Петербурге. В сущности, зять был этим даже доволен и стал высылать Зацепину небольшое содержание.

Никанор Петрович, получая эти деньги и извещая дочь в их получении, неизменно прибавлял: «Надеюсь, недолго же буду вам в тягость. Через месяц-другой моя новая драма (или там комедия, поэма или повесть) будет напечатана, и я заживу припеваючи, достиг-

нув должного как и в смысле морального удовлетворения, так и с пункта зрения финансов».

А пока «пункт зрения финансов» не выяснился он жил в двух этих маленьких комнатках у «гадалки на гуще» и платил ей за полный пансион, то есть квартиру, обед и даже «фрыштык» — сорок рублей в месяц...

Каким образом из лихого офицера, думавшего только о грязных шутках и попойках, он превратился в «писателя» — это был вопрос, над которым он никогда не задумывался. Он просто в тот год, когда от его состояния уже совсем ничего не осталось, а дочь вышла замуж, взял да и «сделался» писателем. В один прекрасный день его как бы осенило — он вдруг убедился, что до сих пор, не исполнял своего истинного призвания, что он создан для того именно, чтобы писать во всевозможных родах литературы.

С каждым днем это убеждение в нем крепло, и теперь, вот уже лет шесть, живя на Песках, он только и делал, что писал и ходил по редакциям всех петербургских газет и журналов.

Он писал все: лирические стихотворения, поэмы, идиллии, драмы в стихах и прозе, водевили, повести и даже написал большой роман в четырех частях под заглавием «Перепелки».

Когда его домохозяйка, бывшая его постоянной слушательницей, спрашивала:

— Да где же тут, батюшка, перепелки-то?

Он с сожалением на нее взглядывал и отвечал:

— Как вы несообразительны, Матрена Ильинишна!.. Конечно, никаких перепелок птиц нет, не может быть... это иносказательно!

Матрена Ильинишна замолкала, да и хорошо делала, так как он сам не знал, что именно, какую «иносказательность» хотел высказать этим странным заглавием «Перепелки». Просто оно ему нравилось, он находил, что оно непременно должно произвести фурор.

Каковы были его писания — довольно трудно себе представить, ибо кроме Матрены Ильинишны никто с ними не был знаком. Редакторы газет и журналов, к которым он от-

правлялся со своими манускриптами, обыкновенно, взглянув на первую страницу, натыкались на такую смелость в оборотах речи и на такие неожиданные нововведения в правила орфографии, что сейчас же и бросали тетрадь, иногда даже с не особенно лестным эпитетом по адресу отсутствовавшего автора.

Впрочем, нашелся один веселый редактор, в свободную минуту прочитавший его небольшую повесть, носившую заглавие «Мартышкины очки». Он хохотал до упаду и даже пожелал познакомиться с автором. Когда Никанор Петрович пришел в редакцию за ответом, этот редактор принял его до крайности любезно, извинился, что не может напечатать повести, так как она не подходит к направлению журнала, и посоветовал ему обратиться в другую редакцию, уверяя, что там напечатают непременно.

Целых полчаса редактор был очень доволен своим посетителем; но Никанор Петрович испортил это настроение, он не уходил и принялся упорно доказывать, что его «Мартышкины очки» именно «подходят» к направлению этого журнала, ибо «либеральны, хотя

и без патриотизма».

— Да вы извольте в смысл вникнуть! — объяснял он. — Тут у меня, можно сказать, в каждой строчке есть свой особенный, потаенный смысл... и в этом, смею вас уверить, и заключаются особые достоинства «Мартышкиных очков». Ведь вот вещь небольшая! А сколько трудов мне стоил этот тайный смысл... Это, я вам скажу-с, работа!..

Редактор, сердясь на самого себя, пробовал от него отделаться, не изменяя любезного тона; но, наконец, так озлился, что почти его вытолкал.

— Ну как это таких людей одних по улице пускают?! Ведь это из желтого дома! Совсем, как есть, настоящий сумасшедший! — говорил он своим сотрудникам.

Но он увлекался: Никанора Петровича никак нельзя было посадить в желтый дом и лечить его было незачем. Он был самый скромный и мирный человек и, пока дело не касалось каких-нибудь «Мартышкиных очков» или «Перепелок», в нем нельзя было заметить никаких признаков умопомешательства.

Несмотря на шестилетнюю неудачу, Никанор Петрович не падал духом, не терял терпения и твердо верил, что рано или поздно добьется своего, что «Перепелки» будут напечатаны, произведут фурор, и их тайный смысл окажется для всех явным...

Приходу князя Зацепин очевидно обрадовался, несмотря на то, что тот прервал его занятие.

— Редкий гость! — говорил он. — Садись, князь, что нового? Как дела?

— Об деле вот и пришел поговорить, дружище!

— К твоим услугам! А я вот, братец, новую комедию оканчиваю, сенсационное заглавие: «Зарезали!», в трех действиях и пяти картинах. Это уж непременно возьмут и одобрят в театральном комитете... А что это такое будет при первом представлении! Вот увидишь!.. Да постой-ка, дай я прочту тебе, посмотрим, как это тебе покажется...

Он уже было направился к столу, но князь остановил его.

— В другой раз, дружище, когда кончишь, терпеть я не могу слушать вещи без конца... А

теперь я по делу... дело спешное, к тебе за помощью как к старому другу... Да, брат Зацепин, стариной тряхнуть надо. Помнишь, как мы, бывало, с тобою разные экстренные дела обделывали? Или уж ты совсем в писачку превратился и весь прежний огонек потух и вышел?..

Но у Никанора Петровича в его изумленном и прислушивающемся лице что-то дрогнуло, — князь затронул старые воспоминания.

— Что такое?! — живо сказал он. — Писание мое ничему не мешает. Если что живое, интересное, и если тебе, дружище, нужна моя помощь, я в грязь лицом не ударю.

— Ну, так слушай!

Князь поднялся, подошел к двери, заглянул в нее, убедился, что гадалки нет, что его никто не подслушивает.

— Mais avant tout, mon cher, ta parole d'honneur... [64] офицерское слово, чтобы это между нами?!

— Можешь говорить и без таких предисловий, не первый год мы друзья с тобою! — даже несколько обиженно заметил Зацепин.

— Оттого и пришел к тебе, что только тебе одному и верю! — сказал князь. — Слушай: княжну мою, Леночку, замуж выдать хочу.

— Дело хорошее! — отозвался приятель.

— Да не в том, а вот, видишь ли, свадьбу надо так устроить, чтобы все шито и крыто. Свадьба-то у нас должна быть с увозом...

Зацепин взглянул изумленно.

— Зачем же ее увозить, когда ты сам желаешь этой свадьбы? Я что-то не понимаю?

— Не ее увозить — жениха мы должны увозить... вот что...

Зацепин раскрыл свой беззубый рот и весь превратился во внимание. Он совсем забыл о своей комедии «Зарезали!», в нем заговорили только старые струны, он почуял нечто необыкновенное, одну из прежних легендарных выдумок князя.

Тот мало-помалу объяснил ему, в чем дело. Зацепин задумался.

— А ты это наверно знаешь, — наконец сказал он, — что жених твой пользуется всеми правами?

— За кого ты меня считаешь? Что ж, уголовщину, что ли, я сам себе на шею навяжу?

— Да... ну, в таком случае, отлично! С чего же начать?

— А с того, что надо найти священника, который бы обвенчал без всяких препятствий. Все нужные документы будут налицо, так что и священнику нечего бояться. Но, конечно, так как мы очень спешим, то дело должно быть без всяких проволочек. Есть у тебя такой священник знакомый?

Зацепин подумал.

— Есть! — вдруг радостно сказал он. — Отец Семен от Воскресенья. Это и глушь такая, почище нашей песковской, да и попик — человек либеральный... Сдерет изрядно, но и венчает без всякого праздного любопытства. Я сегодня же к нему отправлюсь и все устрою.

— Вот и спасибо, голубчик!

— Да не за что, тут ничего нет трудного.

— А еще, чтобы ты был свидетелем и другого свидетеля подыскал подходящего. Без тебя я обойтись никак не могу, ты будешь нужен каждый час и каждую минуту.

— Весь к твоим услугам, весь! — весело заговорил Зацепин. — Как и в прежние годы, так и теперь. Ну, поздравляю, дружище, по-

здравляю... Это ты хорошо придумал... За что, в самом деле, такая богатая родня да воспользуется его состоянием, пусть лучше княжна твоя им пользуется... И ты говоришь — злые они люди, мучают, изводят молодого человека?

— Да уж так, братец, что со стороны смотреть жалко! — со вздохом отвечал князь. — Вот они каковы, почтенные наши знатные семейства! Эх, да что только делается там?

Он махнул рукою.

— Леночка моя так жалеет бедного Николая Сергеевича, сколько раз плакала, слушая его рассказы о том, как его притесняют дома... Добрая она у меня, славная она... его жалеет, беречь будет.

— Да... да... да! — повторил Зацепин. — Да, молодого человека спасти надо, а им всем подножку подставить, пускай поскользнутся... Я такому доброму делу вот как рад помочь!.. Сегодня же, сейчас вот, если хочешь, поеду к отцу Семену.

— Прекрасно! Так выйдем вместе.

Зацепин прошел было в соседнюю комнату, бывшую его спальней, но взглянул на

стол, на свою рукопись и остановился.

— Да, знаешь что, — сказал он, подходя к князю, — эта же комедия в трех действиях и пяти картинах «Зарезали!» должна иметь успех непременно. Я надеюсь, твердо надеюсь... Но ведь театральный комитет, ведь это такие люди! Может, и тут опять неудача, так я решил — если с комедией ничего не выйдет, у меня есть план... Я, братец, тебе только по дружбе сообщу. У меня в голове готов уже целый проект... Этим я сразу себя поставлю на ноги... Да, помяни мое слово, не пройдет двух-трех месяцев — и весь Петербург заговорит обо мне. Да и не один Петербург... все, как есть все... Проект в голове уже совсем готов, только изложить надо... Но за этим дело не станет, изложу в неделю, даже и переписать успею...

— Что ж, мы вместе выйдем, — заметил князь.

— Сейчас, сейчас, я мигом оденусь. Да ты послушай — мой проект — это спасение России! Я изложу самый легкий, математически, слышишь — ма-те-матически верный способ извести этих нигилистов без остатка и пред-

ложу вернейшие и нужные средства устроить русское государство ко всеобщему преуспеянию и полному развитию всех промышленных и прочих заведений... И все это так просто, так ясно!.. Мне вчера это пришло в голову... Теперь только один пункт, но я с ним справлюсь... Прежде надо кончить комедию...

— Иду, иду, мигом готов! — быстро прибавил он, заметя в лице и движениях князя признаки нетерпения.

— А о проекте мы потолкуем! — хрипел он из спальни. — И я докажу тебе, что это не фразы, не утопия, а вещь самая практичная, самая простая и, главное, математически, слышишь, ма-те-матически верная! Я докажу тебе...

— Хорошо! Хорошо! — отозвался князь. — Только прежде помоги мне в моем деле.

— Сейчас... вот я и готов, видишь. Идем, дружище! Он появился в стареньком вытертом сюртучке, в пуховой шляпе и на ходу надевал рыжую енотовую шубу.

XVI. ГЕРОЙ

Князь Янычев понял, что московский «дурачок» обладает самым важным и необходимым в настоящих обстоятельствах качеством, а именно хитростью. Кокушка хитрить был большой мастер. Конечно, его хитрость была очень наивна, но именно своей наивностью она и достигала своей цели. Он хитрил, как ребенок, или, вернее, как зверь.

Окончательно подготовленный и запуганный князем, решившийся во что бы ни стало провести родных и жениться на княжне, Кокушка узнал, между прочим, от своего соблазнителя, что ему необходимо достать все документы и деньги. Он знал, что все это находится у Владимира и заперто в портфеле с его собственным, Кокушкиным, вензелом. Ключ от этого портфеля был всегда у самого Кокушки, и он не иначе носил его, как на часовой цепочке.

Со времени смерти деда и после подписания всех необходимых по наследству бумаг, Кокушка вдруг почувствовал желание иметь при себе ключ от своего имущества — это бы-

ло для него равносильно, так сказать, фактическому обладанию всем ему принадлежащим. Это придавало ему важность. Хранение же портфеля он сам поручил Владимиру. Время от времени он приходил к брату и требовал у него «швоих процентов», но всегда небольшими суммами: он был скуп, а на себя ему тратить много не приходилось.

Тут заключалась некоторая странность. Когда князь спросил Кокушку — отчего он поручил все брату, отчего отдал ему деньги и документы? — тот в первую минуту растерялся и не знал, что ответить. Дело в том, что он так поступил бессознательно, инстинктивно, чувствуя, что иначе быть не может, а почему не может — не знал.

Но князь настаивал на ответе.

— Да ве-едь ключ у меня! — наконец крикнул Кокушка.

— Так что ж, что ключ у тебя! А ни денег, ни бумаг — ничего нет... ты сам, друг ты мой любезный, отдался им в руки! Разве ты не можешь, как и все, держать при себе все твое?..

— Не-не могу... — растерянно сказал Кокушка.

— Почему?

— Не-не жнаю... не могу, да и вше тут!..
Оштавь ты меня в по-покое!

Он даже совсем рассердился, и князь ничего от него не мог добиться.

Узнав, что без документов никак нельзя, Кокушка пришел в отчаянье.

— Так что ж я бу-буду делать? — кричал он, бегая по комнате. — Он мне не дашт, ни-ни жа что не да-дашт!

— Конечно, не даст, — усмехнулся князь.

Кокушка остановился, закусил ноготь и вдруг торжествуя взвизгнул:

— Так я жнаю что! Я у не-него их украду!

— Свое не крадут, а берут, — заметил князь.

— Да, да... ведь оно мое... я имею пра-право... и я шделаю это... то-только тихонько... про-проведу его... дудки!

— Смотри только — не попадись! Тогда беда, если попадешься — сейчас же горячая рубашка — и конец! И уж никогда ни я, ни Ляночка тебя не увидим...

— Не-не попадушь!

Глаза Кокушки забежали, он весь покрас-

нел. В нем теперь, благодаря князю, были только, с одной стороны, страх горячечной рубашки, с другой — желание вырваться из дому и провести всех их, а затем посмеяться над ними: «Что вжя-вжяли! Дудки!»

Он даже среди этих, наполнявших его ощущений, забыл совсем свою невесту, он не видел ее уже несколько дней и о ней не спрашивал.

На следующее утро после Груниного концерта Владимир собирался выехать из дому. Он уже прошел в швейцарскую, рассеянный, задумчивый... Кокушка нагнал его.

— Во-Володя! Оштановишь... по-пошлушай!

Владимир даже вздрогнул, так его мысли были далеко.

— Что тебе, Кокушка, что, говори скорей?

— А вот видишь!

Он показал ему какую-то бумагу.

Если бы Владимир был менее рассеян, то заметил бы в лице Кокушки что-то крайне странное и подозрительное. Но он и не взглянул на него.

— Это па-патент!

— Какой патент?

— На орден Нины! Я до-должен положить его вмеште шо вшеми моими бумагами... Где мой портфель?

— Ах, да отстань, Кокушка, видишь — мне некогда, я спешу... успеешь!

Но Кокушка не отставал и махал перед собою «патентом».

— Нет, пожалуйста... я должен шейчас, не-непремен-но должен... вернишь на минутку... пойдём!

— Отстань, мне некогда! Дай мне эту бумагу, когда вернусь, я положу ее в портфель.

— Не-не-нет, я шам должен ее положить...

Владимир сердито расстегнул сюртук, вынул из кармана колечко с ключами, отделил из них один ключ и подал его Кокушке.

— Твой портфель в моем столе, в третьем ящике, с правой стороны. Вот от него ключ. Положи бумагу, запири потом ящик и ключ отдай мне сегодня же. Смотри, только не потеряй — слышишь?

Он поспешно вышел на крыльцо. Швейцар запирал за ним дверь, а потому и не видел, как Кокушка, с ключом в руке, соорил са-

мую зверскую и в то же время уморительную физиономию.

— Во-вот дурак! — прошептал он. — Шам отдал, шам!

Он как угорелый помчался в кабинет Владимира. Дрожащей рукой отпер он указанный ему братом ящик. В ящике этом ничего не находилось, кроме его портфеля.

Первым движением Кокушки было схватить портфель и убежать с ним.

Но вдруг он остановился, засопел и хитро засмеялся.

«Не-нет, я его перехитрю!»

Он отпер своим ключиком портфель, вынул все заключавшиеся в нем бумаги, потом с тут же неподалеку стоявшего стола взял несколько газетных листов, сложил их, уложил в портфель, запер ящик на ключ и с бумагами умчался к себе.

Кокушка поторопился поехать к князю.

— Во-во-вот! — торжественно влетел он к нему, потрясая перед собою свертком бумаг. — Во-во-вот, вше тут, вше из портфеля... а по-по-портфель оштавил на меште и на-на-навалил в него гажет... Что, княжь, хитер я?

Перехитрил, меня не проведешь... дудки!

Князь даже побагровел от удовольствия. Он провел бессонную ночь, не зная, благополучно ли Кокушка все это проделает, и невольно думая: «Хитер он, хитер и подготовлен довольно, а все же ведь идиот, разве можно на него положиться!»

Теперь он с жадностью принялся разбирать бумаги. Пересчитал все билеты, причем у него даже дрогнула рука.

— А вот и еще деньги, — торжественно сказал Кокушка, вынимая из кармана пачку сторублевых бумажек. — Вожьми, шпрячь.

Князь взял, пересчитал — шесть тысяч. Шесть тысяч наличными — это теперь как раз кстати. Ведь их легко могло и не быть, а менять какой-нибудь билет было пока более чем затруднительно. Князь вот уже три дня как обдумывал, где же он достанет денег на устройство свадьбы, на все необходимые расходы и на самое первое время — а тут эти шесть тысяч! За глаза довольно.

— К-к-когда же швадьба? — вдруг спросил Кокушка.

— Завтра! — ответил князь.

— Ка-как жавтра?!

— А так, следовало бы сегодня, да никак не успеем, а завтра непременно.

— У Ишакия? — спросил Кокушка.

— У какого Исакия?

— Я хочу в шоборе.

— Не хочешь ли ты с музыкой и с процессией по Невскому? — сердито крикнул князь и так взглянул на Кокушку своими вытаращенными глазами, что тот растерялся, смутился и даже стал дрожать.

— Ка-как же это? Неужели я буду венчаться беж вшякой пышности?

— Я вот что тебе посоветую, умница: садись и пиши приглашения всем своим родным, всем своим знакомым, да скорее, потому что к вечеру будешь в сумасшедшем доме!

Он обстоятельно, как объясняют ребенку, стал доказывать Кокушке, что свадьба должна быть тайком, не то родные помешают.

— Да неужели ты сам этого до сих пор не понял?

— По-понимаю... Только как же это?

Он грустно опустил голову. Он всегда мечтал о том, что его свадьба будет настоящим

торжеством, о котором долго все станут потом говорить.

— Что же это я бу-буду венчаться, ка-как какой-нибудь мещанин! — отчаянно завопил он.

— Ты будешь венчаться, как герой романа! — сказал князь.

Он стал объяснять ему, что такая свадьба, таинственная, — это еще лучше всех торжеств, что так венчались многие самые знатные люди, даже короли, что о такой свадьбе во всех газетах напишут.

Мало-помалу отчаяние Кокушки стихло, и даже лицо его засияло блаженством.

— А по-пошле швадьбы мы куда же?

— Сюда, ко мне покуда, а потом вы поедете за границу.

— Жа границу? Это хорошо! А ша-шампаншкое, надеюшь, будет?

— Сколько хочешь! — засмеялся князь.

— И го-гошти будут какие-нибудь?

— Будут! Успокойся, все будет, останешься доволен.

— Ну, отлично! Где же Ле-Леночка? — наконец вспомнил Кокушка.

— Она у себя, если хочешь видеть ее, пойдди.

Кокушка кинулся в комнату княжны. Дверь была незаперта. Он влетел к ней. Она сидела у себя перед столом и что-то писала. Лицо ее за эти дни сильно побледнело, глаза смотрели устало и, видимо, были заплаканы.

— Ждраштвуйте, не-невешта! — крикнул Кокушка, подбегая к ней и хватая ее руку.

Она вздрогнула, но не отняла руки. Кокушка чмокнул.

— Жнаете... ведь жавтра швадьба наша... Я-я бра-бра-та надул, меня не проведешь... дудки!.. Жавтра швадьба тайком, тайком — как в романе... Так даже короли венчаются...

Княжна сидела, опустив голову, не говоря ни слова.

— Что же вы молчите... ражве вы не-недовольны, Ле-Леночка? По-поцелуйте меня... это мо-можно теперь... Я тебе буду говорить «ты» и ты мне говори тоже. Поцелуй меня, Ле-Леночка!

Она не шевелилась. Он ее обнял и стал целовать своими мокрыми губами. Лицо его все краснело, он все целовал... Наконец она

вскрикнула, оттолкнула его, схватилась за голову и убежала. Он погнался за нею. Князь остановил его.

— Что такое? Что?! — спросил он.

— Не-не жнаю... я ее целовал, ведь я имею право, а она молчит, как рыба, и вдруг убежала, бу-будто я укушил ее... я не кушаюшь! Что же ш княжной, шпраши ее?

— А вот что, друг мой, подожди целоваться — женись прежде, а потом успеешь! Поезжай к себе, будь умен и осторожен, а завтра ровно в два часа, слышишь, ровно в два часа сюда и не в своем экипаже, а на извозчике...

— По-понимаю!

Он схватился за шляпу, но вдруг остановился.

— В чем же я буду ве-венчаться — в мундире, надеюшь?

— Нет, во фраке, в мундирах теперь не принято...

— Ты наверно это жнаешь?

— Говорю тебе, наверно! И потом — мундир — ведь это опять обратить внимание... понимаешь: тайна!

— Да, да! — задумчиво прошептал Кокуш-

ка. — Так я, значит, во фраке прямо приеду к тебе в два часа?

— Прямо во фраке и приезжай, а главное, осторожнее, чтобы на фрак твой не обратили внимания.

— Так я его в ужелок... шкажу, что к Шарра вежу переделать!

Кокушка уехал. Перед обедом, встретясь с братом, он как ни в чем не бывало, с самой скромной физиономией и только несколько бегая глазами, подал ему ключ.

— Во-вот твой ключ, вожьми!

— Какой ключ?

Владимир даже забыл совсем — так он был в этот день рассеян.

— Ключ от ящика!

— Ах да, хорошо!

Кокушка быстро вынул из кармана платок, закрыл им себе лицо и стал сморкаться. Но дело в том, что он, в сущности, не сморкался, а фыркал. Его так и разбирал смех, и он про себя думал и повторял:

«Провел дурака, провел, а меня не проведешь, дудки!.. Что-то ты жавтра шкажешь?!»

После обеда он ушел к себе и весь вечер си-

дел, раскрашивая какие-то картинки. Бог весть, о чем он думал, но только, очевидно, думал о многом, так как по временам бросал кисточку, начинал сопеть, а потом улыбался.

XVII. ВСЕ ГОТОВО

Все было решено, приготовлено и устроено. Князь сначала думал поступить совсем иначе. По первому его проекту молодые сейчас после венца должны были поехать на станцию железной дороги и отправиться за границу. Но эту мысль он давно оставил. Он находил теперь, что незачем подвергаться излишним тратам, что нисколько не следует скрываться, прятаться, бежать. Ведь все дело в том, чтобы их обвенчать. А раз они обвенчаны — то и все сделано, видимой противозаконности никакой.

Конечно, если бы Горбатовы вздумали затеять дело, то ему не избежать некоторых неприятностей; но он всегда может вывернуться, а главное — ведь они никогда не затеют дела.

Он до последней минуты не верил в возможность получить до свадьбы Кокушкины

деньги. Он предполагал, что ему предстоят длинные переговоры и неприятные объяснения. Но вот все эти ценные бумаги, более чем на пятьсот тысяч, в его бюро.

По отъезде Кокушки он позвал дочь, отпер при ней бюро и показал ей эти бумаги.

— Вот вся твоя будущность! — сказал он ей. — Это Кокушкино состояние! Ведь я говорил тебе — напрасно ты его за дурачка считаешь, нет, я тебе скажу, он ловкий малый. Сказал: добуду все мои деньги — и добыл.

Княжна еще не пришла в себя от Кокушкиных поцелуев, но все же она с невольным любопытством подошла к бюро.

— Сколько же здесь? — растерянно спросила она.

— Много, Леночка, много! Если будешь благоразумна — на всю жизнь хватит, а и не на всю жизнь, так ничего... У него впереди от отца наследство... А отец человек совсем больной, проживет недолго. Говорят, долгов много, да все же ведь и состояние громадное, что-нибудь да останется... ведь у них какие имения!..

— Как же теперь эти деньги? — опять спро-

сила княжна.

— А так, пока все не кончится, будут здесь у меня в бюро лежать в полной сохранности.

— Не бойся, не пропадут, и я вас не ограблю, — прибавил он. — Да, вот что самое лучшее, вот видишь — я запрю, а ключ возьми ты.

Он вспомнил, что, на всякий случай, у него есть второй ключ от этого ящика.

— Видишь, ключик маленький, хорошенький, надень его себе пока на шейную цепочку, так будет верней... Пойди-ка сюда!

Она машинально подошла к нему. Он запустил ей свои толстые пальцы за воротничок, вытянул тоненькую золотую цепочку с крестом, расстегнул замочек, надел ключ.

— Вот так! А теперь, Леночка, советую тебе успокоиться и завтра быть молодцом... Подумай, ведь необходимо, чтобы все сошло гладко. А ты что же такое? Ну, зачем ты это сегодня такой крик подняла?.. Что он целоваться стал — велика важность!..

Она наконец подняла на отца глаза. В ее взгляде сверкнула злоба.

— Да уж пошла на все это, — проговорила

она, — так назад нечего возвращаться. Я сама на себя сержусь, что сейчас вот не выдержала. Этого больше не будет.

— Ну и молодец!

— А как же Нетти? — вдруг спросила княжна.

Нетти была эту зиму помещена в пансион, где она жила всю неделю, но на праздники ее брали домой, и она должна была прийти именно в этот вечер.

— Я заеду в пансион, свезу ей всяких лакомств и попрошу, чтобы ее оставили на этот раз. А через неделю она может вернуться, к тому времени, надеюсь, у нас все будет устроено.

Он так и сделал. Еще накануне, нарочно придравшись к какому-то вздору, он раскричался на горничную, которая, по его мнению, была при теперешних обстоятельствах излишней и могла, пожалуй, оказаться даже очень вредной. Он так рассердил ее, что она сама отказалась от места и уже вечером уехала со своими пожитками.

В доме оставались всего только его верный хохол, бывший денщик, поверенный всех

проделок барина, да на кухне старуха-кухарка, женщина совсем глупая, жившая в доме всего недели две и даже и ходу-то почти не знавшая в господские комнаты...

«Да, да, так будет гораздо лучше, — думал князь, возвращаясь домой из пансиона, — даже и в случае поисков... Если бы Горбатовы вздумали начать скандал, или там что-нибудь, несколько дней поищут, подумают, наверно, что они далеко, а они тут себе, преспокойно на Знаменской, да и я глаз с него не спущу».

Вернувшись домой, он наскоро пообедал, а затем призвал своего хохла и объявил ему, что надо устроить комнату для молодых. Весь вечер он с хохлом занимался этим делом.

В комнату для молодых была превращена его собственная спальня, из которой он перебрался в кабинет. Хохол перетащил сюда все, что было в доме подходящего, побольше ковров, занавесок. Две сдвинутые кровати покрыли огромным шелковым стеганым одеялом бледно-розового цвета, каким-то чудом сохранившимся от прежнего времени. Посреди комнаты повесили розовый фонарик. И хо-

хол, и сам князь остались очень довольны убранством комнаты.

Когда все было готово, князь принес и разложил на столе купленные им в этот день флердоранжевые гирлянды для невесты и длинную вуаль. Это было неизбежно, так как он хорошо знал, что Кокушка без флердоранжев венчаться ни за что не станет.

Было далеко за полночь, когда князь решил, что делать на сегодня уже нечего и что можно ложиться спать. Но, прежде чем идти в кабинет, он заглянул к дочери.

Она лежала на кровати одетая, возле на маленьком столике догорала свечка.

— Леночка!

Она ничего не ответила. Он подошел, взглянул на нее. Глаза открыты, но глядят так странно, безжизненно, неподвижно. Ему даже стало страшно.

— Леночка! Да что же ты не отвечаешь? Что с тобою? Встань!

Она спустила с кровати ногу, потом другую и встала перед ним.

— Больна ты, что ли?

Она глядела ему прямо в глаза неподвиж-

ным, бессмысленным взглядом.

— Что с тобой? — повторил он еще раз, беря и трясая ее за руку.

— Ничего! — прошептала она.

Он оставил ее руку. Рука эта не опустилась, а как бы застыла в том положении, как он ее оставил. Он не обратил на это внимания.

— Раздевайся и ложись спать, пора! Затуши свечку... Ну хорошо, что я вошел, ты спала с зажженной свечкой... Ты пожар могла бы сделать. Раздевайся — слышишь!

— Хорошо! — покорно прошептала она.

Он вышел. Он был очень утомлен за весь этот день, поспешно разделся и заснул.

Княжна по его уходе тоже разделась, затушила свечу, легла в кровать. Но все это она сделала, как кукла какая-нибудь, совсем машинально.

Утром, проснувшись, она не помнила, что было с нею вчера, как она разделась и заснула.

Ровно в час хохол накрыл в столовой для завтрака, расставил всевозможные закуски.

Зацепин не заставил себя ждать. Он явился во фраке как бы с чужого плеча, но все же

вполне приличном. На его шее, под белым галстуком, приготовленным и повязанным его домохозяйкой Матреной Ильинишной, красовался орден Анны. На отвороте фрака, у верхней петли, была прикреплена сабелка с болтавшимися на ней миниатюрными орденами и медалями. Желтые волосы его были сильно напомажены и прилизаны, лицо несколько даже потеряло изумленное выражение. Он, видимо, находился в самом прекрасном настроении духа.

Он вошел в кабинет князя с «клаком» в руке и в белых перчатках.

— Вот и я! — весело прохрипел он. — Все готово, через час приедут кареты, сам осмотрел — лошади такие, что мигом домчат куда угодно. С отцом Семеном все устроено... только пятьсот рублей ему надо в руки до венчания.

— Вот они, вот... бери, за этим дело не станет.

Князь выложил из портфеля и передал Зацепину пять сотенных бумажек. Тот сунул их в карман.

— Ну, а кого же ты нашел? — спросил

КНЯЗЬ.

— А старый знакомый подвернулся... Я, признаться, о нем и не думал, да вдруг вчера встретил.

— Кто же это?

— А наш с тобой старинный приятель и сослуживец Колым-Бадаев.

— Как, эта киргизятина еще жива?

— Как же, жив, он тут в Петербурге уже третий год... бедствует тоже изрядно. Разговорились мы с ним... Спрашивает он меня: куда я. А я и говорю: вот к одному знакомому, просить хочу быть свидетелем на свадьбе. А сам думаю: да чего же лучше — наша киргизятина! Ведь человек совсем безобидный!

— Это точно, совсем безобидный! — подумав, произнес князь.

— Ну, и кончилось тем, что мы с ним поладили. Он для тебя готов не только что свидетелем, а что угодно. Только вот, видишь ли, князь, уж и ты ему окажи услугу.

Князь усмехнулся.

— Само собою! Ведь это только ты, старая ворона, задаром на стену готов лезть!

— А что же мне с тебя деньгами брать за

услугу, что ли? — вспыхнув, прохрипел Зацепин. — Да и киргизятина тоже... я думаю... ведь и он наш старый товарищ, каков ни на есть, а все же офицер был русской службы... только вот дела его сильно плохи, до зарезу ему шестьсот рублей надо... И я подумал, что ты, может быть, его выручишь и ему, признаться, намекнул об этом...

— Дам я ему шестьсот рублей... за услугу услугой! Ты ведь меня знаешь...

У князя в кармане были Кокушкины шесть тысяч, а когда у него в кармане оказывались деньги, он их не считал и не скупился. В течение всей своей беспутной жизни он много раз выручал приятелей. Эта его широкая щедрость как-то совсем естественно и просто уживалась с отсутствием всяких нравственных понятий. Она его главным образом и привела к гибели и в то же время теперь оставалась в нем, может быть, единственный хорошей чертой.

— Дам я ему шестьсот рублей! — повторил он. — Отчего не выручить, когда можно!.. Да что же он не идет?

— Сейчас, верно, будет, не бойся, не опоз-

дает...

Действительно, через несколько минут слышался звонок и в кабинет вошел Колым-Бадаев, маленький, приземистый уродец, с глазами такими крошечными, что их почти совсем не было видно; с такими скулами, что они казались на щеках двумя огромными шишками, с носом в виде пуговицы и с реденькой, прямой и жесткой, как конский волос, бородкой.

Он тоже был во фраке, со Станиславом на шее и медалями в петлице. И еще больше, чем у Зацепина, его фрак казался с чужого плеча. Он был ему чересчур узок и чересчур длинен.

Колым-Бадаев пошел навстречу князю с протянутыми руками, троекратно с ним облобызался и заговорил:

— Кнэзь, кнэзь, сколко лет, сколко зым! Рад тэбэ видэт, а еще большэ по такой случай...

— И я рад тебя видеть! — ответил князь. — И благодарю тебя, что взялся помочь...

— Нэ за что! Ми с тобой, кнэзь, старый друг... Помнишь, мало, что ль, водка умеете

выпыли?

— Много брат, много!

— То-то же...

Колым-Бадаев ударил себя руками по бокам и весь затрясся от смеху...

— Хороша время было, ошенно хороша! Тэпэрь трудно время, ошенно трудно.

Зацепин подошел к нему.

— Я говорил князю про твое затруднение, — сказал он.

— С удовольствием тебя выручу! — перебил князь.

Колым-Бадаев покраснел, глаза его совсем скрылись.

— Вот, бачка, спасыбо, большое спасыбо... из бэды выручишь, та-акой бэды!..

Он окончательно развеселился.

— Пойдемте в столовую закусить! — пригласил князь и, взглянув на часы, прибавил:

— Теперь и жених наш с минуты на минуту приехать должен.

Он уже не в первый раз посматривал на часы. Как ни был он смел, как ни был самонадеян, а все же с самого утра ему было как-то не по себе. Он даже раскаивался, что не заста-

вил Кокушку приехать как можно раньше.

«А вдруг там что-нибудь случилось? А вдруг все дело рухнуло?..»

Деньги здесь... и в сущности, ведь это такого рода деньги, которые можно так вот взять да и оставить совсем у себя, даже если бы Кокушка и пропал навеки.

Но к чести князя все же надо сказать, что до этого он еще не дошел, эта мысль и не пришла ему в голову. Деньги Кокушкины он считал почти своими, но только в том случае, если вместе с ними он получит и Кокушку. Если бы кто-нибудь высказал перед ним мысль, что он может завладеть этими деньгами и без Кокушки, он бы, конечно, накинулся на такого человека и избил его — разве он на это способен? За кого же его почитают?..

Но вот уже два часа, а Кокушки нет!

Они прошли в столовую, и Зацепин и Колым-Бадаев с видимым удовольствием приступили к закуске. Князь же ничего не ел и все прислушивался.

— А где же, князь, твоя дочка? — спросил Колым-Бадаев.

— Она у себя, постой, увидишь... Эх, что же

это жених не едет! — не вытерпев, крикнул он.

В это время изо всей силы кто-то дернул звонок и, прежде чем хохол успел пробежать в переднюю, опять зазвонили еще и еще, с каким-то остервенением.

Колым-Бадаев и Зацепин даже беспокойно взглянули на князя.

— Что это? Кто может так звонить?

Князь засмеялся.

— Это он, он всегда так звонит!..

Через несколько секунд в столовую влетел Кокушка, завитой барашком, с удивительно закрученными усами, во фраке, в белом галстуке, с орденом Нины.

Он не обратил никакого внимания на незнакомые ему лица, подбежал прямо к князю и затрещал:

— Я... я... не мог шкажать, что вежу фрак к Шарра... ма-магажин-то ведь жаперт нынче... Мы и не шоображили с тобою!.. Да ты не бойся, я во-вот что жделал: ве-велел принести тебе шубу в шпальню, надел фрак, на него шубу... жакутался и вышел... никто не видел... Что это? Жавтрак? Я голоден... отлич-

но!..

— Позволь тебе представить, Николай Сергеевич, моих друзей! — нисколько не смущаясь, важно и спокойно сказал князь.

— О-очень рад! — крикнул Кокушка. И вдруг подскочил к Зацепину и, нагнувшись к его сабельке, спросил:

— Это какой у ваш орден?

Тот ответил.

Затем Кокушка покосился на Колым-Бадаева.

— Ка-какое лицо! — как бы про себя сказал он.

А потом, уже прямо обратясь к киргизу, спросил его:

— Вы... вы китаец?

— Нэт, зачем китаэц, — видимо, несколько обиженно отвечал тот.

Князь вмешался.

— Мой старый сослуживец и друг, господин Колым-Бадаев, киргизского происхождения. Его отец был султаном всех киргизов, понимаешь, и он сам тоже султан.

— Шу-лтан! — протянул Кокушка. — Это, это только у турок шултаны!.. Не надуешь...

дудки!..

— Нет, друг мой, и у киркизов султан, а если ты не знаешь, так тебе же хуже... я вовсе не шучу!

Кокушка несколько опешил.

— Пра... правда, что вы шултан? — спросил он Колым-Бадаева.

— Да, ыстынная правда! — важно отвечал тот.

Кокушка поверил, и с этой минуты выказывал Колым-Бадаеву, несмотря на невольное смущавшее его лицо, видимое почтение.

— А Ле-Леночка?! — крикнул он, окончив завтрак. — Что же ее нет, можно мне к ней?

— Никак нельзя! — строго сказал князь. — Разве ты не знаешь, что жених не должен видеть невесту перед венчанием... увидишься с нею в церкви.

Кокушке очень хотелось пойти к княжне для того, чтобы, как вчера, целовать ее; но он чтит обычаи и потому на слова князя сказал:

— Да... да, это правда... Когда же мы едем?

— А вот сейчас... Ведь ждать нечего — не так ли?

Колым-Бадаев и Зацепин с ним согласи-

лись.

— Так мы вот как! Я поеду с женихом, а вы сопровождайте невесту... Я сейчас...

Он направился в комнату дочери. Она была уже готова. Она сделала все, как приказал отец. На ней было белое шелковое платье, которое она подобрала, а сверх него надела длинную ретонду. Цветы и вуаль были уложены в картонку. На голове у нее была шляпка.

Таким образом, она могла выйти на подъезд и ехать, не обратя на себя ничьего внимания.

Она казалась спокойной, даже чересчур спокойной.

— Я готова, — произнесла она, увидев входившего отца.

— И мы готовы, сейчас едем... я с Кокушкой... а с тобой поедут Зацепин и Колым-Бадаев.

— Кто такой Колым-Бадаев?

— Тоже мой старый товарищ; да, ведь ты его не знаешь! Ну, это все равно...

Она медленно поднялась с кресла, захватила картонку.

— Подожди немножко... минуты две! — остановил ее князь. — Дай нам сначала выехать с Кокушкой.

Он еще раз взглянул на нее, потом как будто что-то вспомнил, подошел к ней.

— Леночка! — сказал он, и голос его дрогнул.

— Что, папа? — спросила она.

— Леночка, конечно, свадьба эта у нас немного странная, но... (он сделал рукою выразительный жест) — что уж тут!.. Знай одно, что я от всего моего сердца желаю тебе счастья.

Она с изумлением на него взглянула и еще с большим изумлением увидела, как из вытаращенных его глаз вдруг закапали слезы.

— Леночка! — прошептал он таким голосом, какого она еще никогда у него не слышала.

Он привлек ее к себе, крепко поцеловал, а затем стал крестить. Она не шевелилась. Она глядела на него почти совсем бессмысленно.

— Ну, с Богом! — крикнул он, вынув платок, быстро вытер им глаза и ушел.

Через минуту он сел с Кокушкой в ка-

рету.

Княжна подождала немного и вышла из своей комнаты прямо в переднюю.

Зацепин поздоровался с нею и представил ей Колым-Бадаева. Она кивнула головою, не промолвив ни слова, даже не подняла глаз на своих спутников.

Хохол отпер дверь. Она медленно спустилась с лестницы, держась за перила, затем порывисто бросилась в угол кареты, закрыв себе лицо воротником ротонды. Зацепин поместился рядом с нею, Колым-Бадаев напротив.

XVIII. КОКУШКИНА СВАДЬБА

Князь счел нужным преподать Кокушке некоторые советы, как следует ему держаться в церкви. Но жених его слушал рассеянно.

— Да ты слышишь, любезный друг, что я тебе говорю?

— Шлышу... шлышу, отвяжишь, княж!

— Не отвяжись, а то, если ты себе что-нибудь такое позволишь, так ведь священник остановит венчанье... Что тогда будет?

— А я без тебя ж-жнаю, как мне держать

себя, не тебе меня учить... дудки!.. — сердито объявил Кокушка и принял такой важный вид, что князь с невольной улыбкой глядел на него. С каждой минутой он, очевидно, проникался все больше и больше торжественностью и важностью своего положения.

Во всю продолжительную дорогу он упорно молчал и только время от времени разглаживал себе на руках перчатки. Всего раз, во время этого занятия, он изменил своей торжественности.

— Ло-лопнула! — вдруг завопил он.

Князь, тоже ушедший в различные мысли, даже вздрогнул.

— Что такое, что?

— Ло-лопнула, проклятая! — повторял Кокушка, ерзая на месте и показывая свою перчатку. — Ка-как я теперь буду?..

— Ничего, это незаметно! — успокоил его князь.

Тогда жених снова погрузился в торжественное молчание и неподвижность, только иногда искоса взглядывал на перчатку. Под конец она стала неудержимо притягивать его внимание. Он разглядывал лопнувшее место,

вытягивал его, разглаживал, вертел по нему пальцем и кончил тем, что провертел огромную дырку.

Наконец карета остановилась среди глухого, почти уже загородного захолустья, у церковной ограды.

Кокушка в сопровождении князя важно направился на паперть. Их уже ждали. Церковь была открыта; навстречу им вышел маленький старичок в длинном пальто с собачьим воротником.

Кокушка видел, как князь ему сказал что-то, и старичок, согнувшись, рысцою побежал через двор, по густо выпавшему и хрустевшему снегу. Князь и Кокушка вошли в пустую, холодную, несколько мрачную церковь.

— Хо-хо-хороша встреча! — обиженно и грустно проговорил Кокушка. — На шамых бедных швадьбах и то бывают певчие!

— А зато посмотри, какое освещение! — сказал князь, показывая ему иконостас.

Кокушка взглянул, свечей зажжено было много, и он несколько успокоился.

Вот стукнули двери — это приехала княжна со свидетелями. Она опиралась на руку За-

цепина. Жених взглянул на нее и так и замер.

«В шляпке, вся в черном — что же это такое? — подумал он. — Невеста без флердоранжей, без вуали, не в белом платье!..»

Он соглашался на все, примирялся со всем, но с этим примириться не мог. Он подошел к князю и отчаянным, но решительным шепотом объявил ему:

— Яш че-черной венчатьша не стану!

— Да ты взгляни хорошенько!

Зацепин снял длинную ротонду княжны. Колым-Бадаев открыл картонку — княжна превратилась в настоящую невесту с флердоранжами, вуалем, в белом платье.

Жених просиял, отошел в сторону, вытянулся и принял самый горделивый, важный вид. Если бы не чересчур уже круто завитые волосы и не странные глаза, он сошел бы за очень исправного жениха. Несмотря на слишком короткую фигуру, в нем была известная доля представительности, черты его лица, особенно в профиль, были красивы.

Появился священник с причтом. Кокушка не изменял своей торжественной позы. Пристально взглянув на него, а потом на дочь,

князь должен был убедиться, что все обстоит благополучно.

Теперь единственная вещь смущала жениха — а вдруг как не будет розового атласа им под ноги? Розовый атлас оказался. Он сам видел, как причетник принес его. Тогда он совсем успокоился, по временам только немножко обдергивался и искоса поглядывал на «Ле-Леночку».

Но она на него не смотрела. Она глядела прямо перед собою своими большими черными, широко раскрытыми глазами. Ее короткая верхняя губка с усиками по временам вздрагивала. Она была очень хороша, и Кокушка начинал чувствовать себя на седьмом небе. Он ждал той минуты, когда при всех ее поцелует.

«Во-во-вот, — думал он, — шмеялишь вше, го-го вори-ли, что у меня жена будет штарая баба, а на вот какая крашавица — меня не проведешь — дудки!»

Взошли на клирос и расписались в церковных книгах. Все обошлось в глубочайшей тишине и полном спокойствии.

Наконец из алтаря показался священник,

пожилой, бледнолицый человек с коротко обстриженной бородою, глядевший совсем безучастно и каждым своим движением показывавший, что ему ни до кого нет дела, что он, собственно, никого даже и не видит.

Вот уже аналой поставлен посреди церкви, зажжены свечи, разостлан розовый атлас.

Кокушка вытянулся, выпятил вперед грудь, мерным церемониальным шагом подошел к невесте и стал рядом с нею. Началось венчание. Княжна, все так же не мигая, смотрела перед собою, и если бы не дрожавшая в ее руке и оплывавшая свечка, если бы не нервное дыхание ее высокой груди, можно было почтить ее за статую, так она была бледна, так неподвижна.

Кокушка, все больше и больше выпячивая вперед грудь, следил за тем, чтобы его свечка не оплывала, был поглощен желанием непременно первому стать на розовой атлас. Затем он вдруг вспомнил о дырке на своей перчатке и то и дело старался скрывать ее. Он бойко и громко проговорил вслед за священником все, что ему сказать следовало. Слов княжны нельзя было расслышать, у нее только без-

звучно шевелились губы.

Венчание подходило к концу. Наконец настала так ожидаемая Кокушкой минута, и он нисколько не изменил своей важности и торжественности и на всю церковь чмокнул «Леночку».

Они обвенчаны... Его поздравляют.

— Теперь я по-поеду ш нею, — сказал он князю.

— Нет, мы опять с тобой поедем, кто-нибудь может встретиться...

— Так уж те-теперь вше равно, уж конечно! Кончено! Теперь уж дудки!

Но князь его уговорил и сел с ним в карету. На возвратном пути Кокушка оказался другим: его сдержанность и важность как рукой сняло, он чувствовал себя освобожденным от страха, испытываемого им, благодаря князю, все это последнее время. Теперь он уже не боялся «сумасшедшего дома» и горячечной рубашки. Он кричал и визжал, торжествуя, что всех провел, что никого не боится.

— Покажишь только теперь, брат! — крикнул он. — Вше, вше выложу, шпашибо, голубчик!.. А ведь я ему верил, думал, что он меня

любит, таким добреньким прикинулся — хитрец — а я же вот его и перехитрил!..

— Однако ты не кричи! — урезонивал его князь. — Подожди, дай приехать, а то ведь ты так кричишь, подумают, что я тебя режу в карете...

И вот новобрачные дома. Хохол разносит пенящиеся бокалы шампанского. Кокушка выпил сразу три бокала и пришел совсем в восторженное настроение.

Новобрачная было исчезла, она хотела переодеться, поскорее снять с себя это платье: ей было в нем так тяжело, так совестно перед самой собой. Но он побежал за нею, опять целовал ее мокрыми губами и требовал, чтобы она непременно «так» осталась, мало того, чтобы она опять надела вуаль и флердоранжи.

Чтобы только избавиться от этого приставанья, от этих криков, она исполнила его желание.

За обедом Кокушка ел за двоих и пил изрядно, так что скоро у него совсем стало шуметь в голове. Впрочем, пил не он один. Князь и оба его старые сослуживцы пили еще

больше. Под конец обеда начала пить и «Леночка». Щеки ее разгорелись, глаза затуманились и, наконец, она стала то и дело хохотать бессмысленно и неудержимо, глядя на ораторствовавшего и блаженного своего «мужа».

Муж! Нет, она не представляла себе, не понимала, совсем не понимала, что Кокушка действительно муж ее...

После обеда все перешли в кабинет князя. Кокушка подружился с Колым-Бадаевым, был с ним уже на «ты», и называл его не иначе как «шултаном».

— А отчего ты, шултан, не вожвращаешься в свои владения? — кричал он. — Чего ждешь торчишь?..

— Я и вэрнусь! — отвечал ему пьяным голосом Колым-Бадаев. — Скоро вэрнусь.

— Так я к те-тебе в го-гошти приеду ш Леночкой, пошмотреть на твоих жон... Ведь у тебя их много?

— Много, много! — хихикал Колым-Бадаев, пряча свои глаза за скулы. — Приезжай, бачка, милосты просым!

Зацепин ни на шаг не отпускал князя, со-

всем прилип к нему. Глаза его ословели, язык путался, и он своим хриплым голосом толковал:

— Нет, ты пойми, князь, пойми только: проект о полном переустройстве России!.. Кто до этого додумался? Ведь в этом весь вопрос... существенный... наисущественный... суть самая... а я дошел вдруг и просто, как дважды два четыре!.. Ну, скажи сам, ведь уже это-то нельзя так, как вот мои «Мартышкины очки» отбросить — к направлению-де не подходит!.. Тут уж никакое направление, тут благоденствие отечества... Ведь так? Ведь так? Ну, скажи, князь, ведь так?

— Ну, так! Ну, что же тебе в том проку? — отвечал князь.

Он ровно ничего не слышал из того, что говорил приятель. Хоть и совсем пьяный, но он все думал о только что совершенном им гениальном *coup d'état* [65] и соображал — нет ли какой прорухи. «Нет, теперь кончено, теперь все в порядке!» — самодовольно решил он.

— Как что мне проку? — с ожесточением хрипел Зацепин. — Да после этого как ни верти, а меня нельзя миновать... Тут, я так ду-

маю, ты сам понимаешь... я человек скромный, сам о многом не мечтаю... Но все ж, как ты там хочешь, а тут министерством пахнет... И как это только мысль эта раньше не пришла мне в голову — удивляюсь!..

Но язык его с каждой минутой путался все больше и больше, и он кончил тем, что задремал.

Между тем рюмочки ликера то и дело наполнялись. Затем опять, по требованию Кокушки, хохол принес шампанского. К одиннадцати часам все были совсем пьяны.

Тогда хохол решил, что гостей следует выпроводить. И Зацепин и Колым-Бадаев были его старыми приятелями. Он надел на них шубы. Сначала свел одного под руки с лестницы и посадил в карету, потом вернулся за другим. Захлопнув дверцу кареты, он крикнул кучеру:

— С Богом! Да полегоньку — не растрясипанов!

Когда хохол вернулся, чтобы тушить лампы и свечи, князь храпел непробудно на диване. Новобрачные исчезли.

Несколько минут в квартире все было ти-

хо. Но вдруг хохол расслышал сначала стук, а потом и отчаянный голос Кокушки:

— Ле-Леночка! Ну пушти, где ты! Жачем жаперлашь?

Хохол остановился, прислушался, покачал головою, потом пошел на крик, отвел Кокушку от двери комнаты Елены и, ни слова не говоря, взяв его под мышки, почти снес в спальню.

— Прилягты, паныч, прилягты! — убедительным тоном посоветовал он ему.

— А княжна?.. То-то ештъ же-жена моя? — взвизгнул Кокушка.

— Бувайты спокойны, прилягты!.. — еще убедительнее повторил хохол.

Кокушка, как сноп, не раздеваясь, повалился на кровать.

— То-тошнит, — прошептал он, но через минуту захрапел.

Тогда хохол осторожно вышел из комнаты и запер двери...

Кокушка проснулся поздно, с всклоченной головою, с красными, опухшими глазами. Он вскочил с кровати и несколько минут стоял неподвижно, ничего не понимая, бессмыс-

ленно озираясь.

Он был одет во фрак от Сарра, залитый шампанским, в измятой рубашке, с орденом Нины. Кровать, покрытая розовым атласным одеялом, была несмята. Во рту у Кокушки пересохло, язык, как деревянный, голова тяжела...

— Что же это такое?! — вдруг завопил он и кинулся из комнаты.

XIX. ПЕРЕПОЛОХ

В десятом часу утра, когда Владимир только что успел встать и умыться, у двери его спальни послышался голос Маши.

— Володя, ты встал? Если нет, так вставай скорее и выйди ко мне...

Владимир очень изумился, в ее голосе слышались тревога и нетерпение.

«Что случилось? — подумал он. — Уж не телеграмма ли?.. Отец?!»

Он не знал, что и подумать.

— Сейчас, Маша, сейчас!

Он быстро надел на себя первое, что попало под руку, и вышел к сестре.

— Что такое?

— Кокушка пропал!

Он сразу не понял.

— Как пропал? Что ты говоришь такое?

— Вчера весь день его не было... не вернулся и вечером... совсем не вернулся... я сейчас только узнала.

Владимир перетревожился не на шутку. Конечно, в этом известии пока еще не было ничего особенно ужасного, и первое, что пришло ему в голову, это, что Кокушка свел какое-нибудь нехорошее знакомство, что он накануне кутнул и, наверное, скоро вернется.

Он передал свое предположение Маше.

— Может быть, и так, — сказала она, — но ведь это не кто другой — это Кокушка!..

Владимир покраснел. Конечно, виноват во всем он сам: ведь он же взялся заботиться о брате, охранять его, а между тем в последнее время даже почти забыл о нем.

— Однако нужно разузнать, — тревожно говорил он, — спросить его кучера...

— Кучер ничего не знает, он вчера никуда не возил его, — отозвалась Маша. — Я посылала узнать Анну Яковлевну.

Анна Яковлевна была старушка-экономка,

приехавшая с Горбатовыми из Москвы и уже немало лет прожившая там у них в доме.

— А все же я должен сам поговорить с кучером. Распорядись, милая, чтобы его позвали сюда, ко мне.

Кучер скоро явился. Но из его слов Владимир не узнал ровно ничего. Кучер этот, молодой малый, петербургский, нанялся недавно. Кто его знает, может быть, он и хитрил, но только стоял на том, что знать ничего не знает:

— Ездили с молодым барином по всему городу...

— Где он всего чаще бывал в последнее время? — спрашивал Владимир.

— А как вам сказать, сударь, везде мы бывали... и на Миллионной, и на Сергиевской, и в Коломне, на Английском проспекте... То туда, то сюда братец ездили... По магазинам вот тоже часто... так себе, вдоль Невского и Морской, ради прогулки... К Летнему саду иной раз возил я их... Велят остановиться, выйдут прогуляться немного да и опять поедем вдоль по набережной, мимо дворца Зимнего. А то и вот на Знаменскую я тоже их нередко возил.

Он сказал номер дома.

— На Знаменскую?.. Кто же там живет? К кому он ездил?

— А этого не могу вам доложить, сударь, не полюбопытствовал... Знаю, что князь какой-то там, а фамилию не упоминал.

«Князь, князь! — думал Владимир. — На Знаменской... да это Янычев!»

— Не Янычев ли? — спросил он кучера. Тот подумал.

— Может, и так, сударь! Да, пожалуй, что оно и так... точно что в этом роде фамилия.

— И часто, ты говоришь, он туда ездит?

— Одно время частенько, сударь, а потом перестали. Да и доложу я вам, вот уже с недели три они ведь редко вообще стали ездить. Я даже камердинера ихнего не один раз спрашивал... А и третьего дня и вчерась так совсем и не закладывал.

— Ну, хорошо, ступай!

Владимир призвал Кокушкиного камердинера. Тот появился, несколько смущенный и как бы даже перетрусив.

Из его слов Владимир узнал, что вчера Кокушка не пошел завтракать, а приказал при-

нести себе в комнату шубу, потом, надев шубу у себя в комнате, вышел из дому.

— И потом вот, сударь, как стал я прибираться, так и вижу, что все платье их осталось, кроме фрачной пары. Во фраке они вышли, и в белом галстуке, и в белых перчатках.

«Во фраке, в белом галстуке и в белых перчатках!» Владимир не мог на это не обратить внимания.

— Получал Николай Сергеевич эти дни письма? — спросил он.

— Никак нет-с, на этой неделе ни одного письма не получили.

Владимир отправился в комнаты Кокушки, осмотрел, но ничего подозрительного или интересного не нашел. Скоро к нему присоединилась Маша.

— Вот уже одиннадцать часов, — говорила она, — а его все нет! Ну хоть что-нибудь узнал ты?

Владимир передал ей слова кучера и камердинера.

— Что же это значит? Зачем бы это он так во фраке, утром?

— Да, это очень странно! Мало ли что мог-

ло прийти ему в голову, мало ли каких глупостей он мог наделать! Пожалуй, вдруг вздумал ехать кому-нибудь представляться... Но ведь вот его нет до сих пор. Что, он не ночевал дома в Москве? С ним случилось это иногда?

— Никогда!

— И потом, это ведь совсем не в его понятиях. Тут одно меня смущает — Знаменская, этот князь Янычев... Ты знаешь, какой это человек. Я простить себе не могу, что не следил за ним, что допустил такое знакомство. И потом, вот кучер говорит, что в последнее время он не ездил на своих лошадях, а ты знаешь, что он пешком ходить или кататься на извозчиках не охотник.

— Так что же ты думаешь делать, Володя?

— Подожду до завтрака. Если он к завтраку не вернется, я прежде всего поеду к этому Янычеву.

— Ну, а если ты там ничего не узнаешь?

— Тогда... тогда придется, делать нечего, съездить к Трепову, с ним посоветоваться.

Владимир стал тревожно ходить по комнате.

— И я, я во всем виноват, я его совсем упустил из виду!

— Не вини себя! — заметила Маша. — Что же ты с ним мог сделать? И прежде-то он был на свободе, а теперь как же убережешь его! Много ли у него было, по крайней мере, денег в эти дни? Это ты должен знать.

— То-то и есть, что у него почти совсем не было денег — я ждал, что он придет и спросит... И вообще теперь я начинаю припоминать, соображать, ведь он в последнее время как-то особенно притих... Его не было ни видно, ни слышно.

— И я тоже это заметила!

Владимир никуда не отправился и проговорил с сестрой до завтрака, все еще надеясь, что вот-вот явится Кокушка. Но Кокушка не явился к завтраку. Тогда Владимир велел скорее заложить сани, Кокушкины сани, с его кучером, и поехал на Знаменскую.

Как нарочно, в доме, где жил князь, хоть и новом, швейцара не оказалось. Прежнего швейцара прогнали за непробудное пьянство, а нового как-то до сих пор не наняли. Домохозяин на требования жильцов ограничивался

обещаниями, что непременно и в скором времени швейцар будет. Старшего дворника Владимир тоже не нашел. Какая-то старушка объяснила, что дворник «ушедши в участок», но она в конце концов указала Владимиру, что князь Янычев живет по парадной лестнице в третьем этаже, в шестом номере.

Владимиру пришлось звонить несколько раз, пока наконец дверь не отворилась и перед ним не показалась фигура хохла. Князь ожидал этого посещения, а потому все меры были приняты. Князь находил, что, во всяком случае, следует по возможности затянуть время. Хохол сделал такое глупое лицо, какого от природы у него никогда не бывало, и на вопрос Владимира: «Дома ли князь?» — ответил, что «князь ушедши».

— А княжна дома?

— Якая княжна?

Когда Владимир объяснил — какая, хохол сказал ему, что княжна больна, лежит и никого принять не может. Оставалось сделать третий вопрос относительно того, не был ли в гостях у князя вчера или сегодня Николай Сергеевич Горбатов. Но уже задавая вопрос,

Владимир понял, почему у хохла такое глупое лицо, почему он то и дело клюет носом — хохол был совсем пьян. Вместо того чтобы ответить на третий вопрос гостя, он понес такую околесную, что не было возможности ничего разобрать... Когда князь вернется, хохол, конечно, не знал.

Владимиру пришлось уехать. Он решил, что в тот же день опять возвратится к Янычеву, что непременно добьется с ним разговора, если Кокушки еще нет дома.

Возвращаясь домой, Владимир не утерпел и заехал в Троицкий переулок к Груне поделиться с нею своей бедой и сказать, чтобы она не ждала его вечером. Но Груню он не застал.

Кокушка не возвращался. Все в доме были очень встревожены. Даже Николай Владимирович вышел из своей безучастности. Выслушав Владимира, он сказал ему:

— Ты попал на настоящий след — он там, на Знаменской... То есть я не знаю, там ли он, но, во всяком случае, это, должно быть, не без участия Янычева.

— Почему вы так думаете, дядя?

Николай Владимирович остановил на племяннике свой загадочный взгляд.

— Я не имею понятия об этом Янычеве, я что-то слышал о нем дурное, мне просто кажется, что тут — он... Это мое внутреннее убеждение, так же как и твое.

— Что же нам делать?

— Делать так, как ты решил: подождем еще день. Если он не вернется, завтра отправляйся к Трепову.

— А если мы только потеряем время?

— Не думаю! — спокойно и серьезно проговорил Николай Владимирович. — Ты видишь, я спокоен, потому что уверен — это дело окончится благополучно, и надо постараться избежать огласки. Совсем, конечно, этого нельзя.

— Да, а сегодня необходимо побывать у всех его знакомых, — сказал Владимир. — Может быть, его где-нибудь и видели.

Он объездил этих знакомых. Спрашивать прямо, конечно, он не мог. Но ему легко было узнать, что Кокушку в последнее время никто не видел.

Весь день прошел все в более и более воз-

раставшей тревоге. Даже Софи волновалась, волновалась шумнее прочих.

Ей не было никакого дела до того, что, собственно, с Кокушкой, но она предвидела скандал, скандал уже начался-и это не могло не выводить ее из всякого терпения.

Вечер прошел. Вот уже полночь. Владимир велел постлать себе на диване в Кокушкиной комнате, все еще питая слабую надежду, что, быть может, тот вернется. А если вернется, то, конечно, пройдет прямо сюда.

Владимир разделся, но спать не мог. Только что начнет забываться, ему послышится как будто шум, будто где-то недалеко отворяются двери — и он вскакивает, прислушивается... Но нет, все тихо. Уже два часа. Сон одолевает мало-помалу, тревожный, лихорадочный сон, полный ярких, отрывочных, меняющихся сновидений.

Он видит брата — тот будто стоит перед ним в мундире, в треуголке и при шпаге, показывает ему какой-то необыкновенный орден и говорит: «Я уезжаю в Америку, меня выбрали в президенты Северо-Американских Штатов».

Потом является Груня. Она склоняется над ним, он чувствует ее дыхание. Его наполняет ощущение безумной страсти... и он опять просыпается — весь полный трепетом...

Эти дни, эти вечера — ведь все это сон волшебный, радужный и в то же время тревожный. Ведь вот Кокушка оторвал его, вернул к жизни... Но он забывает и Кокушку, забывает все, он опять уходит в свою собственную жизнь.

И перед ним, среди ночной тишины, в странной обстановке этого кабинета, говорящей о разнообразных и неожиданных вкусах и занятиях будущего дипломата, яснее и яснее мысль:

«Однако ведь должен я очнуться... все это надо решить скорее, как можно скорее!.. Зачем она заставляет меня молчать... зачем она не хочет говорить о будущем?.. Нельзя, надо скорее, как можно скорее прийти к этому будущему... Я не оставлю ее в настоящем — ни за что... Груня...»

Откуда-то раздается ее могучий, звонкий голос, весь дышащий негой и страстью, переносащий в мир грез, в мир вдохновения...

«Для тебя... для тебя одного!» — повторяются ее же слова...

«Для меня одного и должно быть... для меня одного ты и будешь...» — в порыве ревнивой и страстной любви шепчет Владимир...

Наконец бледнее и образ Груни... Часы медленно бьют пять — уже утро скоро...

Владимир заснул. Он проснулся поздно. Кто-то теревит его за рукав.

— Во-Володя... прошьшь!..

Он открыл глаза — перед ним Кокушка, растрепанный, красный, во фраке, весь дрожит, глаза так и бегают. Владимир вскочил и сразу очнулся.

XX. ВЫРВАЛСЯ

— Откуда ты? Где ты был? Что с тобою случилось? — воскликнул Владимир, чувствуя только одно, будто огромная, давящая тяжесть спала у него с плеч. И за этим облегчением забывая все остальное.

Но Кокушка, влетевший в свой кабинет как стрела, разбудивший брата с большою поспешностью и вообще в первую минуту имевший, несмотря на свою растерянность и восторженность, почти торжествующий вид, вдруг при этом вопросе притих, робко взглянул на брата, потом, ни слова не говоря, подошел к креслу, упал в него и заплакал. Он плакал, как плачут маленькие дети, сильно обиженные, плакал навзрыд, безнадежно, всем существом своим. Рыдания потрясали его. Он ничего не слышал, не понимал.

Владимир не знал, что с ним и делать; наконец он заставил его выпить воды. Тогда рыдания Кокушки стали понемногу стихать.

— Да успокойся же, успокойся! — говорил ему ласково Владимир. — Успокойся... ведь ты жив, здоров, ты дома! Расскажи мне по по-

рядку, где ты пропадал?

— Во-Володя! — крикнул Кокушка, остановив свои слезы. — Дай мне честное шлово рушского дворянина... Дай!

— В чем? В чем?

— Дай... дай!..

— Ну, даю — изволь... говори же!..

— Ты меня не хо-хотел пощадить в шумашедший дом? Ты не хо-хотел надеть го-горячечную рубашку?.. Не-не-хотел отнять у меня мои деньги, честное шлово, шкажи?

Владимир не знал, что и подумать.

— Да что ты? Очнись, что ты такое говоришь?.. Разве ты можешь думать обо мне такое? Разве ты когда-нибудь от меня дурное видел?

Кокушка бегал глазами и сопел.

— Не-нет, только вше же дай... дай шлово!

— Конечно, даю, что и в помышлениях у меня не было ничего подобного.

Кокушка вскочил с кресла, задрожал, затоптал на месте и с искаженным лицом закричал:

— Я та-так и подумал!.. Я догадалша, он обманул меня, ме-мержавец!.. Он уверял ме-

ня, что ты и вше вы меня ижвешти хотите...

Владимир изо всех сил вслушивался. Неясная мысль вдруг мелькнула в голове его.

— Кто, кто? Кто тебя уверял?

— Он, он... князь Янычев.

— Что я?..

— Ну-да, ну-да... тештюшка!.. Хорош тештюшка, нечего шкажать!..

И он вдруг прибавил почти шепотом:

— Во-володя... ведь я женилша...

Владимир побледнел.

— Как женился?.. Это все вздор, шутки...

Он еще надеялся.

Но Кокушка снова покраснел и рассердился.

— Го-говорю — не шутки, не шутки, говорю — об-вен-чалишь в церкви... швидетели... вше как шледует... третьего дня... женат...

У Владимира почти захватило дыхание. Но он сдержал волновавшие его чувства, стал опять просить Кокушку успокоиться и наконец добился от него более или менее связного рассказа.

Хотя, конечно, рассказ этот то и дело прерывался посторонними вещами и хотя в нем

совсем не подобающее место занимал «шущултан, настоящий киргишкий шултан», у которого много жен и к которому Кокушка намерен ехать в гости в степи, но все же мало-помалу все обстоятельства этого грубого, почти безумного по своей дерзости и, так сказать, простоте плана, исполненного Янычевым, выяснились перед Владимиром. Он хорошо знал все свойства Кокушки и должен был согласиться, что и князь этот также хорошо узнал их и что с Кокушкой именно и можно было устроить все только так, как оно и было устроено. Но ведь это гнусное, грязное преступление!.. А между тем вот Кокушка женат... дело сделано...

Кокушка продолжал свой рассказ.

— И она давно ведь уже была моей невестой... Ведь я тебе еще в Мошкве тогда говорил...

Только теперь вспомнил Владимир, что Кокушка действительно говорил ему это.

— И она уверяла меня в швоей любви... и была такая лашковая... и так меня ревновала... и она такая кра-краша-вица!.. И вдруг, вдруг, как мы обвенчались — я ее два дня не

вижу, не вы-выходит иж швоей комнаты! Меня не пушкает!.. Ведь я муж... ка-как она меня шмеет не пушкать... я один...

— Да ведь я вчера приезжал туда, я тебя спрашивал! — невольно крикнул Владимир.

— Жнаю, жнаю, я шлышал, как ты говорил у двери... я притаилша...

— Отчего же ты ко мне не вышел?

— Я еще ему верил... этому ме-мержавцу! — вдруг выходя из себя при одном воспоминании о князе, заорал на всю комнату Кокушка. — Я только этой ночью вше думал, думал и увидел, что он меня надул и что он вше шолгал... про тебя... Я опять стал шту-шту-чатьша к Ле-Леночке, к моей жене...

Вдруг Кокушка остановился, сделал отчаянную гримасу и опять закричал:

— Дря-дрянь! Терпеть не могу теперь!.. У нее жаячья губа... уши... глажа как плоски!..

— Да не бранись, говори спокойно...

— Не-не-могу!.. — выходил из себя Кокушка. — Как она шмеет!..

Он трясся от бешенства.

— Я го-гошударю буду на них жаловаться!

— Хорошо, хорошо, все в свое время. Ска-

жи ты мне, как же ты, наконец, вырвался?

— А та-так, очень прошто. Шегодня как проснулся — штучал, штучал, она меня не пушкает, я и расшердился, выбранил ее как шледует, да и те-тещешку этого. Я ему шкажал: «Ешли так, я у тебя ни минуты не оштанушь». Я ему шкажал, чтобы он шейчас же отдал мне вше мои деньги и бумаги, а он не отдает и хотел меня жапереть и штал говорить, что шейчаш велит принешти горячечную рубашку и меня в шумасшедший дом... Я-я его так — так трешнул ижо вшей шилы, так что он от меня откатилша... Прямо ему в пужо. Шкорей я шубу... шапку... вышкочил... на ижвощика и домой!..

— Пстой, пстой, про какие ты говоришь деньги?

У Владимира просто голова кружилась от этого безобразного рассказа.

— Как какие де-деньги? Вше мои де-деньги и бумаги!.. Это он, он меня жаштавил принешти... я и вжал их в портфеле... Помнишь — у те-тебя ключ шпрашивал?

Владимир побледнел.

— Да ты правду говоришь?

— Правду.

— Что же ты это сделал? Оставайся здесь, сиди, я вернусь скоро! — проговорил Владимир, спешно оделся, вышел из Кокушкиного кабинета и прежде всего отправился к себе — ему все еще не верилось, что денег в портфеле нет.

Когда он доставал портфель, у него блеснула надежда: портфель полон! Он отпер его своим «вторым» ключом и увидел вместо билетов старые газеты.

Он поспешил к дяде, в его библиотеку. Николай Владимирович, как всегда и ко всем, относился к племяннику ласково, но между ними существовали чисто внешние и очень далекие отношения. Живя в одном доме, они почти никогда не встречались. Конечно, много раз Владимиру хотелось поближе разглядеть дядю, разобраться, что это за человек, действительно ли он помешан, как почти все думают. Он к нему еще с детства чувствовал симпатию. Ему неизвестны были все подробности семейной драмы, но он почти ясно представлял ее себе.

В первое время по переезде своем из Моск-

вы на житье в Петербург он сделал все, от него зависящее, для сближения с дядей, но от того веяло таким холодом, он казался таким безучастным, видимо, так тяготился, хотя и скрывая это, присутствием Владимира в библиотеке, любопытство юноши так его отрывало от работы, которой он тогда предавался с особенной страстностью, что Владимир наконец обиделся. Его юное самолюбие страдало.

«Если он меня не хочет, так и мне его не надо!» — решил он, и затем о сближении между ними уже не было речи. Но теперь, со вчерашнего дня, то есть с исчезновения Кокушки, Николай Владимирович, совсем как бы не существующий в доме, вдруг объявился, вдруг принял участие в семейном деле. И все это сделалось само собою. Он оказался центром, действительно старшим в доме. Его всегда запертая для всех библиотека была накануне местом совещаний всех членов семьи.

И вот теперь известие о возвращении Кокушки собрало в библиотеку Марью Александровну, Гришу, Софи и Машу.

Владимир рассказал, в чем дело. Все были в настоящем ужасе. Только Николай Влади-

мирович спокойно сидел в своем огромном кресле, закутанный в черный бархатный халат.

Софи, с искаженным от злобы лицом, толковала о позоре семьи и о том, что, во всяком случае, этого злодея Янычева и его негодную дочь следует скорее сослать в Сибирь. И как это ни ужасно, а нужно ехать сейчас же к Трепову, чтобы их немедленно арестовали, пока они здесь.

Гриша, хотя и довольно спокойный, был согласен с двоюродной сестрой.

— Да, конечно, их следовало бы арестовать! — заметил он. — Только ведь это такие люди, ведь они, конечно, отопрутся и скажут, что у них никаких денег нет. Это, знаете, гораздо сложнее, чем, может быть, кажется с первого раза.

Николай Владимирович, молчавший до сей минуты, взглянул на сына и сказал:

— Гриша, приведи его, пожалуйста!

Скоро явился Кокушка. Его бешенство теперь совсем утихло. Он присмирел, имел жалкий и грустный вид. Вошел, опустив глаза; но когда он их поднял, то прямо встретился со

взглядом Софи. Неизвестно, что прочел он в лице сестры, только его всего вдруг будто перевернуло.

— Вше... вше иж-жа тебя, принцешша! — закричал он, срываясь с места и подбегая к ней.

Гриша удержал его за руку.

— Это сил нет никаких вынести! — объявила Софи и поспешно вышла из библиотеки.

— Пойди сюда, Коля! — сказал Николай Владимирович. — Посмотри на меня.

Кокушка взглянул и сразу же остыл, спокойно подошел к дяде и сел рядом с ним.

— Теперь расскажи нам, только без криков, все, как было, это необходимо для тебя же.

Кокушка заговорил совсем иначе, чем говорил с Владимиром. Время от времени Николай Владимирович задавал ему вопросы, и он отвечал на них очень спокойно и даже толково, что с ним очень редко случалось. Всего один раз хотел было он распространиться «о шу-шултане», но и тут сейчас же и позабыл о нем.

Николай Владимирович слушал внимательно и, почти глаз не спуская, глядел на Кокушку. Этот допрос затянулся, и Владимир даже с досадою стал замечать, что дядя, вместо того чтобы толковать о том, что теперь надо делать и скорее, не откладывая, решить этот вопрос, просто-напросто как бы забавляется совсем ни к чему не идущими, ненужными подробностями.

Он заметил также, что дядю интересуется не князь, а именно Кокушкина «жена», что он как бы хочет изучить ее со слов Кокушки, заставляет его передавать о ней мельчайшие подробности. Этого мало — он, оставив Кокушку, обратился к Владимиру.

— Ты ее знаешь? — спросил он.

— Да, знаю, я редко с нею встречался, но все же встречался и здесь, и в Москве.

— И ты, Гриша?

— И я ее знаю, и никогда бы не подумал, что она способна на такие вещи... Прехорошенькая! — отозвался Гриша.

— Как же! — выходя из своего спокойствия, крикнул Кокушка. — А уши? А жаячья губа? А глажа как плоски?! Урод... урод!

Николай Владимирович успокоил его взглядом, а затем снова обратился к сыну и племяннику.

— Опишите мне, пожалуйста, подробно ее наружность и впечатление, которое она на вас производила, — сказал он. — Володя, начни ты!

Владимир не удержался.

— Мне кажется, дядя, что это совсем излишнее! — с досадой заметил он.

Николай Владимирович улыбнулся своей тихой улыбкой.

— Уверяю тебя, что это совсем не лишнее, и ты сам скоро увидишь, что я прав, а теперь поверь мне на слово.

Марья Александровна молчала. Она видела, что «чернокнижник» что-то задумал, и знала, что из задуманного им выйдет нечто серьезное.

— Поверь мне на слово, — повторил Николай Владимирович.

Владимир пожал плечами, но исполнил желание дяди. При этом его досада и раздражение внезапно прошли: он описывал «Ле-Леночку» не только с обстоятельностью, но как

бы с увлечением.

То же самое сделал вслед за ним и Гриша.

Когда он замолчал, Николай Владимирович обратился к Кокушке.

— Успокойся, мой друг, — сказал он, — пойди теперь к себе, переоденься, приведи себя в порядок.

Он взял его за руку.

— Мы тебя в обиду не дадим; и деньги свои, и бумаги ты получишь. А вперед, надеюсь, таких глупостей не станешь делать?

— Не-нет! — объявил Кокушка. — Теперь меня никакой княжной не надуешь... дудки!

Он уже подошел было к двери библиотеки, но затем вернулся.

— Та-так, жначит, я могу ехать кататьша шегодня?

Николай Владимирович печально усмехнулся.

— Советовал бы сегодня и завтра еще подождать... Посиди дома, займись чем-нибудь, а послезавтра и кататься можешь.

— Хо-хорошо! — покорно ответил Кокушка и вышел. Досада снова вернулась к Владимиру.

— Однако что же нам делать? — сказал он. — Ведь Гриша, пожалуй, прав, да и конечно прав — эти люди просто-напросто украли Кокушкины полмиллиона и ото всего оторутся.

— Эти люди! — выговорил Николай Владимирович. — Отца и дочь нельзя смешивать: мне кажется, что она совсем тут не так преступна, как можно подумать сразу.

Он опустил голову на руки и говорил медленно, слово за словом.

— Конечно, можно начать дело, — говорил он, — и арестовать их, и что угодно... Но прежде всего это сделает нашу семью сказкой города... И так будут говорить; но все же можно избежать излишнего шума, неприятностей, хлопот...

— Разве вы нашли такой способ? — с недоверием в голосе заметил Владимир.

— Мне кажется, нашел... Я беру на себя это дело. Я сейчас же сам поеду к Янычевым, а, вернувшись, скажу вам — удалось мне или нет. Согласен ты мне это поручить, Володя?

Владимир был не согласен. Он был совершенно уверен, что этот странный, полупоме-

шанный и таинственный дядя только все испортит. Но нельзя же было ему это высказать, нельзя было его обидеть.

— Делайте как угодно! — сказал он.

Николай Владимирович поднялся со своего кресла, подошел к племяннику, положил ему руку на плечо и шепнул:

— Станный, полупомешанный человек именно такое дело и может легко устроить!

Владимир невольно вздрогнул.

— Что вы сказали, дядя, я не понимаю? — запинаясь, растерянно прошептал он.

— Завтра поймешь, мой друг.

— Гриша, вели заложить мне карету! — обратился он к сыну и затем ушел в свою спальню одеваться.

Уходя из библиотеки, Марья Александровна взяла под руку Владимира и, остановясь с ним в одной из комнат, спросила его:

— Что тебе сказал дядя? Отчего ты после его слов стал вдруг таким странным? Будь так добр, скажи мне.

— Уверяю вас, ma tante, ничего, я даже не расслышал хорошенько... я не понял.

— И я не расслышала, но поняла, догада-

лась и скажу тебе. Он сказал тебе твою мысль.

Владимир растерянно глядел на нее.

— Да? Ведь я угадала? И от себя прибавлю: мне кажется, что он устроит это дело.

Из того, как она говорила, из ее тона, можно было заметить, что в ней уже не было прежних страхов. Владимир ничего не понимал.

Однако теперь не время было разбираться во всех этих таинственностях.

Николай Владимирович сейчас уедет, наверно, вернется ни с чем... Надо будет ехать к Трепову, все это объяснить... Завтра весь Петербург будет толковать об их деле, потешаться над Кокушкой.

Николай Владимирович уехал и вернулся менее чем через два часа. Он прошел к Владимиру.

— Что же, вы уладили что-нибудь, дядя? — спросил тот.

— Да, уладил!

— Как же? Как?

— Завтра ровно в одиннадцать часов утром Кокушкина жена сама принесет сюда все его деньги и бумаги. Ты, конечно, этому

можешь не верить... Но, Володя, я серьезно и убедительно прошу тебя подождать до завтрашнего дня, до одиннадцати часов... Прошу тебя не ездить к Трепову... убедительно прошу... слышишь?..

И Николай Владимирович поспешно вышел от племянника.

«Да ведь он в самом деле помешанный, совсем, совсем помешанный!.. Что же это значит?» — думал Владимир.

Но почему-то сам себе не отдавал в том отчета — почему он к Трепову не поехал.

XXI. НЕ ВЫМЫСЕЛ

Как же помешанный дядя все это сделал? Если б спросить его — он бы ответил: «Все сделалось очень просто, очень естественно и только по счастливой случайности скорее и удачнее, чем можно было ожидать».

Если бы на его рассказ возразили, что он выдумывает небылицу, сказку, он только улыбнулся бы своей загадочной улыбкой и пожал плечами.

Можно назвать как угодно, но так оно было. План действий, конечно, сначала только в

общих чертах, явился в его голове уже с первой минуты, как он узнал о том, что Кокушкино состояние находится в руках Янычева. Расспросив о княжне Кокушку, Владимира и своего сына, он, по некоторым данным, ему одному известным и понятным, убедился, что если только он увидит княжну, эту законную жену Кокушки, он достигнет своей цели.

Когда он подъезжал к Знаменской, для него весь вопрос заключался в том: дома князь Янычев или нет. Если он дома, это, конечно, усложнит дело, может быть, несколько затянет его, но все же не испортит. Ему только нужно быть в их квартире и увидеть княжну... и то, и другое он сделает.

Он соображал и склонялся к тому, что князя вряд ли застанет! После того как Кокушка убежал, этот его «тештюшка» вряд ли останется сидеть сложа руки, наверно, он что-нибудь предпримет, сделает какой-нибудь шаг, с кем-нибудь повидается.

Так оно и случилось. Кокушка ничего не преувеличил, рассказывая, что он оттолкнул от себя князя так, что тот «отлетел» и сразу не мог прийти в себя. Когда же он очнулся от

этого неожиданного богатырского толчка, Кокушка уже сбежал с лестницы и вырвался из дома. Гнаться за ним по улице не представлялось, конечно, никакой возможности. Князь пришел в бешенство и кинулся к дочери, сидевшей, запершись, в спальне. Он едва дождался, пока она отперла ему дверь, и появился перед нею весь багровый, с налитыми кровью, вытаращенными глазами, почти будучи не в силах выговорить слова. Он был так страшен, что Елена с ужасом вскрикнула.

Ей показалось, что произошло убийство. Она слышала крик и взвизгиванья Кокушки. Теперь он не подает голоса... Отец в таком виде...

— Господи! — простонала она. — Что случилось? Вы его... убили?!

— Дура! — гаркнул князь. — Ты вот и себя, и меня убиваешь!.. Ведь он убежал, убежал из дому... что ты наделала!..

— Убежал! Слава богу! — выговорила она.

Он схватил ее за плечи и, сам не помня уже что делает, стал трясти ее изо всей силы.

— Да что ты... что ты?! — задыхаясь, хрипел он. — Зачем же ты соглашалась?.. Зачем

ты венчалась, если намерена была так поступать?.. Зачем ты целый день вчера и сегодня, вот теперь, его не впустила?.. Ну сказала бы ему несколько слов, уговорила его... и он бы успокоился... остался... Что ты теперь надела-ла?..

— Ну, так что же! Ну, убейте меня!

Он оставил ее плечи.

— Сиди теперь и не выходи из дому, — сказал он, несколько утихая. — Я должен сейчас же ехать к священнику, взять свидетельство. Ты без меня не впускай никого, не выходи — слышишь?!

— Куда же я выйду? — закрыв лицо руками, прошептала она. Мне и из этой комнаты выйти совестно...

И она зарыдала.

Князь, хлопнув дверью, поспешно оделся и уехал.

Когда Николай Владимирович звонил у его квартиры, он еще не возвращался. Отворивший двери хохол, увидя незнакомое лицо, сразу, не дожидаясь вопроса, объявил, что никого нет дома. Он уже хотел без всяких объяснений захлопнуть дверь, но вдруг, сам не по-

нимая как, от нее отшатнулся, и незнакомый бледный господин вошел в переднюю.

— Да ведь я же говорю — дома никого нет! — почему-то совсем растерявшись, чего с ним вообще никогда не бывало, воскликнул хохол.

— Я буду ждать! — сказал Николай Владимирович. — Запри дверь!

Хохол, как бы удивляясь сам на себя, машинально запер дверь.

— Возьми, повесь мою шубу! — также спокойно приказал ему Николай Владимирович, а сам вошел в гостиную.

Хохол повесил шубу и остался в передней.

Николай Владимирович остановился на несколько секунд среди гостиной, потом, будто у себя дома, без всякого стеснения, заглянул в столовую, в кабинет... Потом он опять вернулся в столовую и остановился перед запертою дверью. Эта дверь была в спальню Елены.

Почему он остановился перед этой дверью, опять-таки, если б его спросить, он ответил бы: «Потому что — за этой дверью есть кто-то и этот кто-то, конечно, она, та самая, которую

мне надо».

Он стоял и глядел пристально на дверь. Несколько раз поднялись и опустились его руки.

Елена в это время лежала на кровати, вся как бы разбитая, совсем измученная. Мысли беспорядочно и неясно бродили в голове ее. Она глубоко, всем существом своим раскаивалась в том, что сдалась, подчиняясь увещаниям отца, а главное, она без отвращения не могла теперь подумать о Кокушке. После венчания, после того как она стала его законной женою, отрезвась, она почувствовала к нему именно то непреодолимое физическое отвращение, которое заставляло ее содрогаться всеми нервами при одной о нем мысли.

Она совсем не понимала и не могла себе представить, что же теперь будет? То ей хотелось убежать скорей отсюда, в Москву, к тетке. Но разве та примет ее после такого поступка? Нужно бежать... бежать за границу, подальше... Но как же это сделать?.. Ведь ей никто не поможет, не даст совета... да и на какие средства бежать?.. О Кокушкиных деньгах она не подумала... И снова страшная

мысль мелькнула в голове ее: да ведь он все же законный муж, он имеет на нее право!

Она совсем путалась, терялась, ничего не понимала. Она не слышала, как в передней звонили, не слышала шагов Николая Владимировича в столовой.

Но вдруг она вздрогнула всем телом, подняла голову с подушки, потом спустила ноги на пол... села на кровать... Через минуту, не отдавая себе отчета в том, что делает, она подошла к двери, отперла ее и вошла в столовую. Увидя перед собою незнакомого человека, она хотела сейчас опять скрыться, уже сделала было движение назад, но потом, оставив дверную ручку, пошла к этому незнакомому человеку... Он пристально глядел на нее блестящими глазами... Быстрым движением он поставил ей стул, на который она упала.

Между ними не было произнесено ни слова. Она продолжала смотреть на него, только выражение ее глаз изменилось.

Он подошел к ней, подняв руку, приложил ее ей ко лбу, она оставалась неподвижной — ни изумления, ни страха, ни смущения не изобразилось на лице ее;

Он быстро сделал перед нею несколько движений руками, затем взял другой стул, сел на него и заговорил:

— Вы меня видите?

— Вижу! — отвечала она.

— Слышите?

— Слышу.

— Можете отвечать на мои вопросы?

— Да, могу.

— Вы знаете, кто я?

— Нет еще.

— Но ведь вы меня не боитесь?..

— Нет, нисколько! — твердо, но не своим, а каким-то странным голосом, будто произнося заученные слова, ответила она.

— Елена, зачем вы согласились... вы рассказываете в этом?

— Да, о как я рассказываюсь! Как я мучаюсь!

Она стала дрожать всем телом. Он положил ей руку на плечо и произнес:

— Успокойтесь!

Ее дрожь мгновенно прекратилась.

— Знаете ли вы, о чем я хочу спросить вас?

Она отвечала не сразу, прошло несколько секунд. Но вот губы ее с усилием шевельну-

лись, и она едва слышно произнесла:

— Знаю. Вы хотите знать, где деньги и бу-
маги... здесь ли они... Они здесь.

— А завтра утром здесь будут?

— Да.

Он подошел к дверям столовой, загля-
нул — никого нет, хохол продолжал сидеть в
передней. Тогда он тихо притворил за собою
дверь и вернулся к Елене.

— Где эти деньги?

— У отца в кабинете...

Он подумал несколько мгновений и потом
едва заметно улыбнулся.

«Нет, пусть лучше так, все равно не пропа-
дут...» Затем он опять обратился к Елене, на-
клонился над нею и шепотом, почти у самого
ее уха, медленно сказал:

— Сегодня ночью вы возьмете эти деньги и
завтра, ровно в одиннадцать часов, будете с
ними у меня, на Мойке, в доме Горбатовых, в
моей библиотеке. Вы сделаете это непременно!
но!

— Непременно сделаю! — произнесла она.

— А теперь забудьте все, что сейчас было.

— Хорошо, — прошептали ее губы.

Он дунул ей в лицо. Она подняла свои опустившиеся веки...

Что это? Она в столовой... перед нею незнакомый человек. Скорей, скорей назад! Она быстро вернулась к себе в спальню и заперла за собою дверь.

Все время — от того мгновения, когда она выглянула из спальни, и до того, как она в нее вернулась, — для нее не существовало.

В передней раздался звонок. Николай Владимирович быстро перешел в гостиную и когда спешной походкой из передней в нее влетел князь, он уже сидел на диване, в позе ожидающего человека. Он приподнялся и поклонился князю.

— С кем имею удовольствие? — сердитым тоном спросил тот.

— Николай Владимирович Горбатов!

Князь уже успел во время своей поездки к венчавшему Кокушку священнику и обратно совсем успокоиться, все обдумать и решить. Но все же он несколько опешил. Взгляд Николая Владимировича производил на него неприятное впечатление.

Однако он справился с собою, даже вызвал

на своем лице улыбку и пробасил:

— Очень приятно познакомиться, прошу вас, садитесь, Николай Владимирович.

Тот сел и заговорил спокойным, ровным голосом.

— Князь, я приехал просить вас объяснить мне, что такое случилось с моим племянником? Он пропал из дома на двое суток, перепугал нас всех ужасно... теперь вернулся и говорит, что женился на вашей дочери. Правда ли это?

— Истинная правда! — без запинки и, по-видимому, совсем хладнокровно отвечал князь.

— В таком случае я спрошу вас: разве этого нельзя было сделать несколько иначе?

Князь не ожидал такого вопроса и такого невозмутимого спокойного тона.

— Со слов Николая Сергеевича, насколько я понимаю его положение в семье, иначе было нельзя: вы бы не допустили этого. Но он совершеннолетний, правоспособный и мог поступать, как ему вздумается... Насильно никто его не мог заставить венчаться, все произошло самым законным порядком... Если его

выбор вам не нравится — очень жаль... но я не судья в этом...

Николай Владимирович улыбнулся...

— Зачем мы будем так говорить? — произнес он. — Я приехал вовсе не для того, чтобы с вами пререкаться... Я приехал с ваших слов проверить рассказ племянника, а затем решить с вами сообща все, что требует решения. С вашей дочерью я еще не знаком; но я о ней слышал и ничего не могу иметь против выбора моего племянника... Да и, наконец, вы сами сказали, что он совершеннолетний и правоспособный... Его отец, и мой брат, за границей, так, так что я... я — сторона... а главное — они обвенчаны.

Князь окончательно стал успокаиваться.

«Вот он каким тоном говорит!.. Очень благоразумный... а ведь его помешанным считают... Любопытно, знает ли он про деньги? Ведь, наверно, знает, тот, я думаю, это прежде всего сказал...»

Николай Владимирович продолжал:

— И теперь, прежде всего, я попрошу вас представить меня вашей дочери, а моей новой родственнице.

— С большим удовольствием!

Князь поспешно прошел к Елене и стал убеждать ее, что она должна непременно выйти к гостю и быть любезной.

— Там, видимо, не хотят никакого скандала, — говорил он, — как я думал, так все и вышло, все обойдется, только будь же ты хоть немного благоразумна, выйди, слышишь, непременно выйди!

Но Елена объявила:

— Ни за что не выйду, хоть убейте меня здесь на месте — не выйду.

Князь побагровел, но сдержался.

— Елена, идем!

Он взял ее за руку. Но она вне себя стала вырывать руку.

— Пустите! — расслышал он ее шепот. — Пустите — или я кричать буду!

Он бешено взглянул на нее, махнул рукою и вернулся в гостиную.

— Извините, Николай Владимирович, — сказал он, — моя дочь чувствует себя очень нехорошо и никак не может выйти, боюсь, как бы она не разболелась... сейчас пошлю за доктором.

— В таком случае, я не стану мешать вам...

С этими словами Николай Владимирович встал, поклонился и вышел. Князь проводил его в переднюю до самой двери. А потом остановился и думал:

«Однако все же... Как у нас будет? Вон он приезжал... а зачем, собственно, приезжал? Только взглянуть на Елену?.. И что же мой зятек — вернется он? Надо ждать, как-нибудь все это ведь развяжется... и, главное, мне нечего бояться, совсем нечего. Только вот эта дура — что с нею? Всегда была такая послушная».

Он решил, что лучше ее теперь оставить в покое, а затем, ну завтра, что ли, поговорить с нею тихонько, благоразумно, вот как тогда, когда он убедил ее согласиться на венчание...

XXII. ЧУЖАЯ ВОЛЯ

Князь крепко спал на диване своего кабинета, спал, как спит человек после деятельно проведенного и тревожного дня, когда, однако, тревога уже затихла и уступила душевному спокойствию.

Перед сном князь окончательно решил, что ему нечего бояться каких-нибудь неприятностей и осложнений со стороны Горбатовых. Разве что Кокушка ускользнул, — то есть не он, а его деньги, — ведь они, в сущности, даже должны быть рады избавиться от такой обузы и сдать ее ему на руки. Дочь он уговорит, конечно. Она напишет Кокушке ласковую записку, позовет его — и он явится. Затем самое лучшее — им всем ехать за границу.

Нетти останется в пансионе, сыновей, которые довольно плохо учатся в военной гимназии, он поручит одному из тамошних воспитателей, у него они и будут проводить все свободное время, а он станет следить за их учением, репетировать их уроки. Теперь такой расход возможен, и ведь следует же позаботиться о детях.

Все это легко устроить в два, три дня — и скорее за границу с Еленой и Кокушкой. Пора отдохнуть... Князь уже начинал чувствовать первые приступы старости. Эта старость приходила в виде перемены вкусов. Теперь его уже не привлекало то, что привлекало прежде: он уже не засматривался на хорошеньких женщин — насмотрелся в жизни довольно. К вину, после лесного клопа, его не тянуло. Оставил карты — да и то, ведь он вот уже месяца три как не брал их в руки...

Ну там, за границей, конечно, где-нибудь можно будет испробовать счастье. А главное, его манила эта поездка в приятные и прекрасные места, где он может, наконец, благодаря средствам Кокушки, играть блестящую роль. Он — князь, настоящий князь, не выдуманный для заграничной поездки... Он будет жить *grand seigneur*'ом [66]... Появится где-нибудь на водах, на морском купанье... в сопровождении красивой дочери — и будет центром самого изысканного, блестящего общества. Правда, его французский «прононс» значительно поиспортился вследствие долголетней отвычки... Но ничего, сойдет — несколь-

ко недель практики — и только...

А главное, он полечится на водах. Ну вот хотя бы в Карлсбаде, ему это очень, очень не мешает. Потом Nachkuhr [67] где-нибудь в Тироле, в живительном воздухе... Осень на берегу океана, в Биаррице... Десять лет спадет с плеч, он помолодеет, отдохнет, соберется с новыми силами... Пора, устал!..

А если Кокушка чересчур уж надоедать будет, ведь его можно поместить в какое-нибудь самое лучшее заведение, где ему будет хорошо, где о нем станут заботиться за хорошие деньги. Конечно, жаль его... Но что же делать!.. Это семейное несчастье, со всяким может случиться. И, наконец, все будет зависеть от самого Кокушки. Может быть, и без заведения можно будет обойтись...

Решено, завтра же он поговорит с дочерью, успокоит ее и урезонит... Через какие-нибудь недели две они уже помчатся на Запад...

Все эти приятные мечты, как звуки тихой музыки, как сладкая песенка, убаюкали князя. И он спал крепко и сладко, без сновидений...

Спала и Елена... Но вот она проснулась, по-

спешно зажгла свечку и села на кровать. «Да, пора, пора! — шептала она. — Теперь ночь... бумаги отца в кабинете... в бюро... Он спит, не услышит... ключ».

Она схватилась за свою шейную цепочку. Ключ на ней. Она расстегнула замочек, сняла ключ, крепко зажала его в руку. Потом осторожно вышла из спальни.

Она стала пробираться в темноте, останавливаясь на каждом шагу, вздрагивая при малейшем скрипе паркета под ногами. Вот она уже у дверей кабинета. Все тихо... Она осторожно взялась за дверную ручку, повернула ее. Дверь скрипнула. Она вся застыла от страха и простояла так несколько мгновений, затаив дыхание. Потом опять дернула дверь, дернула так быстро, что та не успела и скрипнуть... довольно, можно пройти...

Елена прислушалась... Расслышала мерное дыхание отца. Проскользнула в кабинет... Слабый свет с улицы едва озарял предметы, но после темного коридора ей показалось здесь даже слишком светло. Вот отец на диване. Она ясно видит перед собою его всклокоченную бороду. Его широкая грудь поднимает

ется и опускается под одеялом.

«А что, если он проснется?»

Она стояла, не шевелясь, и все слушала. Он дышал мерно. Она отвела от него глаза, взглянула на бюро и, внезапно решившись, быстро, быстро, едва дотрагиваясь ногами до паркета, подошла, наклонилась, отперла своим ключиком ящик, взяла все эти уже виденные ею бумаги, все до последней, потом заперла ящик опять и выскользнула из кабинета как тень.

Дверь опять скрипнула, когда она ее заперла... Но князь не проснулся, не шевельнулся даже.

Елена опять у себя. Она заперлась на ключ. Она сложила бумаги на кровать и стала их разглядывать одну за другой, считала, считала, пересчитывала... Тридцать... шестьдесят, двести тысяч... пятьсот... Глаза ее горели... она тяжело дышала. Она вертела в руках эти цветные бумаги, вертела их и перевертывала, оставляла и брала снова...

— Здесь все... все! — наконец прошептала она. — Там ничего больше нет... Но было еще шесть... шесть... — Она не знала, чего шесть,

не понимала, откуда у нее эта тревога, почему она знает, что было еще и что именно шесть...

Наконец она несколько успокоилась, аккуратно сложила бумаги так, чтобы они занимали как можно меньше места. Потом подошла к комоду, вынула из него носовой платок, завернула в этот платок бумаги, положила узелок себе под подушку, потушила свечу и скоро заснула.

Она проснулась в девять часов и спешно, спешно, будто опоздала, будто боялась пропустить минуту, умылась и оделась. Она несколько раз подходила к своей кровати, оглядывала подушку, ощупывала узелок... Вот она готова. Она надела шляпку, надела потом свою длинную бархатную ретонду, ту самую, в которой ехала венчаться, взяла узелок с бумагами, запахнулась и вышла в столовую.

Все было тихо. День у них начинался всегда очень поздно. Князь, если не было особенного дела, если ему не надо было куда-нибудь рано ехать или идти, спал иной раз до одиннадцати, иногда до двенадцати часов. Да и са-

ма Елена вставала всегда очень поздно. Хохол, ленивый по своей хохлацкой природе и, вдобавок, зная привычки господ, вылезал из своей каморки обыкновенно не раньше десяти часов.

Так было и теперь. И князь, и хохол еще крепко спали. Елена прошла в переднюю, тихонько отворила наружную дверь и вышла из квартиры. Но она все же как будто боялась погони. Она бежала по Знаменской, то и дело тревожно оглядываясь назад и успокоилась только тогда, когда очутилась на Невском.

Она шла, шла, не останавливаясь. Повернула на Мойку. Вот перед нею дом Горбатовых. Она его давно уже знала, хотя ни разу в жизни не была в нем. Она прошла мимо подъезда, но не остановилась. Было пять минут одиннадцатого. Хотя кругом не было нигде часов и Елена не могла знать времени, но она подумала: «Еще рано» — и пошла дальше, глядя прямо перед собою и не замечая окружающего. В ней не было никаких мыслей. Она совсем ни о чем не думала, только чувство нетерпения, неясного беспокойства наполняло ее. Пройдя довольно далеко, она вер-

нулась и опять приблизилась к дому Горбатовых, и опять прошла мимо, подумав: «Еще рано!»

Минуты шли за минутами. Вдруг она повернула, ускорила шаг и торопливо позвонила у Горбатовского подъезда. Толстый старый швейцар, с великолепными седыми бакенбардами, с видом представительного дипломата, отворил ей дверь и молча пропустил ее. Она ничего ему не сказала, и он не спросил ее, зачем она, к кому, чего ей надо.

За час перед тем Николай Владимирович сам сошел в швейцарскую и сказал швейцару, что в одиннадцать часов придет молодая дама и чтобы он просто впустил ее.

— То есть, как же это-с?

Швейцар не совсем понял.

— А так, просто отвори дверь и больше ничего, ни слова не говори ей, она сама знает, куда ей идти.

— Слушаю-с!

Швейцар даже не выразил изумления. Он принадлежал к породе, уже совсем исчезающей, старых, важных швейцаров, которые должны исполнять свои прямые обязанности

и не смеют изумляться ничему, что исходит от господ. К тому же к некоторым странностям Николая Владимировича он уже привык.

Он запер вслед за Еленой двери и затем молча стоял, глядя, как эта красивая бледная дамочка, не сняв даже шубу, быстро взбирается по широкой мраморной лестнице. Елена остановилась на верхней площадке совсем незнакомого ей старинного дома. Но, очевидно, она не задумалась, куда ей идти. Она повернула направо, очутилась в обширной приемной. Затем прошла в огромную залу, где гулко раздавались ее шаги. Затем мимо нее стали мелькать разные нарядные комнаты. Она все шла, не останавливаясь, ни на что не глядя.

Вдруг она услышала, как возле нее, на высоком камине, часы стали бить раз, два, три... одиннадцать! Она взялась за ручку бывшей перед нею двери и отворила ее с последним ударом часов.

На своем обычном месте, в высоком кресле, сидел Николай Владимирович; вокруг того же стола, заваленного книгами, помеща-

лись Марья Александровна, Владимир и Маша. Больше никого не было.

Маша невольно вскрикнула, поднявшись со своего места, и так и застыла, устремив свой взгляд на Елену.

Да, это она, ведь она ее знает, она ее много раз видела у общих знакомых!..

Владимир тоже вне себя от изумления глядел на вошедшую.

Дядя заставил его и сестру перейти к одиннадцати часам в библиотеку. И вот сейчас, за минуту перед тем сказал, что Кокушкина же на явится ровно в одиннадцать. Но Владимир этому не верил. Могло быть все что угодно, и если даже предположить невероятное, то есть то, что ее обвенчали силой или что она раскалась в своем поступке — она могла написать, могла сделать что угодно, но только не явиться к ним в дом... А вот она перед ним ровно в одиннадцать часов, как уверял дядя.

Марья Александровна хотела было даже перекреститься, но затем остановилась и бросила на Владимира торжествующий взгляд: «Ведь я тебе сказала вчера, что так и будет...»

Николай Владимирович глядел спокойно.

Он поднялся с кресла и сделал несколько шагов навстречу Елене. Она остановилась перед ним, глядя ему прямо в глаза, потом быстро распахнула свою ротонду и, подавая ему узелок с бумагами, произнесла:

— Вот здесь все, что было в бюро... все, что я нашла... и что я прежде видела... возьмите скорее...

Он взял узелок, положил его на стол, а затем протянул руку Елене и пододвинул ей кресло... Внезапно все ее лицо изменилось, глаза как-то померкли, на щеках вспыхнула и сейчас же исчезла краска. Она обвела кругом себя быстрым и изумленным взглядом, перевела его на Владимира, Машу и Марию Александровну, слабо вскрикнула, пошатнулась и, прежде чем Николай Владимирович успел поддержать ее, без чувств упала на пол.

Все бросились к ней. Она лежала в глубоком обмороке. Не раньше как через полчаса удалось привести ее в чувство. Но она еще долго ничего не понимала. Она глядела, ничего не видя, не зная, где она и кто с нею.

Николай Владимирович попросил и жену, и Владимира, и Машу удалиться и велеть за-

ложить карету.

— Я ее успокою! — шепнул он Марье Александровне.

— А карету зачем? Неужели ты думаешь ее везти обратно к отцу, ведь это изверг! Я вижу теперь, что ты был прав, говоря, что она вовсе уж не так виновата.

— Да, конечно, — заметила Маша, — конечно... мне ужасно жаль ее... ведь этот ее поступок, то, что она могла сюда прийти... ведь для этого много надо!..

Владимир был тоже согласен с этим.

— Но что же, ведь не оставлять же ее здесь у нас, да и сама она не захочет, — прошептал он.

— Поэтому я и говорю — велите заложить карету, дайте мне поговорить с нею...

Все вышли из библиотеки, а он подошел к Елене. Через несколько минут она уже все понимала; неудержимые слезы стыда и ужаса полились из ее глаз. Она закрыла лицо руками. Она слышала над собою ласковый и спокойный голос этого человека. Она, конечно, знала, кто он, и она видела его мельком накануне, выйдя из своей спальни и сейчас же

опять в нее скрывшись. Но ей почему-то казалось, что она его давно, давно знает и что он имеет какую-то власть над нею.

— Пустите меня, ради бога! — наконец прошептала она. — Дайте мне возможность уйти... пощадите меня!

Николаю Владимировичу стало ее очень жалко; но в нем говорило и другое чувство, невольное и с которым он не мог бороться, чувство ученого — исследователя, производящего интересный опыт. Он положил ей руку на плечо, и это прикосновение пронизало ее всю как бы теплом. В этом прикосновении было что-то как бы электрическое и в то же время успокаивающее.

— Скажите мне, — спросил он, — знаете ли вы, что вы такое сделали?

— Я принесла вам его бумаги и деньги! — едва слышно, сквозь сдерживаемые рыдания отвечала она.

— Откуда вы их взяли?

— Я взяла их сегодня ночью из бюро отца.

— Зачем вы это сделали?

Голова ее была как в тумане. Она припоминала и соображала...

— Я должна была так сделать! — наконец шепнула она.

— Почему должны? Вам кто-нибудь посоветовал это? Как вы пришли сюда... как вы нашли эту комнату? Ведь вы никогда не бывали у нас в доме?

На это она ничего не могла ему ответить. Она сама не знала, каким образом все это случилось. Но он ждал ответа.

— Я... я соображала! — наконец, запинаясь, произнесла она.

И вдруг слезы ее снова хлынули неудержимо, и она с мучением повторяла:

— Ради бога, выпустите меня... Я не могу здесь больше оставаться!..

— Куда же вы хотите? Неужели опять домой, к отцу?..

— Да, да... туда, к нему, только туда мне и можно!

Потом что-то мгновенное произошло с нею, ее охватила решимость, в ней поднялась даже злоба. Она остановила свои слезы и взглянула на Николая Владимировича.

— Пустите меня! — почти крикнула она. — Вы не имеете права меня держать...

— Я и не держу! — ответил он. — Но я хотел бы, чтобы вы к вашему отцу больше не возвращались... вам не следует жить с ним...

Она вздрогнула и нерешительно проговорила:

— Разве вы можете спасти меня от него? Разве вы захотите, да и зачем?.. Если он убьет меня — тем лучше...

Он опять положил ей на плечо руку, и опять успокоительная теплота пробежала по ее жилам.

— Оставайтесь здесь! — сказал он. — Поговорите с моей женой... она добрая женщина. Мы не можем хотеть вам зла, мы постараемся устроить вашу жизнь как можно лучше. А я сейчас поеду к вашему отцу и поговорю с ним.

Елена стояла, опустив руки. На хорошеньком побледневшем лице ее изобразились мучение и безнадежность.

— Делайте со мной что хотите! — растерянно произнесла она и бессильно опустилась в кресло...

Через несколько минут Николай Владимирович оставил ее с Марьей Александровной, а

сам поехал к князю. Но на этот раз хохол не хитрил, сказав ему, что никого нет дома.

Вслед за уходом Елены князь проснулся, прошел в столовую, увидел дверь в комнату дочери отпертою, спросил хохла, где она. Тот отвечал, что ушла, когда они еще спали, потому что наружная дверь открыта.

Князь в первую минуту ничего не понял, не мог сообразить, куда же это могла она исчезнуть.

«Вернется!» — успокоил он себя и стал одеваться. Затем он вспомнил, что шесть тысяч почти все уже истрачены. Он нашел необходимым посмотреть Кокушкины билеты и сообразить, как же теперь поступить надо.

Своим вторым ключом он отпер бюро и увидел, что от билетов и документов и следа не осталось. Несколько минут простоял он, глядя в ящик бессмысленными, вытаращенными глазами.

Затем, сам хорошенько не понимая что делает, он схватил шапку и выбежал из дому. Он имел вид совсем сумасшедшего, бежал по Знаменской, будто догоняя кого-то. «Что же это? — повторял он себе. — Кто же мог это сде-

лать, кроме нее? Она, она украла... Где она?»

Он кинулся на Пески, к Зацепину, ему нужно было кого-нибудь видеть, с кем-нибудь поговорить, услышать чей-нибудь голос...

XXIII. У ГРУНИ

Вечером Владимир поехал к Груне. Она была на этот раз дома, свободна, ждала его. Она приказала Кате никого не принимать. Целый счастливый вечер перед нею!.. Она все еще была как в тумане, не замечала действительности и в то же время чувствовала себя в первый раз в жизни бесконечно счастливой. Весь мир вдруг изменился для нее, все, что ее окружало, каждая вещица ей теперь нравилась, казалась интересной. В ее лице появилось новое выражение, что-то детское, мягкое и доброе, чего прежде в нем не было.

Она сидела в своей комнатке с маленькими часиками в руках и, как ребенок, считала минуты... Вот звонят... Он или не он?

Это он. Она слышит его шаги. Она поднялась ему навстречу и через мгновение была в его объятиях. Она глядела ему в глаза... И от

этого взгляда он готов был забыть все, все мысли свои, все вопросы, желанием разрешить которые был теперь полон.

— Подумай, — говорила она ему, — ведь два дня, целых два дня мы не виделись!

— Ты получила вчера письмо мое?

— Да, что у вас делается! Но ведь он вернулся... ты так написал... я многого не поняла, расскажи, пожалуйста... Ведь это ужасная история!

Он ей передал все, что у них делалось дома за эти дни — историю женитьбы Кокушки и, наконец, сегодняшнее происшествие.

— Где же она теперь? — спросила Груня про Елену.

— Она у нас, хотя Кокушка и не знает об этом... ее от него будут прятать... Она действительно очень жалка. Вон Маша даже боится, чтобы она не сошла с ума. Ее так нельзя выпустить. Если оправится, успокоится, так через несколько дней она уедет в Москву к своей тетке. Так, по крайней мере, пока решено.

Груня слушала очень внимательно и особенно заинтересовал ее рассказ о действиях Николая Владимировича.

— Послушай, — сказала она, когда Владимир замолчал, — неужели тебя не удивляет твой дядя? Как он все это сделал — ведь это похоже на сказку, не правда ли?

— Да, это человек интересный и удивительный, — ответил Владимир. — И сразу похоже на сказку, но уже не так это непонятно. Ему все очень удалось, да. Он застал ее одну, заговорил с нею, затронул в ней все, что в ней осталось неиспорченного и хорошего... Когда он выходит из своей странной холодности и отчужденности, когда начинает говорить с жаром, то всегда очень увлекателен. Он победил ее совсем, и естественно, что она решилась на такой, ну, скажем, мужественный поступок.

— Да, — перебила Груня с легкой усмешкой, — и появилась перед вами именно, как он заранее сказал, в одиннадцать часов?.. Володя, дорогой мой, милый, ты путаешь!

— Как путаю?

Но он уже и сам чувствовал, что его объяснения не совсем ясны. Однако что же ему было делать? Конечно, все это должно было произойти самым простым способом. Ведь не мог

же он, в самом деле, предполагать, как, видимо, предполагала его тетка, что Николай Владимирович почерпнул в своей каббалистике или вынес из своего давнего путешествия в неведомые страны какую-то волшебную силу?!

Ведь он сам, Владимир, в годы детства и отрочества мечтал о разных волшебствах и верил в их существование. Но теперь не может же он верить разному вздору.

— Как путаю? — переспросил он Груню.

— А так, твой дядя подействовал на нее совсем иначе, чем ты думаешь.

— Да, каким-нибудь волшебством — так, что ли?

— Волшебством? Нет, но особенным способом... Он магнетизер, твой дядя... Магнетизер, да еще какой! Из твоего рассказа я вижу, что он знает очень многое такое, чего пока еще мало кто знает.

Владимир невольно заинтересовался и совсем оживился.

— Да ты-то откуда все это знаешь, Груня... и что ты такое знаешь?

— Знаю случайно и очень поражена тем,

что мне пришлось видеть. Я много обо всем этом думала и думаю. И давно даже хотела поговорить с тобою... А тут вот твой дядя... Он, должно быть, интересный человек.

— Конечно, он интересен, как и всякий человек, живущий не как другие и что-то про себя таящий; но к нему никак не подступишься — он аскет, пустынный, хотя и живет с нами... его иногда по целым неделям никто не видит.

— Господи, как это интересно! — воскликнула Груня. — Ему бы в Париж к моему знакомому, Берто... Они бы хорошо поняли друг друга.

— Берто? Кто это такой?

— Это в Париже старичок такой, доктор... Прошлой зимою, после катастрофы с моим горлом, я приехала в Париж, и мне посоветовали к нему обратиться. И вот я с ним познакомилась. Он меня не вылечил, как тебе известно; но все же помог, облегчил, а главное, я с ним подружилась... Очень, очень интересный старичок, мы много вечеров провели вместе, и он почувствовал ко мне такую симпатию, что, несмотря на свою сдержанность,

показал мне изумительные опыты, которые держал в секрете. Он магнетизер, был близок с известным бароном дю Потэ... Он уверял меня, что теперь не он один, что некоторые молодые французские ученые уже начинали заниматься этим.

— Чем этим?!

— А вот этим самым... это гипнотизм... новое слово... У Берто был, как он называл — *sujet* [68]: молодая девушка, Paulette, нервная, страдающая истерикой, сенситивная. Она живет у него в доме; он уверяет, и я ему верю, что она была почти безнадежно больна. Благодаря его лечению ей стало лучше. С нею он и делал опыты... Я сама видела, сама своими глазами... Позовет он ее в кабинет — она является, спрашивает, чего ему угодно... Берто подходит к ней, смотрит ей пристально в глаза и вдруг повелительным голосом говорит: «*Dormez!*» [69] Впрочем, он не всегда смотрит ей в глаза, иной раз заставляет ее смотреть на какой-нибудь блестящий предмет... и все же происходит то же самое. В одно мгновение с нею делается что-то непостижимое: глаза ее открыты, но совсем неподвижны. Ей подни-

мают, например, руку — и рука так и остается, ей придают какую угодно позу — и она остается неподвижная, как статуя. Но тут всего интереснее вот что: представь себе, например, подносят руку к губам — как будто она посылает воздушный поцелуй... И вдруг все лицо ее начинает улыбаться нежной улыбкой... сожмет ее руку в кулак, как будто она грозитя, — и в лице сейчас делается выражение гнева и угрозы... Затем Берто закрывает ей глаза, берет иголку, начинает втыкать ей в руки. Она ничего не чувствует. Потом поколет он в одном месте — вдруг начинает сводить один палец, в другом месте — сводит другой. Но мне было противно глядеть на такие истязания...

— Все это, конечно, очень интересно, — перебил Владимир, — и может быть, очень важно, но какое же это имеет отношение к дяде Николаю, к его таинственным познаниям?

— Постой! погоди! — горячо отвечала Груня, крепко сжимая его руку. — Постой, я тебе сейчас расскажу самое интересное, что я видела. Один раз Берто привел эту девушку в такое особенное состояние и стал говорить с

нею, а она ему отвечала. Потом он ей сказал: «Посмотрите, что это такое вокруг вас? Какие чудесные цветы!» Она опустила глаза на пол, улыбнулась и шепчет: «Да, цветы! Чудные цветы! Какие душистые розы!» Наклоняется, нюхает, потом набирает, рвет эти цветы. Всякий малейший жест так натурален, вот будто у ней букет... Вдруг доктор говорит: «Осторожнее! Разве вы не видите: из-за куста змея выползает!» Она в ужасе отскочила, бросила свой незримый букет, вскрикнула... Ах, надо все это видеть действительно, чтобы так вскрикнуть... Змея ушла... Доктор говорит: «Глядите наверх, смотрите хорошенько, что вы видите на небе?» Она смотрит, смотрит — вдруг по ее лицу разливается благоговейное выражение. Она робко шепчет: «Я вижу... вижу ангелов... да, это ангелы!..» Она падает на колени и начинает молиться. Таким образом Берто обращал ее внимание то на одно, то на другое. И она видела именно то, что он ей приказывал видеть. Никакая актриса не может так тонко разыграть эту сцену... В другой раз Берто подошел к ней и велел ей смотреть ему в глаза. Она смотрит пристально, стран-

ным взглядом. Он спрашивает: «Вы видите то, о чем я думаю?» — «Вижу!» — «Вы все это делаете?» — «Да». А перед тем он сговорился со мною, что заставит ее, когда она уже придет в нормальное состояние, идти в соседнюю комнату и вдруг там увидеть свою подругу, которой в действительности, конечно, нет. Она должна с нею говорить, потом проститься... Я сама все это придумала и назначила, и Paillette никак не могла слышать моего разговора с Берто... Потом я с них не спускала глаз... Так вот, когда она ответила «да», он дунул ей в лицо... Она пришла в себя, это сейчас ведь по лицу видно... Он объявил ей, что она может уйти. Она нам поклонилась, выходит, вдруг останавливается посередине соседней комнаты, именно на том самом месте, которое я назначила. Я прошла за нею и вижу. Она глядит перед собою изумленными глазами.

«Tiens, mais c'est toi, Lucie! D'où viens tu?.. Bonjour, Lucie!» [70] Она обнимает пустое пространство. Она начинает разговор со своей подругой и, очевидно, слышит ее ответы, слышит ее вопросы, потому что на них отвеча-

ет... Потом она прощается с этой незримой Lucie, возвращается опять назад и с изумлением смотрит вокруг себя. Этого мало! Послушай, если бы я не видела все своими глазами, я ни за что бы не поверила, — в этом странном состоянии доктор велит ей через час что-нибудь сделать, потом дует ей в лицо — она очнулась, она уходит. И ровно через час, как ей было приказано, возвращается и делает именно то, что надо. Ее спрашивают, зачем она это сделала? И она не знает, что отвечать. Она сама не понимает, зачем сделала...

— Груня, ты меня дурачишь! — воскликнул Владимир.

— Уверяю тебя, что нет! Говорю тебе: все видела своими глазами. И слушай еще более, я чуть с ума не сошла от этих опытов. Он ведь и из меня хотел сделать «sujet». Один раз упросил... что было со мною — я не помню.

— Как же ты могла согласиться? Ведь это бог знает что такое!

— Я тебе говорю, он меня совсем с ума свел... Но это было всего один раз — и больше уж он меня ничем не мог упросить... А за то, что он мне показал, я все же ему благодарна.

Он все это пока держит в секрете и говорит, что это только начало, азбука... Он надеется дойти до изумительных результатов... Он уверял меня, что уже другие доктора, молодые, принадлежащие к новой школе, и вместе с ними специалист по нервным болезням Шарко начинают додумываться до того, до чего додумался он... Он приходит в экстаз, когда говорит об этом. По его словам, для науки откроется новая эра, когда будут признаны за действительность явления магнетизма — и он верит, что не пройдет и пяти лет, как это совершится. Он говорил мне: «Там эти молодые доктора думают, что они первые открывают какие-то законы, какую-то силу. А все это давно уже известно было некоторым, только иначе называлось...»

Груня остановилась, а потом прибавила:

— Я тогда невольно много, много обо всем этом думала и пришла к тому, что все старые сказки — все это правда. Волшебство теперь становится наукой... Вот и твой дядя! В Париже доктора понемножку открывают вещи, которые он уже давно знает, и неужели ты не видишь теперь, что он с этой особой сделал

как раз то же самое, что Берто на моих глазах делал с парижской Полеттой?!

Владимир был изумлен и сильно заинтересован.

— Да, — сказал он, соображая, — конечно, конечно, это то же самое. Но, послушай, ведь если это так, хоть трудно этому верится, то это бог знает чем может кончиться! Ведь нервных людей в наше время сколько угодно, а уж нервных девушек и молодых женщин — тем более, так это какой-нибудь негодяй, знающий эти новооткрытые секреты, придет, повертит перед тобою чем-нибудь блестящим, как ты говоришь, и затем ты в его власти, ты его вещь. Он может тобою распоряжаться...

— Конечно!

— Да ведь приводя человека в такое состояние, — продолжал Владимир, — можно заставить его совершить преступление... все что угодно!.. И он сделается преступником, вором, убийцей, отравителем — бессознательно.

— Я думаю, что это уже и бывало, даже на-верное и нередко...

— Мало ли что бывало и что может быть

на свете, — проговорила в раздумье Груня.

Она все еще держала руку Владимира. Комната-бонбоньерка была погружена в розовый полусвет фонарика. Расставленные всюду цветы наполняли теплый, неподвижный воздух своим все будто усиливающимся пряным, раздражающим запахом.

XXIV. ЧЕГО ОН ТРЕБУЕТ

Владимир потрянул головою, будто этим движением хотел отогнать от себя новые мысли, вызванные неожиданным и долгим раздумьем Груни.

— Да, — сказал он, — все это очень, очень интересно, может быть, даже гораздо интереснее и важнее, чем кажется сразу. И, конечно, мы об этом еще много раз потолкуем с тобой, Груня, и с дядей я буду говорить об этом непременно. Но теперь довольно. Будем говорить о другом. Мне очень надо говорить с тобой, Груня.

Он привлек ее к себе и крепко обнял.

— Милый, говори о чем хочешь, я буду тебя слушать! — прошептала она, отдаваясь его ласке.

— Когда наша свадьба, Груня? — спросил он.

Она вдруг отшатнулась от него, взглянула на него изумленными, широко раскрывшимися глазами.

— Что? Что ты такое говоришь? Я тебя не понимаю, — прошептала она.

— Я спрашиваю тебя: когда наша свадьба?

Она продолжала все так же изумленно глядеть на него пока наконец не увидела, по выражению его лица, что он нетерпеливо ждет ответа.

— Я никогда не буду твоею женою! — твердо и спокойно сказала она. — Я думала, что ты понимаешь это и никак не ждала от тебя такого странного вопроса...

— Как понимаю?! Как странного вопроса? — воскликнул он. — Что это значит? Что же все это было, разве ты меня обманываешь? Разве ты меня не любишь?

— Как я люблю тебя — я объяснить этого не стану и потому что не могу объяснить, да и не нужно, это ты сам можешь видеть... я никого никогда не любила, кроме тебя, и никогда не буду... Ведь ты знаешь... Но не обижай

меня, не считай меня способной на то, на что я не способна... Во мне, конечно, много дурного, но я все же не такая... Я люблю тебя... я твоя... я не уйду от тебя, пока ты сам этого не захочешь... но быть твоей женой... эта мысль не приходила мне в голову, и я никогда не способна допустить ее... Я не могу быть твоей женой и знаю это...

— А я тебя опять спрашиваю: когда наша свадьба? — перебил ее Владимир.

— Никогда и никогда!..

— Груня, да что с тобой, наконец? Я тебя не понимаю, ты просто меня оскорбляешь... Если ты меня любишь, то должна была меня понять... ты должна была знать, что теперь я иначе не могу приходить к тебе, как твоим женихом... и я не успокоюсь до тех пор, пока мы не обвенчаемся.

Груня встала и сделала несколько шагов по комнате. Лицо ее было грустно. Она молчала.

— Что же ты не говоришь ничего? За что ты меня оскорбляешь?

Она остановилась перед ним все с тем же грустным лицом и тихо качнула головою.

— Ах, Володя, как ты еще молод!.. Володя!
Она порывистым движением опустилась на колени и к нему прижалась.

— Но если ты еще так молод, если ты еще такой фантазер — я уже не так молода... я уже немного понимаю жизнь и не допущу тебя до чересчур больших глупостей... Зачем же ты хочешь заставить меня мучиться и страдать всю жизнь?

— Как? Будучи женой моей, мучиться и страдать? Спасибо, Груня!

— Не перебивай меня! Мучиться и страдать, видя как я тебе испортила всю жизнь, как я выбила тебя из колеи...

Он серьезно рассердился.

— Ты не имеешь права так говорить со мною... Как можешь ты мне испортить жизнь? Да и знаешь ли ты, как я смотрю на жизнь и чего я от нее желаю?

— Фантазии... фантазии, Володя!

И говоря это, она его горячо целовала.

— Да и, наконец, я о себе думаю: я — Груня, и до тех пор только могу спокойно жить, пока остаюсь Груней. Моя жизнь, если только ты не перестанешь любить меня, может быть

очень, очень счастливой и блестящей, и многие мне позавидуют... Но садиться не на свое место, очутиться в обществе, с которым у меня нет и не может быть ничего общего...

— Мне кажется, — перебил ее Владимир, — что прежде всего общего у тебя с ним — я.

— Совсем не то... — и она опять его поцеловала. — Не лови меня на словах, а лучше слушай, что я тебе говорю. Пойми, что это очень серьезно, пойми, я не могу, я не хочу сесть не на свое место, я не хочу быть вороной в павлиньих перьях. Я слишком самолюбива... Ты меня еще мало знаешь...

— Но пойми и ты! — воскликнул он, даже отстраняя ее от себя резким движением. — Пойми и ты, что теперь ты можешь быть только моею женою... и если ты этого не понимаешь... если ты отказываешься, так знай, что ты отравила меня. Ты меня считаешь ребенком... ты меня считаешь какой-то светской дрянью, одним из этих господчиков, которые каждый день звонят у дверей твоих!.. Я думал, Груня, что ты поняла меня... а если и не поняла, то хоть почувствовала, по крайней мере... Я думал, что мне не придется объяс-

нять тебе себя, а вот приходится... ну, так знай, что я требую... слышишь — требую от тебя окончательного ответа — когда наша свадьба?.. Или ты хочешь, чтобы я подумал, что я в тебе обманулся, что я тебя не так понял... Что-нибудь одно: или ты меня действительно любишь, или это... это счастье, которое ты мне подарила, только каприз с твоей стороны...

Глаза ее блеснули. Она так стиснула себе руки, что хрустнули пальцы.

Он продолжал все горячее и горячее:

— Если ты меня действительно любишь, я должен быть для тебя все... слышишь, все... другой любви мне не надо... я не хочу тебя разделять ни с кем и ни с чем! Несколько дней тому назад я не имел на тебя никакого права... Я не смел вмешиваться в твою жизнь и должен был выносить все, хотя про то я знаю, чего мне это стоило... Теперь ты дала мне над собою все права, дала сама, и я говорю тебе — этой жизни больше не должно быть! Ты ошибаешься, думая, что это твоя настоящая жизнь, что ты к ней предназначена... ошибаешься... тебе предстоит совсем другое.

Ты должна быть женщиной, которую бы всякий уважал... К тебе никто не должен сметь подойти с таким взглядом, с каким теперь подходят эти господа... Ты сделаешься тем, кем должна быть, кем быть имеешь право...

— А прошлое? Ведь его не сотрешь... — прошептала Груня.

— Груня, дорогая моя! — воскликнул он, сжимая ее руки. — Этим-то прошлым ты и доказала — кто ты... Другая на твоём месте, среди этой грязи, одна, без поддержки, окунулась бы в эту грязь... а ты осталась среди нее чистой... И после этого ты смеешь отказываться идти за мною! Делить мою жизнь! Я не хочу больше слышать этих звонков... Я не хочу видеть этих лиц, эту комнату с цветами, этих присылаемых тебе букетов, записочек, этой твоей Кати...

— Так ты хочешь невозможного!.. Ведь я певица...

— Да, ты певица и останешься ею... Но ведь ты мне сказала, что в этот последний концерт ты пела для одного меня... Я не намерен запира́ть тебя в комнату и только один слушать твой чудный голос, пусть его слуша-

ют все, кто захочет и может прийти к нам... Но не надо этих подмостков... не надо сцены!.. Что-нибудь одно — или я, или все это.

Груня стояла совсем растерянная и с изумлением на него глядела. Конечно, она никогда не могла себе представить, что он будет так говорить. Она видела, что совсем его не знала.

— Да ведь это что же... это, наконец... деспотизм! — готовая не то улыбнуться, не то заплакать, прошептала она.

Между тем он совсем уже владел собою.

— Если хочешь — деспотизм! — спокойным и твердым голосом сказал он. — Я проклинаю себя за свою слабость, еще более проклинаю себя за мою вину перед тобою, за то, что я допустил в себе несправедливые относительно тебя мысли, что я вопреки тому, что чувствовал, на тебя глядя, с ужасом и страхом представлял себе твое прошлое... Но я постараюсь всей моей жизнью, если ты меня любишь, искупить эту мою вину... Да, если ты меня любишь: в этом весь теперь вопрос, и ты должна мне ответить.

— Ты хочешь, чтобы я отказалась от сцены

и концертов, да? Так я тебя понимаю?

— Да, — сказал он, — это необходимо.

— Но ведь это жестокость с твоей стороны... Сцена — это призвание, цель моей жизни!

Мрачное выражение скользнуло по его лицу.

— Цель твоей жизни — что? Искусство или собирающаяся вокруг тебя толпа?.. От искусства я не отдаляю тебя, оно будет отрадой нашей жизни. Но между толпой и мною ты должна выбирать...

— Ты требуешь от меня такой жертвы, что я... я сомневаюсь совсем в любви твоей...

— Я требую от тебя жертвы, большой, серьезной жертвы. Мое требование кажется тебе жестоким, эгоистичным, бессмысленным... все что угодно... Если твоя любовь ко мне — каприз, вспышка пламени, который должен скоро потухнуть — ты права. А если твое чувство не каприз, не вспышка, если оно для тебя все и на всю жизнь, тогда эта жертва тебе должна казаться легкой, и ты мне принесешь ее... Ты говоришь: я ребенок — это неправда! Если бы я был ребенком, ты из меня могла бы

сделать все что хочешь, и уж, конечно, я бы теперь не ушел от тебя, потому что каждая минута, когда ты не со мною, для меня теперь тягость, потому что вся душа моя к тебе рвется, Груня!

Он прижал ее к груди своей, он покрывал лицо ее поцелуями, но вдруг оторвался от нее и опять заговорил:

— А теперь прощай! Я уйду и не вернусь к тебе до тех пор, пока ты не решишь моего вопроса...

— Сумасшедший! — воскликнула Груня. — Да что это, в самом деле, с тобою? Успокойся!

— Я спокоен!

Она засмеялась.

— Это и видно!

— Я спокоен, по крайней мере настолько, чтобы знать, чего мне надо... Я не могу быть иначе, как твоим мужем... слышишь, не могу... не способен... Или все... или ничего!

И с этими словами, несмотря на все ее просьбы остаться, он простился с нею и уехал.

Она долго не могла прийти в себя. Он поразил ее, расстроил. Он поднял в ней самый трудный вопрос, задал ей большую загадку —

что это? Вспышка или нет, Она должна его успокоить, ведь это все безумие — о чем он говорит, чего он требует. Разве мало она думала обо всем этом?.. Не может она испортить ни его, ни своей жизни... Но ведь в словах его много правды. Однако какое же право имеет он требовать, чтобы она отказалась от сцены, от своего голоса, от цели своей жизни. Что же она без этой сцены, без этих успехов? Нет, это вспышка, ревнивая вспышка, и ничего больше. Да, это только ревность, но она успокоит его, он образумится, увидит, что требует невозможного...

«А если нет — что тогда?» На это она не могла себе ответить.

Она даже негодовала на него. Она сердилась, ее возмущал этот быстрый отъезд его... Но она чувствовала одно, что любит его всем существом своим, любит до обожания...

XXV. КРИЗИС

Прошло две недели. За это время Груня еще раз принимала участие в концерте и с не меньшим против прежнего успехом.

Ее жизнь, по-видимому, нисколько не изменилась, по крайней мере времяпрепровождение было все то же. С утра раздавались звонки, являлись неизбежные лица. Два раза приезжал к ней тот самый старик, от которого, главным образом, зависело ее поступление на оперную сцену.

Этот вопрос уже был почти решен. Старик оказался совсем ею очарованным, хотя она и держала себя с ним очень осторожно. Ей казалось даже, что она держит себя чересчур холодно и строго. Но дело в том, что ее понятия о холодности и любезности — были понятия артистки. Они установились годами ее скитальческой жизни, постоянных столкновений с назойливыми посетителями; что было бы для женщины, не имеющей никакого отношения к сцене, даже чересчур большой любезностью, то Груне казалось холодным обращением. Владимир понимал это, но она еще

понять не могла.

С Владимиром она виделась за это время всего три раза, не считая встречи в концерте. Он приезжал к ней нарочно в такой час, когда был уверен, что встретит у нее кого-нибудь. Ей не удалось с ним сказать почти ни одного слова наедине. Она писала ему, и он отвечал ей. В его письмах можно было найти большую нежность, но в то же время эту нежность заслонял сдержанный тон. Он продолжал стоять на своем. Он требовал от нее окончательного ответа на заданные им вопросы.

Все ее попытки образумить его пока ни к чему не приводили. Она крепилась, не показывала вида, но в то же время мучилась и волновалась. Она прошла через все фазы надежды, недоумения и негодования, почти отчаянья.

Что же это значит? Или он ее не любит? Он не дорожит ею?! Его нет, его не влечет к ней!.. Да, он ею пренебрегает... Так может поступать и в такое время, в первые дни победившей страсти, только человек, который не любит... Что же это было?! Значит, она в нем обманулась?..

Она то и дело перечитывала два-три коротеньких, полученных от него письмеца, где он так резко стоял на своем и объявлял ей, что ни за что не приедет к ней со своей любовью иначе, как получив ее согласие на их брак и на все условия, какие он соединил с этим.

«Значит, он меня не любит!» — трепеща от негодования и ужаса, говорила себе Груня.

Но тут же, в этих резких письмах, она находила два-три слова, которые шли прямо к ее сердцу и громко, явственно говорили, что он ее любит.

Эти два-три слова, невольно вырвавшиеся из-под его пера, не могли лгать. Он был полон ею. В ней заключалось теперь для него все, весь смысл жизни. Молодая страсть была в нем ключом. Он рвался к ней, он ходил целый день рассеянный.

Как нарочно в это время ему была поручена большая служебная работа, и он должен был напрячь все свои силы, чтобы заняться. Он достиг своего — окончил работу к назначенному сроку, но когда последнее слово было им написано, он сейчас же и забыл то, чем

занимался. Груня наполняла его опять всецело. Почти каждый день вечером, когда он знал, что Груня одна, что она ждет его, его можно было видеть вблизи от Троицкого переулка. Он шел к ней или ехал. Он доезжал или доходил до самого ее дома. Но каждый раз пересиливал себя — и возвращался.

Это было в нем не упрямство. Он никогда не отличался упрямством. Но в нем теперь выказывалась одна из основных черт его характера, которую можно было подметить у него еще в раннем детстве. Он решил, что должен так поступить, что должен непременно добиться своего, чувствовал, что прав, таково было его убеждение. А раз у него являлось какое-нибудь убеждение — его можно было измучить, истерзать, подвергнуть какой угодно пытке, испортить всю его жизнь — и все же он не был в состоянии сдаться. Он не мог поступить вопреки этому сложившемуся в нем убеждению.

Если бы все подозрения и мучительные, ревнивые мысли, от которых он не мог избавиться со времени встречи с Груней и до памятного ему на всю жизнь вечера после ее

концерта, оказались основательными, если бы в ее прошлом были увлечения, какая-нибудь серьезная любовь, связь, он, конечно, думал бы и чувствовал теперь иначе. Он был бы несчастлив, боролся бы с разными противоречиями, очень вероятно, что кончил бы все же тем самым вопросом, обращенным им к Груне, — когда наша свадьба? Но, во всяком случае, встретив в ней твердый отпор, он бы, вероятно, сдался понемногу.

Теперь же в нем не могло быть борьбы и противоречий. Он чувствовал себя дважды виноватым перед нею, хотя и заслуживающим снисхождения, но все же виноватым, и мог успокоиться только, назвав ее перед всеми своею женою. Не было ничего, что бы заставило его примириться с тем положением, в котором он теперь оказался. О том же, как взглянут в обществе на его решение, на этот брак, он совсем не думал.

Вращаясь в обществе, он жил своей собственной жизнью и оставался свободным.

Он ничего особенного не ждал и не желал от этого общества — оно ничего не могло дать ему необходимого, нужного, без чего нельзя

было бы жить. Да и, наконец, разве он первый, разве он последний?! Люди, крайне дорожившие общественным мнением, поступали так же, как он. На короткий срок они выслушивали неодобрение, испытывали неприятные последствия этого неодобрения; но затем время сглаживало все...

При этом было еще одно: вместе с наполнившей его любовью, у него начинала мелькать новая мысль, мысль счастливая, как ему казалось. Он уже мечтал о том, как можно будет совсем заново устроить жизнь, уже понимал, что ему следует уйти из этого Петербурга, из его сложной, условной искусственной жизни; уйти от этих людей, большинство которых было ему совсем чуждо, даже почти враждебно. Он мечтал уехать с Груней в деревню, превратиться в деревенского хозяина в том же самом Горбатовском, где жил и хозяйничал его прадед, где жили и хозяйничали многие его предки.

Они жили там, конечно, иначе, жили самодержавными властителями; но те времена исчезли. Наступило время новое, и он будет жить по-новому, будет жить работником.

Ему уже представлялась широкая, здоровая и разумная деятельность... Все расстроено, все запущено; от прежнего громадного богатства предков у него остаются только крохи. Но крохи все же остаются, и они могут помочь ему понемногу, конечно, с большим трудом, с большими усилиями, поддержать старое, приходящее в крайнее разрушение гнездо. Конечно, никогда оно не разрастется в прежнем величии; но он все же может, хотя и в ином совсем виде, хотя и в скромных размерах, но заново его устроить, на твердой почве, оградить его от бурь и гроз переходного непостоянного времени, положить основу твердому и незыблемому благосостоянию будущих поколений его рода... Боярин Горбатов, сильный и могучий своими наследственными правами, своею властью, исчез навеки; но должны создаваться новые Горбатовы, и должны они создавать себя уже не в силу каких-нибудь прав, а своей собственной неустанной работой, согласно с новыми условиями жизни. На новых основаниях должны созревать их значение и влияние — и если созреют, то уж ничто не пошатнет их...

Старое, широко ветвистое дерево рухнуло, но еще вопрос — сохранились ли его корни, и надо доказать, что корни живы, надо доказать, что из этих живых корней могут выйти новые и роскошные побеги...

Земля, брошенная с пренебрежением или с отчаянием разоренным сословием, одна только может снова собрать, сплотить это упавшее сословие, превратить его из чего-то жалкого, забитого, приниженного, как бы даже незаконного — в гордую и живую силу...

Владимир изумлялся, как это до сих пор не приходили ему в голову все эти мысли. Зачем он понапрасну потерял столько дорогого времени! Зачем томился здесь несколько лет во вредной ему атмосфере, отдавая свои силы делу, в пользу которого сам не верил... Он не мог еще сообразить, что эти мысли, желание и решение явились у него вовсе не вдруг, что они мало-помалу и неслышно, но уже давно в нем назревали и что теперь вследствие внутреннего происшедшего в нем кризиса они только вышли наружу и объяснились.

«Вот цель, вот задача, вот смысл моей жизни!» — думал он.

И эта жизнь, да еще с любимой женщиной, представлялась ему в самых заманчивых красках. Вся его молодая сила, вся его страстность рвалась теперь к этой жизни...

Он задумывался и над тем, не действительно ли жестоко отрывать Груню от сцены, от успехов. Но ведь он знал, чего, в сущности, стоят эти успехи: несколько лет — и затем, что же останется от этих чарующих звуков, имеющих только смысл, пока они льются? Ведь вот же пришла какая-то болезнь горла — и чуть само собою все не нарушилось. Кто может поручиться, что болезнь эта не вернется снова?!

К тому же для него было ясно, что взамен этой блестящей тревожной и нездоровой жизни он даст Груне гораздо больше, даст жизнь именно здоровую. Ведь она сама — существо, оторванное от почвы, ведь в ней самой много связующих нитей с землею, с русской землею, с русской деревней. Эта родная земля, когда она к ней вернется, только даст ей новые, живые силы. Пройдет немного лет — сама же Груня будет ему благодарна. Да и, наконец, ведь это действительно вопрос ее

любви к нему. Если любовь сильна — она победит, не он заставит ее решиться: ее собственное сердце заставит. А если это не та любовь, какую он ждет от нее, на какую рассчитывает, тогда что же? Имеет ли право он ее бросить, бросить после всего, что случилось?

Но ему казалось ясным, что в таком случае не он ее бросит, а она сама заставит его уйти. И он уйдет с разбитым сердцем. Потому что (он твердо был уверен в этом) не может он разлюбить ее ни в каком случае. А главное, он знал, что играть ту роль, какую она его играть как бы заставляет, он не в силах и не должен. Он свободный, ничем не связанный человек, он любит Груню, он ей доверяет и по всему этому он не может, что бы там ни было, поступать иначе, как поступает. Но он старался выйти победителем из этой борьбы. Он верил, молодой и смелой верой, в то, что Груня его по-настоящему любит, что она легко перенесет ради этой любви все жертвы, какие он от нее требует. А потом эти жертвы превратятся в счастье, настоящее и прочное.

Он решил, что весь вопрос во времени, и как ни было тяжело, он выдерживал, предо-

ставляя ей самой во всем разобраться. И когда по вечерам, делая над собою последние усилия и отходя от ее подъезда, он готов был почесть себя самым несчастным человеком, когда томление, тоска, неудовлетворенность, страстная потребность ее присутствия, ее ласки туманили ему голову, он все же находил в себе силу успокоить себя такой мыслью: «Когда-нибудь ты поймешь, чего мне все это стоило, когда-нибудь скажешь мне спасибо за то, что и тебя и себя я так мучил — ведь для тебя же!»

Софья Сергеевна дошла до последней степени негодования — она узнала, что под одним кровом с нею находится «эта преступница, *cette horrible et dégoûtante personne*» [71], то есть Елена. Вместо того чтобы ее сейчас же выгнать и немедленно, вместе с ее негодяем отцом сослать в Сибирь (Софья Сергеевна думала, что это очень легко сделать), ее оставили в доме. Тетка и сестра ухаживают за этой отвратительной интриганкой — до чего же это дошло! Ей даже начинало казаться, что все это делается просто нарочно, ей назло...

Она заперлась в своих комнатах, ее никто

не видел, пока Елена находилась в доме.

Между тем относительно Кокушкиной жены все было устроено. Николай Владимирович как старший, находящийся налицо представитель семьи, написал Кашиной в Москву, объяснил ей случившееся, спрашивая ее совета. В этом письме он не пожалел князя, но пожалел Елену, сделал все, чтобы выставить ее жалкой, нуждающейся в помощи жертвой.

Кашина не замедлила ответом. Она писала и Николаю Владимировичу, и самой Елене. Она, видимо, была поражена, сильно негодовала, не была склонна так легко и сразу оправдать племянницу. Но все же она находила, что в настоящих обстоятельствах, и уже во всяком случае на первое время, Елене лучше всего приехать к ней, да и не одной, а с маленькой Нетти, которую никак нельзя оставить в Петербурге, пока там ее отец.

После этих писем поездка Елены была решена. Николай Владимирович съездил с нею в пансион, Нетти взяли оттуда без всяких особенных объяснений и затруднений.

Между тем сама Елена оправилась гораздо скорее, чем можно было предположить. Это-

му способствовал Николай Владимирович, больше его Марья Александровна, а больше их всех Маша. Ее природная доброта выразилась в эти дни с особенной силой. Она ни на шаг не отходила от Елены, беседовала с нею по целым часам, избавила ее от отчаяния и чувства стыда перед самой собою...

XXVI. НОВЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Маша решила, что «мужественный» поступок Елены, то есть ее появление у них с Кокушкиными деньгами, забранными ее отцом, снимает с несчастной, забитой и запуганной, такой еще молоденькой и мало развитой девушки, всякую ответственность. Она готова была почти считать ее героиней *en herbe* [72] и совсем увлекалась ею. К этому присоединилась беспомощность Елены, болезненное и странное состояние, в котором она теперь была, наконец, ее оригинальная красота, ее великолепные глаза, в первые два дня такие дикие, а теперь глядевшие на Машу почти с обожанием.

Кончилось тем, что она просто полюбила «Кокушкину жену». Елена же так и ухвати-

лась за нее всем своим существом. Для нее эта Маша, которую она прежде, при редких встречах считала почему-то очень гордой, была теперь олицетворением всех совершенств, была божеством.

Когда Елена и Нетти уезжали в Москву и Маша с Марьей Александровной их провожали, новые приятельницы едва могли оторваться друг от друга и обе неудержимо плакали. Елена обещала писать подробно обо всем, о том, как ей будет житься у тетки, а Маша ей шептала:

— Если тебе будет очень нехорошо, тяжело, не скрывай от меня ничего и знай, что я всегда, что бы там ни было, готова помочь тебе.

И они опять плакали и целовались. Глядя на подобные проводы, конечно, никто бы не поверил, какого рода обстоятельства сблизили этих двух молодых и красивых особ и что одна из них преступница.

О князе Янычеве не было ни слуху ни духу. Кто проезжал по Знаменской, мог видеть в окнах квартиры наклеенные билетки. Квартира освободилась и отдавалась внаем. Всю

мебель уже куда-то вывезли. А князь ютился со своим хохлом в двух пыльных и закоптелых комнатах одной из второстепенных петербургских гостиниц.

Николай Владимирович, не застав его в день появления Елены с деньгами, написал ему несколько строк, из которых посторонние, конечно, ничего бы не поняли. Но князю стало ясно, что Горбатовы не желали никакой огласки и даже готовы подать ему милостыню, как он про себя выразился, с тем только, чтобы он исчез из Петербурга.

Исчезнуть из Петербурга ему самому хотелось; но он сам не знал и не мог себе представить, куда и как теперь исчезнуть, почти без денег. Вместе с этим в нем было такое смешение понятий, что, прочтя письмо и поняв намек относительно «милостыни», он пришел в бешенство, разорвал письмо в клочки. Чтобы он, князь Янычев, пошел на такие сделки! Чтобы он принял от них подаяние — и это после его радужных мечтаний о поездке за границу на воды, на морские купанья, о разыгрывании роли *grand seigneur*'а! Ни за что!

Дочь! Он старался о ней не думать. Он да-

же был рад, что она теперь исчезла, что он ее, во всяком случае, долго не увидит. Он чувствовал, что попадись она ему теперь на глаза, он просто убьет ее...

Не думал он также и об остальных детях, не заглянул ни в военную гимназию, ни в пансион Нетти, ни в институт. Он даже не знал, что Нетти уже в Москве вместе с Еленой.

Чувствовал он себя с каждым днем все хуже и хуже. Голова так тяжела, что иной раз ее и поднять трудно, в правом боку так и жжет, будто там кипит что-то... Лицо его приняло темно-желтый оттенок, какого прежде в нем не было.

Хохол не раз тревожно поглядывал на своего пана, но утешал себя мыслью, что это не впервые. Придумает что-нибудь пан новое и поправится, станет здоровым.

Но как ни бился князь, как ни раскидывал мыслями, а придумать нового ему ничего не удавалось. Между тем дни шли, и вместе с ними выходили последние деньги.

Князь теперь по целым дням почти не вставал, лежал на железной, не особенно чи-

стой кровати своего номера.

Наконец он сам испугался.

«Что же это со мною, никак мне и в самом деле плохо? Неужели умирать?.. Нет, ни за что!»

Он всегда боялся смерти, он всегда любил жизнь, какова бы ни была она, и рассуждал так, что если она уж очень гадка, все же остается возможность, что в один день, в один час, иногда в одну минуту обстоятельства изменятся к лучшему. «Хоть в тюрьме, лишь бы только жить! — говорил он. — Из тюрьмы можно выбраться, а из могилы уже не выберешься никаким образом!»

Явившаяся теперь мысль о возможности смерти подняла в нем последний остаток сил и энергии. Он решил немедленно, сейчас же ехать в Москву. Там все же совсем другое, там все же есть кое-какая родня, приятели, люди богатые, со значением, авось кто-нибудь поддержит, авось что-нибудь мелькнет, выяснится. Ведь это уж не в первый раз, что он является в Москву без денег, в безвыходном, по-видимому, положении, и всегда что-нибудь устраивалось. Положим, никогда таких обсто-

ательств, как теперь, не бывало... но, значит, тем более надо спасаться.

На следующее же утро, в сопровождении хохла, он ехал по Николаевской железной дороге...

Между тем Маша, проводив Елену, сейчас же и почувствовала себя скучной и одинокой. С этой ее protégée дни проходили так быстро, незаметно, полные нежданным интересом. Теперь же она опять одна с вопросом об устройстве собственной жизни... Она вспомнила о позабытом ею из-за Елены своем друге Барбасове. Ей даже стало перед собою стыдно за то, что она так ему изменила. Она уже собралась было побывать у всех тех своих знакомых, где могла его встретить, но он предупредил ее. Он явился сам.

Маша как-то зашла в гостиную тетки и, к изумлению своему и радости, увидела Барбасова, оживленно беседовавшего с Марьей Александровной. Из нескольких фраз она поняла в чем дело.

Барбасов поступил в одно из благотворительных обществ Марьи Александровны и теперь развивал перед нею свои взгляды на де-

ло благотворительности, объяснял способы к применению этих взглядов на практике. Развивая свои планы, он говорил с воодушевлением и увлекательно, даже изредка забывался и начинал шептать губами, но тут же спохватывался и поджимал губы. Он делал большие усилия, чтобы не давать воли своим рукам, то и дело порывавшимся жестикулировать.

Марья Александровна слушала его внимательно и, по-видимому, с большим удовольствием. Она даже вынула из кармана свою записную книжку в переплете из слоновой кости, с вырезанным на ней гербом, и записывала золотым карандашиком все, что особенно ее поражало в словах Барбасова.

Наконец он остановился, истощив запас своего красноречия и вдохновения.

— Я был бы очень счастлив услышать ваше мнение, Марья Александровна, обо всем этом! — сказал он, скромно склонив голову. — Это мои заветные мысли, это давно уже мне представлялось, и я только искал случая подвергнуть мой план на усмотрение, более, чем я, компетентного человека... А кто же компе-

тентнее вас может быть в этих вопросах, Марья Александровна...

— О! Вы слишком многое мне приписываете, monsieur Барбасов! — заметила хозяйка.

— Во всяком случае, не я, а весь Петербург, все общественное мнение... да я и в Москве уже был очень хорошо знаком с вашей деятельностью...

Марья Александровна не остановилась на этом, а даже особенно поспешно проговорила:

— Вы меня очень, очень заинтересовали, monsieur Барбасов! Я вам выскажу откровенно все, что думаю. Мне кажется, вы несколько увлекаетесь, вы не совсем знакомы с практической стороной этого дела... если разбирать логически — *tout paraît très simple* [73], а на деле совсем не то... Ах, боже мой, да нам каждый день приходится связываться с такими затруднениями!.. Я тоже в первое время увлекалась, мне казалось все легко... Но пятнадцать лет занимаясь этим делом, я поневоле должна была приучиться к нему, понять его... *et maintenant je vois clair... pas d'illusions...* [74] Вы меня извините, что я говорю так прямо...

— Помилуйте! — подбирая губы и в то же время обмениваясь быстрым взглядом с Маршей, сказал Барбасов. — Je ne suis qu'un écolier [75]. Я это очень хорошо понимаю, поэтому и прошу вас принять меня в науку... Я могу очень ошибаться; но я всегда рад сознаться в своих ошибках... и будьте уверены только в одном: если чем-нибудь я могу быть полезен — располагайте мною...

Марья Александровна ласково на него взглянула.

— Вы не дали мне досказать, monsieur Барбасов, я сказала, что вы немного увлекаетесь... Но в ваших планах, мне кажется, нет, не кажется, а я уверена, есть новые и замечательные мысли; многим можно воспользоваться, очень многим! Если бы вы были так добры доставить маленькую записку... Вкратце, в главных чертах изложите в ней то, что сейчас мне говорили, пожалуйста!

— С большим удовольствием! — воскликнул Барбасов. — Тем более что такая записка у меня уже готова... только она несколько пространна.

— Если готова, то чем пространнее, тем

лучше.

— Так я завтра же ее вам и доставлю...

И Барбасов опять взглянул на Машу.

— А послезавтра у меня заседание общества, — сказала Марья Александровна, — и я попрошу вас прочесть вашу записку. Вы сами увидите, какое она произведет впечатление. Наконец, вероятно, найдется кто-нибудь и возразит вам на некоторые пункты... Одним словом, ваши мысли подвергнутся подробному обсуждению... *Alors c'est décidé?* [76]

— *C'est décidé, madame!* [77] — поклонился Барбасов.

— Но только все же я просила бы вас доставить мне записку до заседания... мне бы так хотелось раньше прочесть ее.

— Завтра же, завтра же привезу ее вам...

— В это время, около пяти часов, я каждый день дома...

— А теперь я вас не смею задерживать, — проговорил Барбасов и встал.

— Нет, вы еще останетесь немного! — вдруг сказала Маша. — Мы с вами так давно не видались, Алексей Иванович... что нового? Говорите... я все это время сидела дома, ниче-

го не знаю...

Марья Александровна с некоторым изумлением взглянула на племянницу. Но она вспомнила, что Маша уже не раз говорила ей о Барбасове.

Однако Барбасов все же не засиделся. Он перекинулся с Машей несколькими фразами, а затем решительно встал и уехал.

— Ты давно его знаешь? — спросила Марья Александровна.

— Конечно, давно! — весело улыбаясь, ответила Маша.

Два года редких встреч в Москве ей вдруг показались чуть ли не вечностью.

— Мы большие приятели с Барбасовым, та tante! — прибавила она. — И я очень рада, если он вам нравится... Он замечательный человек!

— Конечно, нравится! — сказала Марья Александровна. — Я не про наружность говорю, наружность у него несколько странная...

Маша даже обиженно взглянула на тетку, но ничего не сказала.

— А что он замечательно умный и энергичный человек — это видно! Жаль, Маша, ты

вошла слишком поздно, он высказывал много интересного... Да вот послезавтра, если хочешь присутствовать на заседании, сама услышишь... И ведь он так недавно появился... прежде о нем ничего не было слышно...

— Как не было слышно, *ma tante!* — вся вспыхнув, воскликнула Маша. — Как не было слышно? Да ведь он был одним из самых замечательных адвокатов в Москве, о нем во всех газетах кричали, наконец, он писал, его статьи производят всегда впечатление.

— Так он был адвокатом?! — не без изумления проговорила Марья Александровна. — *Je ne le savais pas...* [78] Однако мне его хвалили и граф Ерзен, и Петр Владимирович... Ну да как бы то ни было, я очень рада, что он вступил в наше общество, такой способный человек... Он может много принести пользы. А то ведь у нас все только так, сидят на заседаниях и молчат, а то и дремлют даже... Мне необходим помощник именно по этому обществу...

— Увидите, что вы в Алексее Ивановиче такого помощника и будете иметь! — с жаром сказала Маша.

— Ты, *ma chère amie*, за него совсем го-

рою... Алексей Иванович — так его зовут?.. Алексей Иванович. (Она записала в своей книжке.) Вы, кажется, с ним не на шутку друзья?..

— Я этого и не скрываю, — весело сказала Маша.

XXVII. НА ЗАСЕДАНИИ

С этого дня Маша видела Барбасова очень часто, и для того чтобы с ним встретиться, ей уже не надо было искать его в чьей-нибудь чужой гостиной. Да и он со своей стороны не придумывал теперь разных хитрых и нехитрых способов встречаться с нею, не караулил ее в Эрмитаже или на улице.

Прочитанная им в горбатовском зале на заседании записка произвела фурор, хотя, конечно, главным образом потому, что Марья Александровна еще до открытия заседания, в разговоре с самыми влиятельными членами общества, горячо расхваливала и записку эту и ее автора. К тому же Барбасов прочел великолепно, с тем увлечением и мастерством, с каким обыкновенно произносил свои победоносные защитительные речи.

Даже те из почетных и действительных членов общества, как мужчины, так и дамы, которые имели обыкновение на заседаниях дремать, на этот раз отказались от своей привычки. Не вдумываясь в смысл того, что читал Барбасов, и, в сущности, вовсе не интересуясь этим, они следили за его чтением, как за игрой актера. С этой знакомой им кафедры до сих пор никто так не говорил. Здесь обыкновенно читались самые однообразные отчеты — и только. А тут вдруг этот незнакомый, странный и некрасивый господин говорит звучным, громким голосом, без малейшего смущения и с необыкновенным апломбом!..

Барбасов даже отошел от своей записки; он вспомнил лекцию своего старого московского профессора Никиты Крылова и, подобно ему, в подтверждение одного из своих выводов, пустился, так сказать, в беллетристику — разыграл перед благотворительным обществом целую сцену из действительной жизни, разыграл ее в лицах. Он представил бедное семейство и поочередно превращался то в одного, то в другого из членов этого семейства, выказав при этом недюжинные актер-

ские способности. Такая неожиданная выходка сначала всех поразила, но под конец имела успех.

Когда заседание было закрыто, Марье Александровне пришлось его представить почти всем дамам. Мужчины подходили к нему, знакомились, поздравляли его, объявляли ему на разные лады, что его записка замечательна, что он затронул самые существенные и важные вопросы — и так далее.

Барбасов раскланивался и отвечал скромно и с достоинством...

Не прошло и недели, как он был выбран почти единогласно в секретари общества и, таким образом, сделался постоянным и близким сотрудником Марьи Александровны. Он просто разрывался на части, повсюду поспевая. Служебные дела его шли самым блестящим образом. Вместе с этим он заводил нужные и полезные знакомства.

Между прочим, через Марью Александровну познакомился он и с Бородиным и на него произвел хорошее впечатление, так как сразу доказал ему, что смыслит кое-что в делах и не новичок в биржевых спекуляциях.

К тому же Михаил Иванович намечал для себя по всем ведомствам и министерствам подходящих полезных людей и, найдя такого человека, имел обыкновение его приласкать, приголубить, оказать ему, при случае, некоторые услуги, в полной уверенности, что эти услуги не пропадут даром и вернутся к нему с большими процентами.

В число подобных людей он сразу включил и Барбасова. Он даже представил его жене и дочери, позвал обедать и, при встречах с ним, был к нему очень внимателен и крепко жал его руку...

Все свободное время, оставшееся от службы и поддерживания полезных знакомств, Барбасов проводил теперь у Марьи Александровны, работая с нею по делам не только того общества, где был секретарем, но и целых трех обществ. Так как он действительно был очень способен и находчив и дело у него в руках кипело, а Марье Александровне всегда приходилось возиться с очень неудачными секретарями, то она была от него без ума и при всяком удобном случае расхваливала его своему кузену и другу, князю Сицкому, так

расхваливала, что тот даже им заинтересовался. Он навел кое-какие справки и в следующий раз, когда Марья Александровна опять стала хвастаться своим секретарем, заметил ей:

— А ведь он красненький, совсем красненький, матушка!.. Не только из нынешних, а, так сказать, из завтрашних.

Если бы князь сказал это про кого-нибудь другого, то совсем уронил бы такого человека во мнениях, кузины. Но за Алексея Ивановича (он уже был для нее теперь не *monsieur* Барбасов, а «наш Алексей Иванович») она заступилась, и заступилась горячо.

— *Vous-vous trompez, mon ami, vous-vous trompez positivement!* [79] — воскликнула она. — Тебе сказал кто-нибудь, и, конечно, из зависти!.. Я за моего секретаря ручаюсь, это самый благонамеренный человек, *je vous assure — il est tout-à-fait dans nos idées...* [80] Я давно собираюсь, а уж теперь непременно тебе его представлю — и тогда сам увидишь...

Князь усмехнулся кончиками своих тонких губ и сказал, что рад познакомиться с таким редким явлением, как протеже Марьи

Александровны, — редким явлением, так как до сих пор она никому не протезировала.

Барбасов был представлен князю и имел честь беседовать с ним около часу. Князь любезничал, выкрикивал, видимо, заинтересовался Барбасовым. Когда тот стал прощаться, князь без конца жал ему руку, отвечивал низкие поклоны и довел его своей любезностью до того, что Алексей Иванович, несмотря на свое самообладание, совсем растерялся и выскочил из гостиной весь красный, с таким выражением в лице, как будто его высекли.

— Что же ты скажешь, князь, о моем секретаре? — спросила Марья Александровна.

— Прекрасный, прекрасный молодой человек, — крикнул князь, изо всех сил потирая свои руки, — *tout-à-fait dans mes idées...*

— Если не надувает, вдруг прибавил он шепотом.

Марья Александровна опять рассердилась.

— Однако ты становишься чересчур подозрительным, это уж даже просто болезнь! — заметила она.

— Что делать, что делать! — отозвался

князь, кривя рот в усмешку и переменяя разговор...

Барбасов же стал тщательно избегать князя и почувствовал к нему глубокую ненависть, такую, какой вообще никогда и ни к кому не чувствовал. Он понял, что князь его проник насквозь, и вдобавок перед этим комичным и странным, даже более комичным, чем он сам, человеком он почувствовал себя, может быть, в первый раз в жизни вдруг доведенным до очень миниатюрных размеров. А с таким превращением своей фигуры он никак не мог помириться. Но князь ни словом, ни делом не повредил Барбасову. Он просто среди своей обширной деятельности позабыл о нем, а Марья Александровна не напоминала больше...

По счастью Барбасова, князь не принадлежал ни к одному из обществ Марьи Александровны, и потому он не встречался с ним на заседаниях. Зато он постоянно, и на заседаниях и вне их, встречался с Машей. Она теперь тоже оказалась помощницей тетки, чем-то вроде неофициального второго секретаря, и у нее с Барбасовым была всегда общая работа.

Они сходились все ближе и ближе. Барбасов уже совсем был влюблен в нее, насколько мог, то есть он окончательно отождествил ее со всем, что ее окружало и что должно было теперь скоро, как он надеялся, принадлежать ему вместе с нею.

Она все еще не определяла себе своего к нему чувства. Ей прежде было с ним хорошо, привольно и весело. Все, что он говорил, ей нравилось. Она считала его самым замечательным человеком, деятелем будущего, и радовалась, что он на всех производит хорошее впечатление, что им интересуются. Теперь ее жизнь была полна, и в этой полноте бесспорно самое большое место занимал Барбасов.

Но вот она стала замечать, — это было в конце Великого поста, — что ее Алексей Иванович как будто изменился. Он вовсе не так весел, даже иногда казался ей мрачным. Иной раз говорит, говорит — и вдруг остановится, будто поглощенный какою-то мыслью, не имеющей ничего общего с предметом разговора. И так продолжается неделю, другую. Она растревожилась.

«Что с ним такое? Может быть, у него ка-

кая-нибудь неприятность, какое-нибудь горе? Зачем он ей ничего не скажет? Он был всегда так откровенен с нею, поверял ей свои „заветные мысли“. Она считает его своим другом — и вот он от нее скрывается».

Эта мысль тревожила ее больше и больше, и наконец она решилась непременно узнать, в чем дело, заставить его откровенно ей признаться. Несколько дней ей все не удавалось спокойно поговорить с ним без посторонних. Наконец они как-то вечером очутились рядом во время заседания одного из обществ, не того, в котором он был секретарем.

Они сидели в большой зале несколько поодаль ото всех, у колонны. Вокруг них было много незанятых стульев. Дальше рисовались обычные фигуры: два старика в париках и со звездами, несколько юношей, сидевших с вытянутыми физиономиями, то и дело подносивших руку ко рту как бы для того, чтобы покрутить усики, но, в сущности, с целью скрыть невольный зевок. Какая-то старая девица, вся высохшая и дряблая, с длинной шей, с совсем плоской грудью, что-то такое записывала в маленькую тетрадку, задавая

этим неразрешимый вопрос, что такое она могла записывать, так как впереди, за зеленым большим столом, где важно заседали члены совета, читался отчет, состоявший из цифр, фамилий вновь поступивших членов и жертвователей.

Далее виднелись две некрасивые молодые девицы с очень толстой дамой. Девицы сидели чинно, вытянувшись в струнку. Но их маменька давно уже дремала, и, когда она начала уже совсем раскачиваться и клевать носом, тогда одна из дочек ее тихонько дергала за рукав. Маменька, широко раскрывая глаза, бессмысленно поводила ими вокруг себя, а потом открывала лорнетку и глядела в нее по направлению к зеленому столу и членам совета.

Все было тихо, только раздавался однозвучный гнусливый голос секретаря, читавшего отчет. Но вот что-то упало. Все даже вздрогнули и оглянулись. Это один из старичков со звездой мирно заснул и уронил шляпу. Он не проснулся и от падения шляпы, а продолжал тихонько всхрапывать, сложив на толстеньком брюшке руки и неимоверно вы-

пятив нижнюю губу...

Одним словом, обстановка была самая удобная для откровенной беседы вполголоса, и Маша этим воспользовалась.

— Алексей Иванович, — сказала она, — придвиньтесь поближе и будемте говорить! Или, может быть, вы интересуетесь тем, что там читают?

— Необыкновенно! — шепнул он, осторожно приподнял свой стул и придвинулся ближе к Маше.

— Алексей Иваныч, знаете, ведь вы себя очень нехорошо ведете! — тихонько говорила она.

— Я нехорошо себя веду? Марья Сергеевна, вы меня пугаете!

Он сделал испуганную физиономию.

— Я вовсе не шучу, я давно собиралась спросить вас, что такое делается с вами?.. Вы в последнее время изменились... Не скрывайтесь и не вывертывайтесь, будьте достойны участия, которое вам выказывают... Скажите мне, что такое с вами случилось. Неприятность большая, какое-нибудь горе?! Я хочу знать...

В его глазках, прикрытых очками, засветилась радость...

— Уверяю вас — со мною ровно ничего... никакого горя, никакой неприятности... Напротив, мои дела идут очень хорошо до сих пор, удачно...

Она нетерпеливо и тихонько ударила ногой об пол.

— Ведь я знаю... я вижу, что у вас есть что-то особенное... Но если не хотите быть откровенным — бог с вами... извините мне мою навязчивость...

— Марья Сергеевна! — его голос дрогнул. — Я не знаю, как благодарить вас за это участие! Хорошо, я буду совсем откровенен с вами... У меня нет ни горя, ни неприятностей, но нет и счастья... И вот, если хотите, я тоскую по счастью.

— А кто же счастлив? Да и что такое счастье? — проговорила она. — Ваша жизнь полна, вы живете не даром, вы энергичны, деятельны, поставили перед собою прекрасные, разумные цели и стремитесь к их достижению, чего же вам еще надо?

— Но вы забываете, — сказал он, и ей пока-

залось, что в тоне его шепота прозвучала грустная нота, — вы забываете, что я ужасно одинок, Марья Сергеевна! С детства, с тех пор как себя помню... без родных, без близких людей...

«И я ведь одна, — подумала Маша, — и в этом мы можем подать друг другу руку».

Но она ему ничего не сказала. А он продолжал:

— Прежде я ничего не замечал этого... Это меня не поражало, мое одиночество казалось мне естественным, казалось, что так и надо, иного я не знал. Но теперь, среди этой деятельности, про которую вы говорите, среди некоторых успехов, я начинаю мучительно чувствовать свое одиночество, а впереди оно мне кажется просто страшным... Я так одинок, что боюсь, как бы это не заставило меня когда-нибудь вдруг опустить руки...

— Боже вас избави! Ведь вы знаете, что энергия и неустанная работа для вас — все! — проговорила она. — И ведь вы знаете, что вы живете для пользы других... Не противоречьте же сами себе!

— Все это так, — тоскливо отвечал он, — но

ведь есть что-то такое, что называется сердцем... и у этого сердца есть права... И приходит время, когда оно их заявляет...

— Кто же вам мешает? — Она тихонько улыбнулась. — Пусть сердце говорит, а вы его слушайте... Вам нужна семейная жизнь, если я понимаю... Так женитесь, Алексей Иванович.

Она искоса на него взглянула.

— Жениться, — проговорил он. — Легко сказать!

И вдруг у него, будто против воли, вырвалось:

— А если единственное существо, которое может спасти меня от одиночества и дать мне возможное счастье, для меня недостижимо?

— Значит, есть такое существо? — быстро спросила Маша.

Он ничего не ответил, то есть ответил ясно этим молчанием.

— Почему же недостижимо?

Он, видимо, решился. Его рука, державшая шляпу, дрогнула, и он едва слышно прошептал:

— Потому что мы рождены в различных

условиях. Я человек без имени, без роду, без племени, просто работник... а она... одним словом, мы не пара...

— Вы слишком несправедливы к себе, Алексей Иваныч! — сказала Маша и как-то оборвалась...

Она сама испугалась своих слов. Она вдруг поняла их смысл, поняла и то, что говорил Барбасов. Ее щеки вспыхнули, она стала глядеть в сторону и уже не продолжала разговора. Замолчал и он...

По окончании заседания, когда они прощались, она опять на него не глядела. Она была рассеянна, смущена, и он почувствовал, как при пожатии ее рука дрогнула в руке его.

«Скоро, скоро! — повторилось в его мыслях. — Самое страшное осталось назади, самое трудное пройдено, скоро!»

Он едва скрыл нахлынувшую на него радость, подходя к Марье Александровне и с трудом вслушиваясь в то, что она говорила.

XXVIII. ТЕНЬ ПРОШЛОГО

День свадьбы Григория Николаевича Горбатова и Елизаветы Михайловны Бородиной был назначен. Бракосочетание должно было совершиться в одной из домовых и модных церквей Петербурга.

Михаил Иванович находился в отличном настроении духа. Он сам обо всем заботился и всем распоряжался. Разослано было множество приглашений.

Из церкви новобрачные и все гости пройдут в дом Бородиных, затем молодые проведут ночь там же, в заново отделанном для них помещении, а на следующее утро уедут за границу.

Жених и невеста имели самый счастливый вид. Даже Надежда Николаевна Бородина и та под влиянием счастливых лиц, ее окружавших, забыла все свои сомнения и беспокойства и радостно хлопотала.

Даже в доме Горбатовых по случаю Гришиной свадьбы повеяло непривычным воздухом оживления и веселья. Все приняло какой-то особенно праздничный вид, прислуга ходила

с новыми торжественными лицами, и важный швейцар особенно величественно распахивал двери посетителям.

Но вдруг в старом горбатовском доме появилась унылая фигура, вид которой совсем не согласовался с этими светлыми днями. И появилась эта фигура как раз за день до свадьбы Гриши. Это был не кто иной, как самый старший из находившихся в живых жильцов горбатовского дома, Степан, неизменный спутник, слуга и друг покойного Бориса Сергеевича Горбатова.

Он еще в январе месяце сильно затосковал и отпросился у Владимира съездить в Горбатовское, на могилку барина. Конечно, Владимир не стал прекословить и отправил старика в сопровождении надежного человека, тоже из горбатовских. Степан должен был вернуться через месяц, но в Горбатовском он разболелся и приехал только теперь с первыми весенними днями.

Владимир даже испугался, взглянув на старика, — так он изменился за эти три месяца. Он совсем съежился, сгорбился. Голова трясется, глаза мутные. Владимир расцеловал его

и стал участливо спрашивать:

— Голубчик, что с тобою, садись, милый, ты, верно, очень устал с дороги?

Степан сел в кресло, вытер себе лицо платком и с любовной старческой улыбкой глядел на Владимира.

— Да чего ты встревожился, золотой мой? — заговорил он. — Ничего со мной, жив, видишь, дотащился поглядеть на тебя. В Горбатовском, это точно, скрутило меня сильно, думал, что уж и не встану... А вот, как солнышко повернуло на весну, ну и мне легче сделалось... Стар я очень только, Володичка, вот что, да и сердце сосет...

— Как сосет?

— А так, сосет по покойничке нашем... на его могилке еще ничего — все будто с ним, чувствую вот его около себя... а нет его поблизости, и тошно становится, все к нему тянет... Пора, давно пора... Да и нехорошо стало на свете...

— Что так? Что же особенно нехорошего?

— А то, сударь Володичка, Горбатовское-то наше... не глядели бы глаза мои!.. Дом как есть в разрушении, парк запущен... Ну, так

вот сказать надо, камня на камне не осталось, все пошло прахом... А народ стал!

Он махнул рукою.

— И не думать лучше! Нет, нельзя нам жить теперь, старым людям, видали мы другие времена... вот кто не видал их, тому ничего, а нам глядеть на все нынешнее тошнехонько!

— Подожди умирать, Степан, — сказал Владимир, — потерпи немного, обещаю тебе, не в шутку говорю, скоро мы с тобою уедем в Горбатовское, совсем уедем, и оживет оно, как прежде...

— Хорошо бы было! — с глубоким вздохом проговорил Степан.

Но он не верил словам Владимира. Он знал наверное, что прошлое, то прошлое, которое было ему так дорого, не может вернуться.

— А что это? — вдруг спросил он. — Ведь у нас свадьба в доме, Гришенька женится?

— А ты и не знал? Да, завтра свадьба.

— На Бородинской барышне?

— Ну да!

Степан покачал головою.

— Что же это ты так? Или ты недоволен

Гришиной свадьбой?

— Недоволен — ишь что сказал! — шепнул Степан. — Да разве мое это дело?

Но Владимир заметил, как лицо старика сделалось совсем мрачным, даже сердитым.

Степан поднялся с кресла и, сторбленный, видимо, с трудом передвигая ноги, вышел от Владимира. Он пришел к себе в комнату и долго сидел там, обдумывая что-то.

«Нет, не смолчу! — вдруг прошептал он, приняв какое-то твердое решение. — Не унесу я этой тайны в могилу, да и барину я зарока не дал...»

Перед ним встало как живое давно-давно прошедшее время. Этот самый дом, эта самая комната, где он тогда еще жил. Господи, Создатель, как давно это было, а вот будто теперь, сейчас! Сергей Борисович, барыня Татьяна Владимировна и молодые господа... Брат от зависти погубил брата... В честную, знаменитую семью вошла измена, вошло преступление... барыня-злодейка Катерина Михайловна направила гнев Божий на этот дом... Не пощадила она его славы, его вековой чистоты и величия... от нее все и пошло. И

вот теперь, в этом самом доме, в библиотеке настоящего барина, Сергея Борисовича, живет другой барин, внуком его считается — Николай Владимирович Горбатов! А что в нем горбатовского? «Нет, не могу, не унесу с собой тайны!» — шепчет Степан в старческом негодовании и ужасе за прошлое.

Старая голова его, на которую нависли, которую давят все эти годы, уже не в силах ясно мыслить, туман в ней. И засела одна только мысль.

«Не унесу с собою тайны!»

«Кому же ее поведать?! Не ему, не этому барину, живущему в библиотеке, бог с ним совсем! Он и так чудной и странный... Принес он другим горе, да и сам живет несчастливцем... И за что это любил так его Борис Сергеевич?! Кому же поведать тайну? А вот кому — господину Бородину! Этого жалеть нечего, хоть в нем и горбатовская кровь, что его жалеть — экое ведь ему счастье привалило... Так нет, мало, на грех он пошел... поправить старое хочет... судьбу обмануть задумал — дочку за Горбатова выдает... Завтра свадьба... Кровным родством не смутился, лишь бы перед

целым светом породниться с Горбатовым... греховодник!»

«Завтра свадьба... А греха-то вот и нет никакого, не за Горбатова выдаешь дочку... вот и знай!»

Старик весь затрясся, и, глядя на него, уже не оставалось никакого сомнения в том, что голова его нездорова.

Так он и просидел у себя в комнатке вплоть до вечера. А вечером вдруг оделся, взял в руки толстую палку с серебряным набалдашником — подарок покойного Бориса Сергеевича и, крепко на нее опираясь, вышел из дому. Он крикнул извозчика и велел везти себя на набережную...

Михаил Иванович, веселый, довольный, сидел перед своим огромным письменным столом, подписывая какие-то бумаги, когда его камердинер доложил ему, что Степан от Горбатовых пришел и его спрашивает.

«Степан, так он еще жив, приехал!» — подумал Михаил Иванович и велел провести к себе старика.

Михаил Иванович хорошо знал Степана, знал его отношения к покойному Борису Сер-

геевичу, знал, что он был поверенный всей его жизни, что он, так сказать, живая хроника семьи Горбатовых. Знал он также, что этот Степан принимал деятельное участие в разыскивании пропавшего мальчика, незаконного сына Владимира Горбатова, то есть, его самого, Михаила Ивановича.

Он встретил теперь старика со всеми знаками почтения, протянул ему даже руку, усадил его в кресло.

— Рад вас видеть, почтеннейший, очень рад! Я полагал, что вас в Петербурге нет.

— Нынче утром приехал, сударь! — прошамкал Степан своим беззубым ртом, несколько дико глядя на хозяина.

— И вот осмелился явиться к вашей милости, — продолжал он, — поздравить с семейной радостью!

— Спасибо, спасибо! — сказал Михаил Иванович.

А Степан опять заговорил.

— Да коли соблаговолите меня выслушать, мне кое-что и сказать вам надо, сударь.

— Что такое? Говорите, почтеннейший...

— Только так, чтобы никто нашего разго-

вора не слышал! — закончил старик.

«Это еще что такое?» — подумал Бородин, запер дверь и вернулся на свое место.

— Никто не услышит и не помешает... Я слушаю.

Степан сидел спиной к свету, и Михаил Иванович не мог хорошенько видеть лица его, а то он, наверное, смутился бы, увидя это дикое, как бы злорадное выражение.

— Ушам я своим не поверил, как услышал, что вы, сударь, дочку свою выдаете за Григория Николаевича.

— Почему же это? — с усмешкой спросил Михаил Иванович.

— А как вам сказать, потому самому удивительно мне стало, что вы греха не изволили побояться...

Как ни был хорошо настроен Бородин и как ни расположен он был, в память покойного Бориса Сергеевича и по своим личным воспоминаниям, терпеть странности этого старичка, но тут он не выдержал.

— Ну, уж это мое дело, — резко сказал он, — и об этом разговаривать нам нечего...

— Та-ак-с! — протянул Степан. — Так-с точ-

но, и с моей стороны оно как бы вашей милости дерзостью выходит... Я это очень понимаю... но извольте до конца выслушать... нешто осмелился бы я приходить к вам, сударь, так, сказать с упреками... Нет-с... я хочу вас успокоить... снять с вашей души грех, чтобы он не лежал у вас на совести.

Глаза его блеснули, он задрожал и быстро проговорил:

— Бог милостив, греха нет-с... Григорий-то Николаевич по имени только Горбатов... и горбатовской крови в нем нет ни капельки...

— Что?! — не помня себя, вскрикнул Михаил Иванович. — Что такое за вздор еще?

Между тем Степан поднялся с кресла и стал страшный, с помутившимися глазами, с трясущейся головою.

— Не извольте так тревожиться... Что же тут такого?.. Кабы жив был Борис Сергеевич, они бы сами при таком случае вам сказали... А теперь вот я один это дело знаю... с собою бы и унес на тот свет... да вас, сударь, вот захотелось успокоить... если в случае потом...

Михаил Иванович перебил его:

— Говорите яснее, я ничего не понимаю...

— Старый грех... старый грех! — повторял Степан все с тем же злорадством. — Извините, сударь, мужицкую грубую поговорку: «Паршивая овца все стадо портит», вот что-с... И в горбатовском честном роде такая овца завелась, все и испортила. Покойница Катерина Михайловна... сынок ее Николай Владимирович, да не Горбатов, а коли хотите доподлинно знать, кто он, то есть от кого... графа Щапского фамилию слышали?.. Ну так вот-с...

— Да это клевета! Это низкая сплетня и больше ничего! — воскликнул Михаил Иванович.

— Я бы такой клеветы и такой сплетни на моих господ не принес к вам... и напрасно вы меня обижаете... Да и знать должны, кажется, по прошлому, что мне-то уж все, до семьи господской касающееся, хорошо известно...

Но Михаил Иванович уже владел собою. Он заставил Степана сесть.

— Так расскажите мне подробно, ничего не выпуская, все, что знаете, — прошептал он.

Степан исполнил его желание, и его рассказ, наполненный действительно мельчайшими подробностями, как всякий рассказ

старика о давно прошедшем времени, не мог оставить в Бородине никакого сомнения.

— Вот-с как было дело! — заключил Степан с глубоким вздохом, впадая после неестественного, замечавшегося в нем возбуждения, в большую старческую усталость. — Вот-с как было дело... все вам теперь известно...

— Вы уверены, что никто, кроме вас, об этом не знает? — собираясь с мыслями, спросил Михаил Иванович.

— Кому же знать? — прошамкал Степан. — Покойник барин держал это в тайне, никто того не знает. Я вот помру не нынче завтра, так только одни вы на всем свете и знать будете... А теперь, сударь, извольте-ка приказать провести меня, притомился я, совсем притомился... да и в покоях ваших заплутаюсь...

Михаил Иванович нетвердой рукой придавил пуговку электрического звонка. Он приказал явившемуся человеку проводить Степана, а сам, по его уходе, стал быстрыми шагами ходить по комнате.

«Никто не знает! — шептал он, хмуря брови. — Нет, он знает, конечно, знает, и в этом

объяснение многому».

Он вспоминал, соображал. Он был теперь уверен, что семейная тайна известна Николаю Владимировичу. От этого вся странная перемена, в нем происшедшая, тут не одна несчастная любовь к покойной жене Сергея... Тут именно эта открывшаяся тайна... Потому он и стал такой, почти помешанный... Поэтому он живет отшельником, нелюдимым. Оттого-то он с такой радостью и согласился на эту свадьбу...

Михаил Иванович остановился, и мучительная усмешка скривила его губы.

«Да, — думал он, — вот в чем дело!.. И он там, в старом родовом гнезде... он — Горбатов, а я...»

Он опустил голову.

«Как посмеялась судьба и как теперь, теперь еще смеется надо мною! Что я сделал!.. Помог ему — и только. Мы сошлись на одной мысли... Чего я искал там, того же он искал здесь... Он нашел, а я все теряю и уже непоправимо!»

Несмотря на все свое самообладание, на всю твердость, он почувствовал, что слабеет.

Он схватился за голову и упал в кресло.

Он думал теперь о том, что ведь мог он остановить свой выбор на другом молодом человеке, на Владимире Горбатове. Зачем же он этого не сделал, зачем он выбрал Гришу? Чем тот хуже? Он немного странен, рассеян, не практичен, плохо служит. Но ведь он еще молод, все можно было бы поправить. Этого получить, конечно, было легче, он сам напрашивался; но разве нельзя было и с тем поладить, надо было только хорошенько взяться... И он — Горбатов настоящий, последний Горбатов, который бы исправил все, который бы привел его к намеченной им цели... а этот!..

Было мгновение, когда он даже сказал себе: «Однако ведь еще свадьбы не было...»

Но он сейчас же и понял, что все кончено, что идти назад невозможно, что уже чересчур поздно... Он хотел было успокоить себя тем, что ведь все же Гриша в глазах всех Горбатов. Этот полоумный старик Степан умрет, и никто ничего не будет знать. Но разве ему от этого легче?! Ведь он-то знает... Он был так спокоен, у него было так хорошо на душе, безумный старик пришел и отравил его... Да

и, наконец, почем знать: он ничего никогда не слышал, ему никто не сказал, не намекнул, а может быть, многие в Петербурге знают эту тайну. Разве можно поручиться, что этот граф Щапский, давно умерший, не выдал ее из ненависти к семье Горбатовых, из ненависти, может быть, даже к своему сыну. Да, конечно, так оно и было, конечно, есть люди, которые это знают, а если и позабыли, так вспомнят, хотя бы даже по случаю завтрашней свадьбы.

— Папа, можно войти? — слышался у двери голос Лизы.

— Нет, нельзя! — крикнул Михаил Иванович.

Потом он встал, запер дверь на ключ и до позднего вечера сидел, не вставая с места, мрачный, в сознании своего бессилия...

XXIX. НА СВАДЬБЕ ГРИШИ

Теплый лунный вечер над Петербургом. Нева уже совсем очистилась ото льда и блестит своей широкой гладью, по которой скользят ялики и время от времени, попыхи-вая дымом и оставляя за собой расплывающийся след, проходят пароходы.

Воздух чист и прозрачен. Каждый звук в нем получает особенную ясность. Длинной извивающейся лентой, сливаясь и уходя вдаль, блестят газовые фонари. На западе еще светло, мрак ночи не в силах одолеть весеннего северного неба... Еще будут не раз холода и бури, еще не раз появятся ладожские льдины и, обгоняя друг друга, пройдут мимо набережной... Еще, пожалуй, посыплется снег с серого, свинцового неба. Но теперь тепло и ясно, будто и не бывало никогда ненастья, будто весна твердою ногою встала на этих гранитных берегах...

К дому Бородиных одна за другою подъезжают кареты. Весь дом залит светом. Оживленные молодые женские лица показываются в дверцах карет. Миг — и изящно обутая

ножка уже на красном сукне нарядного подъезда... Веселые девушки, солидные важные дамы в блестящих, только что прилетевших из Парижа нарядах, важные сановники в звездах и лентах, молодежь в блестящих мундирах... Одни за другими, среди цветущих кустов и мраморных статуй, поднимаются гости по широкой лестнице. Оживление, улыбки, сдерживаемый молодой смех, отрывистые фразы, французский говор...

Все собираются в большую залу, залитую ярким огнем, ослепительную в своем роскошном и душистом убранстве. Где же молодые? Вот и они.

Гриша — красивый и изящный, лицо довольное, но в то же время полное спокойным достоинством. Лиза прелестна в своем подвенечном наряде. Глаза ее так и горят, так и искрятся. Она чувствует себя средоточием всех взглядов, но не смущается этим. Она отвечает милыми улыбками, любезными словцами на обращенные к ней приветствия знакомых и полузнакомых, подходящих к ней с бокалом шампанского.

Надежда Николаевна тоже оживлена и то-

же находит любезные ответы на каждое приветствие. Но в ее лице время от времени пробегают что-то тревожное. Она все кого-то ищет как будто глазами в окружающей ее толпе. Она ищет глазами своего мужа. Она не понимает, что с ним. Он совсем не тот, каким был в последнее время. Он мрачен, что-то скрывает... Но что может он скрывать и что могло случиться?

Она теряется в догадках, ничего не находит и тревожится больше и больше. Вот она сейчас его заметила — какое у него лицо! Да он просто нездоров! Да, он болен! В этом ярком освещении она хорошо заметила его бледность. Он ей показался даже постаревшим со вчерашнего дня. Он смеется, хочет казаться спокойным и довольным, всем пожимает руки. Никто в нем ничего не заметит, но ее-то ведь он не обманет... Что с ним такое?!

И вся полная этих мыслей, она все же продолжает неустанно играть роль любезной хозяйки.

Вот к ней подлетает с бокалом в руках сияющий, расфранченный, с лихо закрученными усиками Кокушка.

— По-пождравляю ваш! — взвизгивает он, громко чмокает ее руку и расплескивает на ее платье свое шампанское, а затем сейчас же отлетает в сторону и кричит кому-то:

— А по-пошлушай, гра-граф, поштой, погоди!

Кокушка счастлив. Он уже выпил несколько бокалов, приятная теплота теперь разливается по его телу...

Между тем менее часу тому назад в церкви можно было заметить, как он вдруг насупился и засопел. Он вспомнил свое собственное венчанье.

«Вот это та-так швадьба! — думал он. — А меня как этот черт обвенчал! Штыдно и шрам только! Я го-гово-рил: ражве когда-нибудь от такой бедной швадьбы, как моя, может прок выйти... Вот теперь что шо мною шделали! Же-женат, а где... жена?»

Он покраснел и засопел еще больше.

«Уро-род, губа, как у жайца!»

Ему изо всех сил захотелось, чтобы его вот точно так обвенчали. Вдруг лицо его просияло, счастливая мысль пришла ему в голову.

«Я ражведушь и опять женюшь и жделаю

точно такую швадьбу!.. Я им-имею право!..»

«А что вжял... че-черт! — послал он мысленный привет своему тестю: — Дудки!..»

Эта новая мысль совсем его успокоила, и он теперь был полон ею.

По приезде из церкви он отыскал брата и сообщил ему о своем решении.

— Во-Володя, ведь это можно?

— Можно, конечно, только, пожалуйста, ты не проболтайся, не говори никому, ведь никто и не знает, что ты женат. А то если проболтаешься, то сам себе все испортишь, будь же благоразумен!

— Ша-шамо шобую! — быстро проговорил Кокуш-ка. — Что я жа ду-дурак, штану шрамитьша... А ведь хо-хо-роша швадьба? Тотолько моя еще лучше будет...

И он, с новым бокалом в руке, помчался поздравить новобрачных.

Владимир, бывший у двоюродного брата шафером, так и сиял в этот вечер. Никто не видал его никогда таким веселым. Дело объяснилось просто: он победил Груню.

Музыкальный мир Петербурга и поклонники певицы с изумлением узнали, что пре-

лестная Фиорини не будет петь ни в итальянской, ни в русской опере.

«Да что же это значит?.. Ведь все было решено почти... У нее такой чудный голос, она имела всю зиму такой успех».

Кто-то сказал, что красавица певица совсем оставляет сцену, что она выходит замуж.

— Неужели замуж? За кого же?

Но этого никто не знал, наобум называли то одного, то другого. Однако все было правдоподобно... Через неделю, через другую уже будут знать, за кого прелестная певица выходит замуж. Будут много говорить об этой свадьбе, вырастут сплетни, клеветы, походят-походят эти сплетни по городу, да и заглохнут. Кому какое дело! Все в этом городе забывается скоро, его ничем не удивишь, ни на чем долго не остановишь его внимания...

А Владимир счастлив! Он чувствует себя совсем другим, новым человеком. В нем нет уже той неловкости, неуверенности, которую он всегда болезненно чувствовал, особенно в многолюдном, шумном обществе. В первый раз в жизни он чувствует под собой твердую почву, ясно и отчетливо все видит перед со-

бою. Еще месяц-другой — и начнется настоящая жизнь. Он простится с этими людьми, с этими залами, с этим холодным, нелюбимым городом.

В Горбатовское! В Горбатовское! С нею, с Груней. Она согласна... Он в ней не ошибся. Она его любит. Она уже не говорит ему теперь, что он требует от нее чрезмерных жертв, что он эгоист, деспот... Он увлек ее, и теперь она сама ждет не дождется, когда очутится снова в деревне. Среди полей и леса, под здоровым дыханием родной почвы, из которой она выглянула на свет и от которой чуть было навсегда не оказалась оторванной.

В деревню! В родную деревню! Под вечные своды и леса!..

И Владимир счастлив. И широкое, наполняющее его чувство заставляет его теперь весело и любовно относиться ко всему и ко всем, к этим людям, с которыми у него нет ничего общего, которые до сих пор ему были скучны и просто неприятны... Ведь он прощается с ними.

Вот он заметил среди мелькающих лиц сестру Софи и невольно взгляделся в лицо ее.

Отчего она такая? Отчего она так бледна, с таким усталым и в то же время беспокойным и злым выражением?

Он только теперь обратил внимание на то, что это уже не прежняя Соня. Когда же она так изменилась? Когда же она так постарела?! Ему стало ее глубоко жаль. Он подошел к ней, заговорил с нею. Боже, как она бледна!

— Софи, ты, кажется, очень устала? — он предложил ей руку. — Я проведу тебя, отдохни!

Она оперлась на его руку.

— Да, я устала, и тут так душно, такая толпа, у меня голова кружится...

Он вышел с нею в одну из дверей залы. Они очутились в зимнем саду. Над ними со всех сторон склонялись, как восточные опахала, огромные пальмовые листья... Полусвет, шедший неизвестно откуда, таинственно озарял усыпанную темно-желтым песком дорожку.

Софи едва дошла до маленького диванчика и почти на него упала.

— Une goutte d'eau si c'est possible! [81] — прошептала она.

Владимир поспешил за водою. У нее действительно кружилась голова и сердце болезненно сжималось. Безднадежная тоска охватывала ее. На нее мучительно действовало это оживление, веселье; эти молодые и счастливые лица, эта свадьба, вид красивой и довольной юной невесты. Она просто не могла выносить этого. Ее собственные дела шли как нельзя хуже! Ее последние планы рушились...

Она не могла не заметить, что с того самого дня, как она навестила больного князя Сицкого и говорила с ним об его одиночестве, он как-то к ней изменился. В чем заключалась эта перемена, сразу нельзя было сказать, но она существовала.

Он продолжал, по обыкновению, навещать Марью Александровну. С ней, с Софи, он попрежнему был любезен. Но что-то такое произошло неуловимое, что, однако, с каждым его посещением она начинала больше и больше чувствовать. Может быть, это нечто заключалось в том, что он еще нелепее раскланивался и расшаркивался перед нею и говорил ей всякие комплименты. Он столько раз и так усиленно благодарил ее за то, что она

тогда навестила его, больного старика, так часто возвращался к этому, что она наконец возненавидела свой собственный поступок, сама почла его неприличным и вместе с этим возненавидела она и князя. В последнее время она уже начинала избегать его. Теперь, вот сейчас в зале, он подошел к ней и под его любезностью, под его ужимками и гримасами она ясно, ясно прочла насмешку, насмешку над нею... и она не вынесла.

Ее терзала бессильная злоба, ее давила тоска, ей дышать было нечем.

«Что же он пропал! Воды, воды!» — с мучением думала она... Вот чьи-то шаги неподалеку. Но это не он. В зимний сад вошел высокого, даже чересчур высокого роста мужчина под руку с дамой. Они о чем-то оживленно говорили.

Софи вгляделась — и стиснула зубы.

Да ведь это сестра, Мари, под руку с уродом Барбасовым! Он и здесь... он теперь всюду!

Они ее не заметили.

Показался Владимир с водою. Она жадно выпила и несколько мгновений сидела, переводя дыхание.

— Софи, милая, если тебе дурно, уедем, я отвезу тебя домой! — сказал Владимир.

Она уже была готова согласиться, ей так хотелось уйти куда-нибудь, скрыться, дать волю душившимся ее слезам, душившей ее злобе. Но она сейчас же и очнулась.

— Нет, — ответила она брату, — мерсі, je me sens mieux... [82] иди, оставь меня... иди же, иди... с какой стати обращать на себя внимание!..

Он прошел в залу. Она остановилась, собираясь с мыслями. В ней поднялась вся ее гордость, все ее самолюбие. Еще недоставало, чтобы кто-нибудь заметил ее тоску, ее отчаяние.

«Я больна, — думала она, — и в самом деле больна!.. Мне надо полечиться, надо освежиться от всего этого... Я уеду за границу, теперь самое время... кого-нибудь возьму с собой, найду... Да вот напишу нашей гувернантке-баронессе... Она свободна, она с радостью поедет со мной. А там, может быть, что-нибудь еще и встретится!..»

И, впустив в себя этот тонкий луч надежды, она гордо подняла голову. Вдруг сзади нее,

за широкими листьями тропических растений, раздался голос Маши:

— Разве я говорю нет... я говорю только: не торопитесь... Разве вы не согласны со мною?

— Марья Сергеевна, я так счастлив, я согласен на все... Но видите, мне кажется, я брежу, мне не верится этому счастью, — говорил Барбасов.

Они очутились перед Софи, и оба растерянно и испуганно на нее взглянули. Она не сказала им ни слова, смерила их презрительным взглядом и, гордо подняв голову, вышла из зимнего сада. Они стояли несколько мгновений смущенные, как пойманные дети. Но вдруг взглянули друг на друга и весело, громко рассмеялись...

А в зале толпа оживленно, но сдержанно шумела, подобно пчелиному рою. И среди этой толпы выделялось своей странностью бледное и прекрасное лицо Николая Владимировича. Он один не принимал никакого участия в общем оживлении. Он был всем чужой, и от него полупочтительно сторонились. Сам он чувствовал себя в этой толпе очень нехорошо. Она для него имела иной смысл,

чем для каждого из составлявших ее. Он видел здесь не только собрание людей, не знакомых ему и неинтересных людей, а чувствовал каждого из них, каждый представлялся ему окруженным своей собственной атмосферой, и некоторые из этих атмосфер, когда он к ним приближался, производили на него болезненное впечатление... Так ему, по крайней мере, казалось... Глядя на человека, он видел в нем нечто особенное, чего не видели другие. Он читал его мысли, понимал его ощущения... Так ему, по крайней мере, казалось... И эти разнородные, бесконечно различные атмосферы, мелькавшие перед ним, и эти читаемые им мысли и чувства время от времени заставляли его вздрагивать, сдвигали его губы в презрительную усмешку. По временам он, взглянув на кого-нибудь, тихонько вздыхал...

С каждой минутой ему становилось тяжелее и тяжелее.

«И это люди! — думал он, — и это люди!»

— Дядя! — раздался у его уха таинственный шепот. — В-вам-то я могу шкажать, я решил, я ражведушь с шделаю швадьбу еще

лучше этой!

— Хорошо, Коля! — с печальной улыбкой ответил Николай Владимирович.

Он уже не в силах был здесь оставаться. Он отыскал новобрачных, простился с ними и уехал.

XXX. ЧТО ОСТАЛОСЬ

Неизвестно, привела ли бы Софи в исполнение свое намерение «совсем уехать», если бы не заставили ее окончательно решиться на это два «позорных» обстоятельства. Первое из них была женитьба Владимира на Груне.

Он вышел в отставку, женился и уехал в Горбатовское. Но все же у него нашлось еще настолько совести, по мнению Софи, чтоб не настаивать на разных несообразностях, не требовать, чтобы она, Софи, унижалась.

«Cette créature» [83], забравшая его в руки и совсем погубившая, не показалась у них в доме. Они обвенчались тихонько и уехали. Конечно, от этого не было легче, «позор» оставался тем же; но все-таки Софи казалось, что брат ее хотя и совсем тряпка, хотя и никакого нет извинения его ужасному поступку, но он,

очевидно, сознает себя виноватым, сознает, что этой créature не место под одним кровом с его сестрою, с его теткой.

А вот у Маши так уж совсем не оказалось никакой совести. Она без всякого стыда объявила во всеуслышание, что «этот неприличный Барбасов» сделал ей предложение и она приняла его. Возмутительнее же всего было то, что никто даже и не поразился ее выбором — никто, и меньше всего Марья Александровна. Она сама была без ума от этого уroda и отнеслась к решению Маши с полной благосклонностью, как будто так должно и быть. Но не могла же Софья Сергеевна присутствовать на этой постыдной свадьбе.

Со свадьбой не спешили, но Барбасов бывал в доме в качестве жениха. И Софья Сергеевна, быстро собравшись, списалась со своей бывшей гувернанткой, уехала в Москву и с нею вместе отправилась в заграничное путешествие...

Однако и ей в голову не пришло проведать отца, от которого недавно было получено известие, что он все лето проведет в Гаштейне. Она поехала в Париж и кончила тем, что по-

селилась там почти на постоянное жительство. С родными она прекратила все сношения и вернулась в Россию на короткое время только через два года по случаю смерти Сергея Владимировича.

Он так и умер за границей, в Ментоне. Владимир, извещенный о том, что ему очень плохо, приехал в Ментону за несколько лишь дней до его смерти и затем привез в Россию его тело...

Софья Сергеевна рассчитывала на большое наследство после отца, но ей пришлось сильно разочароваться в своих надеждах. Несметные долги проглотили огромную часть горбатовского состояния. На каждое имение приходилось столько долгу, что он почти покрывал его стоимость.

Московский дом пришлось продать, так как никто из наследников не мог принять на себя его содержание. Петербургский дом остался во владении Николая Владимировича. Горбатовское, еще при жизни отца, получил Владимир, заплатив один из отцовских долгов в триста тысяч. Знаменское совсем не существовало, оно было распродано по ча-

стям, перешло в руки крестьян, кулаков. От него осталось только воспоминание.

На долю Софи приехала саратовская вотчина, превосходное имение. Она могла продать половину земли для выплаты лежащего на имении долга. Остающаяся половина, при устроенном хозяйстве, все же принесла бы достаточный доход.

Владимир, превратившийся в настоящего сельского хозяина и совсем одичавший, как объявляла Софи, советовал ей именно так и поступить. Но она решила иначе. Она продала все имение, продала поспешно и невыгодно, забрала с собою деньги, вернулась в Париж, купила себе там хорошенький небольшой отель в квартале Елисейских полей и превратилась в настоящую парижанку.

Она не теряла еще надежды выйти замуж и то и дело останавливала свое внимание то на одном, то на другом из представителей старинной французской аристократии.

Но годы шли, а на ее визитных карточках все еще красовалось: «Sophie de Gorbatoff, demoiselle d'honneur» [84] и так далее. Она вращалась в Париже в самом избранном об-

ществе, делалась отчаянной легитимисткой... При этом с каждым годом все более и более проникалась она презрением к России и даже в редких случаях, когда ей приходилось говорить по-русски, делала нарочно самые грубые ошибки. Встречая иной раз француза, интересовавшегося Россией, она изумленно на него взглядывала и объявляла, что, право, этой страной не стоит заниматься, что в России такой смрад, такой мрак, среди которых ни один порядочный человек жить не может...

Как-то, навестив одну из своих парижских приятельниц, очень остроумную и игривую маркизу, неустанно, хотя и бесплодно, агитирующую в пользу «трех лилий», Софи заметила у нее на столике визитную карточку и с изумлением прочла: «Madame de Gorbatoff, née princesse Janicheff» [85].

— Это что такое? — едва владея собой, спросила она маркизу.

Та с изумлением на нее взглянула.

— Я думала, что эта карточка вам доставит удовольствие, *la bonne amie* [86], ведь эта ваша родственница... Мы недавно познакомились... Эта прелестная женщина...

— Как познакомились?

Софи была вне себя. Этого еще недоставало! Она даже совсем забыла думать о том, что существует «madame de Gorbatoff», считала ее навсегда исчезнувшей, и вдруг она здесь, носит ее имя, втерлась в общество, ее находят «femme charmante» [87] — эту пройдоху и негодяйку! Она даже вспомнила такие чисто русские слова. Ее нужно сейчас же стереть с лица земли...

И она красноречиво передала маркизе историю своей belle-soeur [88].

Но эта ужасная история не произвела на француженку желаемого действия.

— Очень жаль! — повторила маркиза. — Elle à l'air l'une personne tout-à-fait comme il faut... [89] и она очень хорошо принята у принцессы Берты... наша герцогиня от нее в восторге... Она только что приехала в Париж из Ниццы, где эти дамы познакомились с нею...

— Но ведь теперь, когда вы знаете, какая это особа, надеюсь, ей покажут ее настоящее место!

— Очень жаль, очень жаль! — вместо отве-

та повторяла маркиза.

Софи, как ни билась, а не могла вытеснить Елену. Ей пришлось с нею не раз встретиться...

От прежней Елены теперь ничего не осталось. Она превратилась в пышную, красивую женщину, самоуверенную и ловкую. Она была всегда окружена толпой поклонников и в то же время умела нравиться и женщинам. Подобно Софи, и она отказалась от России — ей гораздо веселее жилось в таких местах, как Ницца, Биарриц и Париж. Целых два года выдержала она скучную жизнь в Москве, в доме тетки Кашиной. Ее отец оправился от нанесенного ему судьбой удара, кто-то из родственников поддержал его... А затем, если бы Софи побольше интересовалась своими домашними, то она узнала бы от Владимира, что он из Кокушкиных денег высылает его жене ежегодно достаточную сумму...

Князь Янычев изменил свой взгляд на «милостыню» и пользовался этими деньгами... Выждав достаточное время, он появился снова у кузины Кашиной. Елена сначала всячески избегала отца, но скоро его странное вли-

ание на нее вернулось. Его взгляд приводил ее в трепет и в то же время поработал ее...

Князь легко заметил, что дочь не знает, куда деваться от скуки под надзором строгой тетки, что она просто изнывает, и он мало-помалу стал соблазнять ее возможностью иной жизни, рисовал ей самыми блестящими красками поездку за границу. Елена отбивалась все слабее и слабее. Одна только Марья Сергеевна могла бы поддержать ее; но Марья Сергеевна Барбасова была далеко, даже переписка между ними мало-помалу как-то прекратилась. Кончилось тем, что Елена с отцом уехали за границу. Он сдержал свои обещания, жизнь Елены теперь превратилась в нескончаемый праздник: всюду, где ни являлась она с отцом, ее так и облепляли со всех сторон, как мошки свечку, всякие интересные и неинтересные мужчины.

Через год такой жизни она была неузнаваема. У нее появились «друзья»; сначала один, потом другой, затем третий. Теперь князь умер, некому было влиять на нее и ее портить, но уже не оказывалось в этом надобности. Она была совсем испорчена, разврати-

лась до последней степени. Вместе с этим в ней развилось умение очень ловко устраивать свои дела и держаться в обществе. Откуда у нее средства, на какие деньги она ведет свою роскошную жизнь, до этого никому не было дела, про то знала она и ее «друзья», которых она выбирала с большим искусством.

Из числа этих друзей одно время считался и молодой русский дипломат Иван Михайлович Бородин. Впрочем, он отстал от нее скоро, решив, что она «стоит дороже, чем стоит». К тому же он, *par principe* [90], не допускал долгой дружбы с хорошенькой женщиной: чем короче, тем лучше. Для него прежде всего была его карьера, и в ней он подвизался с заметным отличием, к полному удовольствию своего как-то быстро начавшего стареть, но игравшего по-прежнему крупную роль и нажившего миллионы отца...

Недавно в одной из парижских зал производились опыты снаряда, названного микрофоном. Это усовершенствованный телефон, и усовершенствование заключается в том, что каждый из присутствующих уже не должен подходить к трубочке, чтобы что-нибудь

услышать. Все собравшиеся в зале разместились, как им было угодно, и, не трогаясь с места, прослушали оперу, дававшуюся в тот вечер. Опыт удался как нельзя лучше. И изобретатель объявил, что это только начало, что в скором времени он даст возможность не только слышать, но и видеть сцену какого угодно из парижских театров...

Отчего же и нам не воспользоваться этими сегодняшними и завтрашними открытиями и не перенестись с помощью этого нового способа в Горбатовское... Старый дом все в том же печальном виде, в каком был шесть лет тому назад, когда я разбирал в одной из его комнат старые тетрадки, исписанные почерком Сергея Горбатова и относившиеся к концу восемнадцатого века.

Новый хозяин, Владимир Сергеевич, несмотря на то, что уже более десяти лет почти безвыездно живет здесь, еще не в силах перестроить и отделать заново царственное жилище своих предков. Он помещается с женою, с детьми и Кокушкой в одном из крыльев старого громадного здания. Большинство же комнат остаются пустыми и заколо-

ченными.

О широте жизни и роскоши Горбатов не заботился. Но старый горбатовский парк с каждым годом оживает, как бы молодеет, принимает свой прежний образ. Его аллеи расчищаются, беседки и киоски возобновлены, статуи, насколько возможно, приведены в порядок. Перед домом по-старому разбиты цветники и куртины, пестреющие цветами.

Обо всем этом заботится хозяйка. Этот парк — ее слабость.

Владимир Сергеевич вовсе не одичал, по выражению его парижской сестрицы, но, конечно, он не похож на петербургского франта. Он много изменился за эти годы. Из бледного юноши он превратился в крепкого, зрелого мужа.

Его деятельность оказалась удачной. Он не только познакомился с новыми условиями сельского хозяйства, но сделался и знатоком его, настоящим землевладельцем. Он твердо и неустанно идет к своей цели.

Он принял хозяйство запущенное и разоренное, доведенное до самого жалкого положения. Денежных средств было мало, и при-

шлось пережить время, когда он даже готов был сознаться, что никогда не в силах будет достигнуть им задуманного.

Но это трудное время осталось далеко позади. Владимир Сергеевич из разоренного помещика мало-помалу превращается в очень богатого человека. Ему уже удалось, пользуясь случаем, скупить многие свои родовые земли. Ему пришлось, за эти десять лет, пройти тяжелую школу. Он очутился сначала среди населения ему враждебного. Бывшие крепостные его предков явились ему врагами, главным образом благодаря неизвестно откуда выползавшим подстрекателям...

Но теперь совсем уже не то. На много верст кругом он имеет первенствующее влияние, за ним признана сила. Его уважают поневоле, знают, что надуть Владимира Сергеевича нет возможности, что бороться с ним никому не под силу. А в добрых отношениях с ним быть очень полезно, тем более что он человек справедливый... Но, победив крестьян и став с ними в нормальные, выгодные для обеих сторон отношения, Владимир Сергеевич этим не ограничился. Его влияние распространялось

выше и дальше. Он теперь играет первенствующую роль в губернии и недавно выбран губернским предводителем дворянства.

Тихий летний вечер. Солнце озаряет цветники прощальными лучами. У старинной террасы, среди цветов, накрыт стол. На столе кипит самовар. За этим столом поместился Владимир Сергеевич. Он только что вернулся домой, он устал, но здоровой усталостью после здоровой деятельности. Он снял с головы соломенную шляпу и положил ее рядом с собой на стол.

Его белый высокий лоб, с несколько поредшими у висков волосами, представляет яркую противоположность загорелому лицу, обросшему бородою. Но этот сильный загар и этот белый лоб очень идут к нему.

С террасы, в белом легком платье, обшитом кружевами, спешит Груня. Она сильно пополнела, но ее прелестная фигура не утратила от этого своей грации, десяток лет положили неизбежные следы на лицо ее, но положили осторожно, не спеша. И всякий, взглянув на нее теперь, невольно скажет: «Какая красавица!»

— Владимир, прости ради бога, — говорит она, быстро подходя к мужу и крепко целуя его в белый лоб. — Я заставила тебя ждать, а ты устал! С детьми возилась, представь — в разговор вступили! Не хотим спать, да и только, насилу уложила. Ну, что, все благополучно?

— Благополучно... Не томи, дай чаю!

Груня стала хлопотать у самовара.

В это время появился человек с привезенными с почты газетами и письмами. Пока Груня заваривала и наливала чай, Владимир пробежал письмо.

— Что, есть что-нибудь интересное?

— И даже очень! — ответил он. — Во-первых, дядя Николай пишет... представь, мы скоро увидим его и тетю здесь, в Горбатовском. Он едет к Грише и проездом будет у нас.

— А! Едут к Григорию Николаевичу! — задумчиво сказала Груня. — Это очень хорошо!

— Отчего хорошо? Немного радостей там увидят... Лизавета Михайловна их не порадует... Я очень, очень боюсь, что все это кончится разводом.

— Поэтому-то я и довольна, что дядя твой к

ним едет, может быть, он сумеет повлиять на прелестную губернаторшу.

— Ну, милая моя, гипнотизмом вряд ли на нее повлияешь.

— Как знать! А у меня много, много вопросов набралось для Николая Владимировича. Согласись, что я всегда была права относительно него и что я одна видела в нем то, чего другие не хотели видеть, он опередил всех наших новейших открывателей тайн природы...

— Да, пожалуй, ты и права!

— Конечно, права! Как я рада, что его увижу!..

Между тем Владимир, прихлебывая чай, просматривал газеты.

— А вот и еще новость! — вдруг сказал он. — Наш превосходительный Алексей Иванович Барбасов получил назначение. Вот — читай!.. Теперь ему один только шаг — и сенатор...

— В этом нет ничего удивительного! — заметила Груня. — Он пойдет и дальше.

— Конечно, пойдет, хотя не знаю — хорошо это или дурно... Ведь у него как есть нет никаких убеждений — сегодня одно, завтра

другое — по ветру.

— Как и все, мой друг, как и все! — сказала Груня. — А это что? Письмо Маши.

Она прочла письмо.

— Это еще до назначения, — заметила она. — А письмо какое — от него так и веет здоровьем и счастьем.

— Да, удивительное дело, — проговорил Владимир, — ведь она — и ее муж... Я прежде считал их совсем различными людьми и, признаюсь, мне этот брак очень не нравился. Теперь же я вижу, что ошибся, десять лет доказали. Они совсем довольны друг другом. Маша без ума от мужа. Выдумала его себе совсем не таким, каков он есть, и ничего знать не хочет. Детей обожает...

— Во-Володя! — вдруг раздался с террасы пронзительный голос.

И Кокушка, толстый, красный, расфранченный, появился перед чайным столом.

— По-пошлушай, я жавтра уежжаю в город.

— Зачем?

— Жо-жовут, вот пишьмо получил, от Вороншких, Варвара Николаевна там, я ей жав-

тра буду предложение делать... И теперь уж как жнаешь, а кончено — я ражведушь ш моей благоверной и женюшь непременно. Попора, давно пора... что мне так оштаватьшя... дудки...

— Садись лучше и пей чай! — сказала Груня, подавая ему чашку.

Кокушка поместился рядом с нею и занялся намазываньем масла на хлеб...

Скоро совсем уже стемнело. Луна вышла из-за деревьев и пронизала своим светом темную аллею.

Груня взяла под руку мужа.

— Пройдемся немного, — сказала она. — Смотри, какой вечер!

Они направились тихим шагом в глубь парка. Все было тихо в безветренном теплом воздухе. Луна ярче и ярче светила.

Груня остановилась, подняла глаза к безоблачному небу, и вот из ее груди полились чистые, могучие звуки.

«Casta diva» пела она, и горячая вдохновенная мелодия наполняла заснувшую аллею, дрожала под каждым листом и уносилась, медленно замирая, в беспредельную высь...

Владимир слушал, затаив дыхание, сжимая руку жены своей сильной рукою...

А вокруг, в этом древнем парке, в этой бесконечной дубовой аллее, среди цветников, незримо и неслышно скользили тени невозвратного прошлого...

1886

Примечания

Пенсне (фр.). — Здесь и далее примеч. ред.

[^^^]

«Компаньонка» (фр.).

[^^^]

3

Это бедное милое дитя — загадка!.. Никогда не знаешь ни ее чувств, ни ее мыслей... Но она добра... о, она добра, бедняжка!.. (фр.).

[^^^]

4

Да, конечно, они хорошенькие, бедные малышки... (фр.).

[^^^]

Вот так идея!.. (фр.).

[^^^]

6

Могу я представиться, прикрываясь тобой?
(фр.).

[^^^]

Это ты, мой друг! (фр.).

[^^^]

Ты откуда? (фр.).

[^^^]

9

Обаятельная девушка, кокетка (фр.).

[^^^]

Косметическое молочко (фр.).

[^^^]

В конце концов он все испортит!.. (фр.).

[^^^]

Золотые пуговицы (фр.).

[^^^]

Ни больше ни меньше (фр.).

[^^^]

Нет, решительно нет, мои силы на исходе!
(фр.).

[^^^]

Завсегда́тай (фр.).

[^^^]

Неравный брак? (фр.).

[^^^]

Мелкий служащий (фр.).

[^^^]

С распростертыми объятиями (фр.).

[^^^]

В этом есть большая разница!.. (фр.).

[^^^]

Но все уладилось (фр.).

[^^^]

Дитя мое! (фр.).

[^^^]

Видишь ли, я совершенно выбилась из сил!..
(фр.).

[^^^]

Я всего лишь призрак, привидение... (фр.).

[^^^]

«Подарок на память...» (итал.).

[^^^]

Чего вы хотите, недостаток развития... откуда я знаю!.. (фр.).

[^^^]

Светская дама (фр.).

[^^^]

Слова арии Розины из оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини.

[^^^]

Между нами говоря — это моя мечта... (фр.).

[^^^]

Надо же, но тогда это серьезно! (фр.).

[^^^]

Простите, дамы! (фр.).

[^^^]

Правда, выходящая из недоступного источника, или истинная, солнечная и лунная, квинт-эссенция, утешение всего бытия и начало всей жизни... (фр.).

[^^^]

Агташе (фр.).

[^^^]

Избалованный ребенок (фр.).

[^^^]

Завтра — великий день!.. (фр.).

[^^^]

Что вам угодно, господин? (нем.).

[^^^]

Итак, ты хочешь, чтобы я начал откладывать деньги прозапас? Ладно, я согласен! (фр.).

[^^^]

Знаете, вы даже смешны!.. Повернитесь... вот так... нет, это вам решительно не идет. Вам следует вновь надеть ваш прекрасный мундир... (фр.).

[^^^]

Как поживаете, мистер Горбатов? (англ.).

[^^^]

Прошу вас, располагайтесь!.. Присаживайтесь
на диван (англ.).

[^^^]

40

Фиксированная цена (фр.).

[^^^]

Такой молодой и такая награда! (фр.).

[^^^]

В конце концов, все, что сейчас происходит, происходит после этих ужасов... (фр.).

[^^^]

Ты теперь всегда так рано встаешь! (фр.).

[^^^]

В качестве путешественников (фр.).

[^^^]

Но здесь! (фр.).

[^^^]

Так мило! (фр.).

[^^^]

И потом (фр.).

[^^^]

Могут подумать бог знает что! (фр.).

[^^^]

Совершенно невозможно!.. (фр.).

[^^^]

И есть вещи, которые нельзя себе позволить!
(фр.).

[^^^]

Ты преувеличиваешь, Софи! (фр.).

[^^^]

Человек новый (лат.).

[^^^]

Со знанием дела (фр.).

[^^^]

За неимением лучшего (фр.).

[^^^]

Вы молоды, красивы!.. (фр.).

[^^^]

Вот точное слово! (фр.).

[^^^]

Эта бесстыжая пресса... (фр.).

[^^^]

Совершенно справедливо, совершенно справедливо! (фр.).

[^^^]

Полагаю, в этом нет ничего неприличного?
(фр.).

[^^^]

Конечно, нет! (фр.).

[^^^]

Но вы так добры, просто ангел! (фр.).

[^^^]

Я скажу тетушке, что вы чувствуете себя хорошо и что мы будем иметь удовольствие скоро вас увидеть, не так ли? (фр.).

[^^^]

Конечно, это может продлиться дня два-три, самое большее... (фр.).

[^^^]

Но прежде всего, мой милый, твое слово чести... (фр.).

[^^^]

Государственном перевороте (фр.).

[^^^]

Барин (фр.).

[^^^]

Восстановление сил (нем.).

[^^^]

Объект (фр.).

[^^^]

Спите! (фр.).

[^^^]

Надо же, это ты, Люси! Ты откуда?.. Здравствуй, Люси! (фр.).

[^^^]

Эта ужасная и отвратительная особа (фр.).

[^^^]

Подающая надежды (фр.).

[^^^]

Все выглядит очень просто (фр.).

[^^^]

И теперь я ясно все вижу... без иллюзий (фр.).

[^^^]

Я еще только учусь (фр.).

[^^^]

И так, решено? (фр.).

[^^^]

Решено, мадам! (фр.).

[^^^]

Я не знала... (фр.).

[^^^]

Вы ошибаетесь, мой друг, вы, положительно, ошибаетесь! (фр.).

[^^^]

И, уверяю вас, совершенно в русле ваших идей... (фр.).

[^^^]

Глоток воды, если можно! (фр.).

[^^^]

Спасибо, я чувствую себя лучше... (фр.).

[^^^]

«Эта тварь» (фр.).

[^^^]

Софи Горбатова, фрейлина (фр.).

[^^^]

Госпожа Горбатова, урожденная княжна Янычева (фр.).

[^^^]

Милая подруга (фр.).

[^^^]

«Очаровательная женщина» (фр.).

[^^^]

Золовка (фр.).

[^^^]

У нее очень приличный вид (фр.).

[^^^]

Из принципа (фр.).

[^^^]